

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://saltykov-shchedrin.ru/> приятного чтения!

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

ПИСЬМО I

Несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка. Не то чтоб дар слова совсем оставил меня, но язык мой сделался способен произносить только служительские слова: «Чего изволите?», «как прикажете», «не погубите!» – вот и все. А прежде я говаривал довольно-таки смело. Например: «Коли я ничего не сделал, стало быть, и бояться мне нечего», или: «Коли я никого не трогаю, стало быть, и меня никто не тронет»... И вдруг, словно с цепи сорвался: «Не погубите!»

Сначала я испугался. Ежели простое физическое косноязычие может отравить человеку жизнь, то еще более отравляющих элементов заключает в себе косноязычие нравственное. Со страхом спрашивал я себя: ужели изречения, вроде «ежели я ничего не сделал» и т. д., заключают в себе такой угрожающий смысл, для прекращения которого требовались бы натиск и быстрота? Но ежели это так, то кто же может поручиться, что со временем и такое изречение, как «ваше превосходительство, не погубите!» – не будет сочтено равносильным призыву к оружию?

Очевидно, это было новое и совсем особенное проявление внезапности, которого я еще не испытал.

Внезапность не составляет для меня новости. Я родился на лоне ее, воспитывался под ее сенью и до такой степени с ней освоился, что даже никогда не спрашивал себя, ушибет она меня или помилует. Но я должен сказать, что до последнего времени внезапность имела несовершенный, переходный характер, и это в значительной мере помогало уживаться с нею. Внезапностей было много, и они постоянно друг друга побивали. Нелегко было ориентироваться в этом разнообразии сменяющихся внезапностей, но при известном навыке все-таки можно было нечто угадать. Это называлось «ловить момент».

Поймал момент – пользуйся! Не поймал – пеняй на себя! Игра была не весьма нравственная, но настолько замысловатая, что могла заинтересовать. Ныне – эта переходная форма, очевидно, исчерпала все свое содержание. Внезапность окончательно отказалась от экскурсий в сферу случайных веяний, которые своею противоречивостью подрывали ее; она сделалась единою неизменною, сама себе довлеющею. «Моменты» упразднены; ловить больше нечего.

Но это-то именно и пугало меня. Перспектива внезапного приурочения к служительским словам, без надежды, что придет другая внезапность и разрушит чары колдовства, – эта перспектива казалась чересчур уж суровою. Неясная тревога сжимала сердце мучительными предчувствиями; душа тосковала, мысль безнадежно искала просвета...

Однако прошел месяц, прошел другой – и пелена сама собой спала с моих глаз. Недоразумения исчезли, тревога утихла, а положение до такой степени выяснилось, что в какую сторону ни оглянись – везде лучше не надо быть.

Прежде всего я привык, или, говоря точнее, приняхался. Нельзя было не привыкаться, потому что кругом вся атмосфера пропахла прочными служительскими словами. Я не утверждаю, что эти запахи сделались мне достолюбезными, но они такой густой, непроницаемой массой заполнили весь мой домашний обиход, что, незаметно для меня самого, все факторы моей жизнедеятельности сами начали работать применительно к новой атмосфере и подчиняться ее давлению.

Я очень хорошо знаю, что привычка играет в жизни человека роль по преимуществу бессознательную и что, следовательно, она в большинстве случаев служит источником бесчисленных недомыслий и даже безнравственностей; но ведь для того, чтоб чувствовать себя вполне удобно в атмосфере служительских слов, именно это и нужно.

С безнравственностью нельзя ужиться иначе, как с помощью безнравственности же, с бессмыслием-иначе, как при помощи бессмыслия.

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Нужно такое счастливое стечение обстоятельств, которое отняло бы у человека способность отличать добро от зла и загнуло бы в нем всякое представление об ответственности. Вот эту-то именно задачу и выполняет привычка. И при этом она выполняет ее совершеннее и с несравненно меньшей суровостью, нежели другие факторы, в том же смысле споспешествующие, как, например: трусость, измена, предательство и т. п.

И трусость, и измена, и предательство предполагают известную долю насилия и боли, и – что всего важнее – немало не обеспечивают от мучительных пробуждений совести, тогда как привычка обвивает человека бархатной рукой и бережно и ласково погружает его в мягкое ложе беспечального служительского жития...

Любо дремать, зарывшись по уши в пуховики; любо сознавать, что эти пуховики представляют своего рода твердыню. Забравшись в нее, человек не только освобождается от обязанности относиться критически к самому себе и к окружающей среде, не только становится на недостижимую высоту патентованной благонамеренности, но и делается безответственным перед судом своей собственной совести. Ибо о каком же суде совести может быть речь, коль скоро самая совесть, вместе со всеми прочими определениями человеческого существа, потонула в омуте привычки?..

Но, кроме привычки, в деле умиротворения мне много помог и опыт. Опыт – это, так сказать, консолидированный свод привычек прошлого. Все уступки, компромиссы, соглашения, которыми так богата история личная и общая, все малодушие, обходы и каверзы – все это складывается, по мере осуществления, в кучу, надпись на которой гласит: опыт или мудрость веков. Действия героические, подвиги самоотвержения, факты, свидетельствующие о беззаветной преданности идее, – все это не более как красивые безумства, от которых никаких подспорий в жизни ожидать нельзя. Правда, что эти безумства освещают тьму будущего и что плодами их несомненно воспользуются грядущие поколения; но ведь, с одной стороны, подвижничество необязательно и не всякий может его вместить, а с другой стороны, как еще на эти красивые безумства поглядеть: иное, быть может, пользительно, а другое, пожалуй, и неблагоприятно. Тогда как в той куче, которая именуется мудростью веков, за что ни возьмись – все пользительно. Трудность только в том разве состоит, как разобраться в куче, чтобы вытащить именно ту бирюльку, которая как раз впору. Но, во-первых, все бирюльки более или менее впору; а во-вторых, в данном случае из затруднения выручают очень простые приемы, которые тоже освещены опытом, например: загад, навык, наметка, глазомер...

Итак, привычка – приготовила мягкое ложе; опыт – обставил его всевозможными подтверждениями прошлого. Те боли, которые чувствовались вначале, очень скоро утратили свою жгучесть ввиду целой массы преданий, фактов и анекдотов, которые в один голос вопияли, что искони в основе человеческого счастья лежали служительские мысли и служительские слова. Сущность этих мыслей и слов формулируется кратко: «спасай себя!» – и человек, который серьезно посвятил себя осуществлению этой задачи и без задних мыслей признал законность ее, может быть заранее уверен, что благополучие его обеспечено. И – что всего важнее – обеспечено без особых усилий. Ибо стоит только отдать себя во власть волне современности, и она сама собой устроит такую блаженную обстановку, при которой воистину ничего другого не остается, как воскликнуть (не с мысленными оговорками, как бывало некогда, а по сущей совести и от полноты душевной): «Ежели я ничего не делаю – стало быть, и бояться мне нечего!»

«Ничего не делаю» – это идеал; но его все-таки не следует понимать буквально. Всмотримся ближе в его содержание, и мы убедимся, что он вмещает бесконечное множество разнообразнейших и деятельнейших подробностей. Сегодня поют девки в «Аркадии», завтра – будут петь в «Ливадии», послезавтра – в «Jardin des familles russes». И у всякой девки особые приметы, о которых во все концы гласит стоустая молва. Сегодня пьянство у Донона, завтра – у Дюссо, послезавтра – у Бореля. Изредка – газетные столбцы, от которых несет исподним бельем чичиковского Петрушки...

Вот это-то именно и разумеют, когда говорят: «Ежели я ничего не делаю, стало быть...»

И совсем не так подла эта жизнь, как думают унылые люди. Мудрость веков самым несомненным образом свидетельствует, что с незапамятных времен так жили люди и не только не считали себя посрамленными, но даже от времени до времени

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru восклицали: «Не постыдимся вовек!» Воистину оболещают себя те, которые думают, что так называемое общество когда-нибудь волновалось высшими вожделениями. В сущности, волновались только немногие, и, уж конечно, никто не скажет, чтоб существование этих немногих сколько-нибудь напоминало о благополучии. Почвенный же и русловой люд всегда и неизменно имел в виду только служительское благополучие. И он был по-своему прав, ибо какая надобность изнывать над отыскиванием новых жизненных идеалов, рискуя при этом прогневить начальство и насмешить массу однокорытников, тогда как существуют идеалы вполне сформулированные, ни от кого не возбраненные и для всех однокорытников равно любезные?

Я знаю, что унылые люди все-таки не убедятся моими доводами и будут продолжать говорить: «Стыдно!» Но что такое стыд? – спрашиваю я вас. Предложите этот вопрос любому прихвостню современности, и он, не обинуясь, ответит: «Стыд есть вывороченная наизнанку наглость». Или, говоря иными словами, и стыд и наглость – игра слов, в которой то или другое выражение употребляется, глядя по делу. Поэтому когда до слуха моего доходит слово «стыд», то мне всегда кажется, что мимо пролетела муха и, никого не обеспокоив, исчезла в пространстве.

Итак, будем благополучны и не постыдимся. К этому приглашают нас привычка и опыт, а наконец и рассуждение.. Да, хоть и кажется с первого взгляда, что в атмосфере служительских слов для рассуждения нет места, однако это справедливо лишь отчасти.

Рассуждение бывает большое и среднее (малое, как чересчур обидное, пускай останется в стороне). Большое рассуждение в служительском деле не только не имеет приложения, но даже прямо препятствует. Собственно говоря, его следует даже предварительно покорить, если хочешь удачно разрешить задачу: кто истинно счастливый человек? Случается, конечно, что и большое рассуждение может служить источником чистейших наслаждений; но тут уже предполагаются особенные люди и особенная, споспешествующая обстановка. Для людей средних и при средней обстановке потребно рассуждение среднее. Оно одно укажет человеку в перспективе безопасное служительское счастье, одно поможет примириться с этим счастьем и преподает средства для его осуществления.

Это среднее рассуждение как раз кстати явилось ко мне на помощь. Оно убедило меня, что прежде всего следует обеспечить безопасность процесса своего личного существования. Жажда жизни, независимо от всяких обстановок (дурных или хороших), сама по себе столь существенна, что ей вполне естественно подчиняются все другие жизненные стремления и определения. Жить надо – вот главное, хотя бы слово «жить» было равносильно выражению «маяться». Люди, которые годами изнемогают под бременем непосильных физических страданий, люди, у которых судьба отняла не только радости, но и самое обыкновенное спокойствие, – и те омертвелыми руками цепляются за жизнь и коснеющим языком твердят: «Жизнь есть ликование». Жизнь – это жестокая неизбежность, и не всякому дано поднять против нее знамя бунта. Поэтому самая простая справедливость требует, чтобы существа, над которыми вечно висит этот дамоклов меч, имели, по малой мере, возможность принимать его удары без особенного изумления.

Услуги среднего рассуждения в этом случае неоцененны. Оно с необыкновенною ясностью убеждает, что жизнь обязательна, и затем указывает, для соглашения с нею, именно на те средства, которые в данную минуту благовременны. Оно не поведет в область эмпиреев, заблуждений и риска, а прямо предложит оголенную от всяких экскурсий жизнь, не блестящую и не особенно интересную, но зато общепризнанную и вполне защищенную. Но, главное, оно докажет, что все старое, колеблющееся, дававшее только кажущийся простор, исчезло навсегда! Да-с, навсегда-с. Что корабли сожжены, и, следовательно, ничего другого не остается, как совсем забыть о том, что они когда-то были.

Таким образом, привычка – воспитывает и предрасполагает; опыт – свидетельствует и подтверждает; рассуждение – убеждает и преподает нужные средства. Совокупность всех этих функций производит в результате – психологический момент.

Именно этот психологический момент и выручил меня в трудную минуту.

Во-первых, он ввел меня в заколдованный круг патентованных русских пословиц.

Во-вторых, он убедил меня, что жизнь обязательна и что сохранить и обеспечить

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
спокойное течение ее можно только при помощи приспособлений, вполне отвечающих требованиям современности.

В-третьих, он доказал, что какие бы усилия я лично ни употреблял, как бы широко ни захватывал, хотя бы даже «жег сердца глаголом» (на что, впрочем, ни малейше не претендую), – все-таки изолировать меня можно во всякое время, и никто этого не заметит.

Таковы три элемента, при помощи которых достигается современное человеческое благополучие. Но для того, чтобы последнее не оставалось только возможностью, но получило практическое осуществление, необходимо, чтобы упомянутые сейчас элементы были восприняты не только сознательно, но и вполне искренно. «Мало обличать – любить надо», – прорицали когда-то наши «почвенники», тонко инсинуируя, что обличение равносильно отсутствию патриотизма и измене. Я же от себя в превосходной степени прибавлю: «Мало любить; надо, сверх того, представить несомненные таковой любви доказательства». Раз эти доказательства представлены, можно смело глядеть в глаза будущему.

Я не стану говорить здесь ни о пользе русских пословиц в качестве жизненного подспорья, ни о том, что принцип самосохранения искони служил главным регулятором поступков и действий почвенного человека, – все это вещи общеизвестные. Но не могу не остановиться несколько подольше на вопросе о человеческой изолированности, – вопросе тоже небезызвестном, но который на наших глазах приобрел очень решительные и резкие формы.

Я личным опытом основательно и бесповоротно убедился, что человеку, который живет и действует вне сферы служительских слов, ниоткуда поддержки для себя ждать нечего. Сколько раз в течение моей долгой трудовой жизни я взывал: где ты, русский читатель? откликнись! – и, право, даже сию минуту не знаю, где он, этот русский читатель. По временам, правда, мне казалось, что где-то просвечивают какие-то признаки, свидетельствующие о самосознании и движении вперед; но чем глубже я уходил в ту страну терний, которая называется русской литературой, тем более и более убеждался в бесплодности моих чаяний. Нет тебя, любезный читатель! еще не народился ты на Руси! Нет тебя, нет и нет.

Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам по себе, а литература – сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего. Попробуйте сказать ему, что между ним и литературной профессией существует известная солидарность, – он взглянет на вас удивленными глазами. «Ах, нет! – скажет он, – лучше я совсем не буду «связываться», чем добровольно наложу на себя какое-то обязательство!»

И как скажет, так и сделает. И когда затем для писателя наступит трудная минута, то читатель в подворотню шмыгнет, а писатель увидит себя в пустыне, на пространстве которой там и сям мелькают одинокие сочувствователи из команды слабосильных.

Это не вероломство, не предательство и даже, пожалуй, не трусость; но, во всяком случае, несомненно бессилие.

Мне скажут, быть может, что у писателя должны быть в запасе свои личные силы, в которых он обязывается почерпать для себя устойчивость... Да, но какие же это силы, коль скоро самой простой мышеловки достаточно, чтобы обратить их в прах?

Спрашивается теперь: ежели ни изнутри, ни извне нельзя ожидать для жизни защиты – где же ее искать?

Именно так я и поступил. Сначала испугался, но затем очень быстро очнулся и беспрекословно погрузился в пучину служительских слов.

Теперь я жуирую. Целое лето провел в переездах из Аркадии в Ливадию и кончил тем, что получил флюс. Это загнало меня на зимние квартиры, где, в ожидании открытия «Palais de Cristal», я перехожу от Дюссо к Донону и от Донона к Борелю. И хотя по-прежнему «ничего не делаю», но понимаю, что между прежним моим ничегонеделанием и нынешним – целая бездна. Прежнее мое «ничегонеделание» означало фырканье, фордыбаченье, форс, озорство; нынешнее – ровно ничего не означает, но зато пользу приносит. Ибо ни в Аркадию, ни к Дюссо, ни в «Palais de Cristal» – никуда я не могу прийти без кошелька; а раз кошелек при мне, я тут же

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
воочию вижу, как благодаря ему кругом расцветает промышленность и оживляется торговля.

И я чувствую, как доверие, которое совсем было утратил, вновь постепенно ко мне возвращается. И дружественные мне тайные советники (в течение длинной жизни я их целую сотню наловил), которые еще так недавно при встречах обдавали меня холодом и говорили притчами, теперь вновь начинают одобрительно кивать в мою сторону, как бы говоря: еще одно усилие – и... ничего в волнах не будет видно!

ПИСЬМО II

Так как вы, вероятно, позабыли о происшествии, которое в июле 1883 года взволновало весь петербургский чиновничий мир, то постараюсь вкратце восстановить его в вашей памяти. Пропал статский советник Никодим Лукич Передрягин. Жил он на даче, на Сиверской станции Варшавской железной дороги, и утром, в воскресный день, пошел в лес по грибы. Ушел и не возвращался. На другой день охотник из местных крестьян нашел в лесу трехугольную шляпу и лукошко, до половины наполненное подосиновиками, и представил свою находку местному уряднику. Оказалось, что эти вещи принадлежали Передрягину...

Такова голая фабула загадочной драмы, столь неожиданно омрачившей мирное течение дачной жизни. Я помню удручающее впечатление, которое произвело это происшествие на сиверских дачников. Место это и сейчас довольно дикое. Нет в нем ни «Аркадий», ни «Ливадий» и вообще никаких распутств, которыми знаменует себя вступившая в свои права цивилизация. По всему правому берегу излучистой речки, на далекое пространство, тянется сплошной хвойный лес, и покуда только самая незначительная его часть подверглась захвату под дачи. В этом лесу великое изобилие ягод, грибов, пернатых и... зверей. Зверей множество, а ни городских, ни подчасков нет. Один урядник на всю палестину – спрашивается: какую он может предоставить защиту? Стало быть, ежели даже зайцы составят злоумышленное общество с целью пожирания статских советников, то и они имеют возможность свое мерзкое намерение привести в исполнение беспрепятственно. До тех пор никто не сознавал возможности такой перспективы, но после исчезновения Передрягина она представилась до того явною и в то же время унижительною, что все лето прошло в неописанной тоске. Ночные прогулки при луне прекратились; девицы перестали ходить на станцию навстречу женихам; детям позволяли резвиться только в виду дачных балконов; и тут же, по какой-то странной ассоциации идей, мясник начал поставлять провизию очень сомнительного качества. Но когда, в довершение всего, узнали, что у крестьян во ржах залег беглый солдат, то наняли по подписке отряд калек, вооружили их дубинками и приказали за восемь желтеньких бумажек в месяц защищать жизнь и достояние дачников, так точно, как в том перед Страшным судом ответ дать надлежит. Но и за всем тем, как только дождались половины августа, так тотчас же все разом потянулись в город.

В Петербурге, между чиновниками, переполох оказался еще решительнее. Прежде всего вопрос ставился принципиально: ежели стали пропадать статские советники, то чего же могут ожидать советники титулярные и другие? – Очевидно, им предстоит исчезать поминутно, и притом без всякой обстановки, открыто, на виду у всех. Влез, например, титулярный советник в вагон конки – и поминай как звали! Или: встретился титулярный советник на улице, и только что вы протянули ему руку – глядь, а его уж нет.

Кто же будет дела вершать? кто будет смазывать и пускать в ход эту машину, которая, подобно громадному головоногу, присасывается ко всему, к чему ни прикоснутся ее всепроникающие щупальца? Ах, господа, господа! куда мы идем? где мы живем?

Но, помимо принципиальной постановки вопроса, в чиновнических волнениях очень важную роль играла и самая личность пропавшего статского советника. Передрягина любили, потому что он был малый на все руки и имел бойкое перо. Когда требовалось мыслить либерально – он мыслил либерально; когда нужно было мыслить консервативно – он мыслил консервативно. Однажды он, по поручению, написал проект: «О расширении, на случай надобности, области компетенций»; а в другой раз, тоже по поручению, написал другой проект: «Или наоборот». А может быть, и оба проекта разом написал: как вашему превосходительству угодно? Сверх того, Никодим Лукич и в частной жизни всем сумел угодить: был приветлив, гостеприимен, любил угостить. И жена у него была белая и рассыпчатая и называлась Акулиной Ивановной. Каждое воскресенье, утром, бывали у них пироги, а вечером на шести столах играли в винт. На одном столе – тайные советники, на двух –

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru действительные статские, на трех – статские. Прочие же чины, собравшись в гостиную, говорили Акулине Ивановне комплименты. И в заключение: «Милости просим на дорожку закусить!» Разумеется, эти jours fixes начинались только с открытием осеннего сезона, так что, собственно говоря, исчезновение Передрягина до половины сентября было бы, пожалуй, и не очень чувствительно; но кто же может поручиться, что к сентябрю он отыщется? Ввиду такой невзгоды кровь застыла в жилах чиновников, и они, позабыв стыд, открыто обвиняли начальство в бездействии. Так что не было во всем Петербурге того статского советника, который бы при встрече с другим статским советником не вопиял во всеуслышание: «Куда же мы, однако, идем?» – и в ответ на этот вопль не услышал бы: «Да, батюшка, идем! идем, сударь, идем».

С своей стороны, и публицист Скоморохов не преминул подкинуть угольков в разгоревшуюся суматоху. В длинной передовице «Куда мы идем?» (этот вопрос ныне сделался чем-то вроде кошмара) он доводил до сведения публики о новом дерзком подвиге врагов порядка и приписывал исчезновение Передрягина интригам газеты «Чего изволите?». Возникла полемика. Газета «Чего изволите?» на первый раз ответила довольно игриво. С одной стороны, она категорически отрицалась от всякого участия в столь преступном деле; но, с другой стороны, ей, видимо, было лестно, что на нее возводят именно такую напраслину. Стало быть, и она не лыком шита; стало быть, и она свою лепту... не в этом деле, конечно, но вообще... Это малодушное стремление за один раз поймать двух зайцев очень ловко подметила газета «Нюхайте на здоровье!» и нимало не медля обострила формулированное Скомороховым обвинение, снабдив его некоторыми ядовитыми выдержками, из которых половину, впрочем, выдумала сама. Тогда «Чего изволите?» обиделась и сказала, что это наконец подло; а «Нюхайте на здоровье!» отвечала: и я знаю, что подло, – давно уж мне все говорят, что я подлая, – да ведь это к делу не относится; а вот как-то вы насчет статского советника Передрягина ответите? кто его предательски выкрал? и где он в настоящую минуту находится? Ась?

Словом сказать, полемика приняла обычный, по обстоятельствам времени, характер и, быть может, кончилась бы безвременною гибелью газеты «Чего изволите?», если бы Передрягин сам не выступил на сцену, чтобы положить предел беспокойствам, возникшим по его поводу.

На днях он возвратился на свою квартиру в Гусевом переулке, прожив в безвестной отлучке ровно год и четыре месяца. Судя по его рассказу, исчезновение его произошло самым естественным образом.

Будучи страстным охотником до грибов, рано утром в праздничный день он отправился в лес. Там он до такой степени увлекся своею страстью, что незаметно углубился в самую чащу. И вдруг, в то самое время, когда его взору предстало целое море разнообразнейших таинобрачных, он почувствовал, что сзади кто-то сильно ударил его по плечу. И в то же время чье-то горячее дыхание обдало его лицо.

То был медведь. Натурально, Передрягин света неувидел. В одно мгновение перед ним пролетела вся его жизнь и тут же утонула в какой-то зияющей бездне. Эта бездна знаменовала смерть. Хотя он знал, что все люди смертны, а следовательно, и Кай смертен; хотя, сверх того, он был вполне уверен, что его вдове будет назначена пенсия вне правил, – однако мысль о роковом конце все-таки нередко заставляла его вздрагивать. Он любил начальство, любил жену, любил пироги и понимал, что pallida mors^[1] одним прикосновением своей косы может навсегда обратить в прах и его самого, и предметы его привязанностей. Встретившись теперь со смертью так близко, он стоял как окаменелый и, ничего не понимая, смотрел медведю в глаза. Но прошла минута, другая, и медведь не только не отнимал у него жизни, но приветливо и тихо рычал, как бы стараясь внушить к себе доверие. И в заключение, перевернув Передрягина лицом к востоку, вполне отчетливо произнес: «Айдав!»

Шли они трое суток сплошным лесом, и в течение всего времени медведь всячески покоил и оберегал своего пленника. Питал он его ягодами и дивным медом; но когда Передрягин жестами объяснил, что этого недостаточно, то сбегал за десять верст в помещицью усадьбу и украл с плиты жареного поросенка. Даже спички и папиросы у него за пазухой нашлись, так что и эта прихоть была предусмотрена и удовлетворена. А для ночлегов медведь выбирал моховые болота, и, уложив Передрягина на мягком ложе, сам, не смыкаячи очей, караулил его на случай внезапного нападения. Словом сказать, приключение получило такую комфортабельную

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru обстановку, что, даже едучи в вагоне второго класса, Никодим Лукич так не жуировал.

На четвертые сутки волшебное зрелище открылось глазам Передрягина. На обширной поляне, с трех сторон окруженной лесом, а с четвертой упирающейся в озеро, копошилось несметное количество медведей. По-видимому, это был народ молодой и веселый, потому что все поголовно находились в непрерывном движении: резвились, бегали взапуски, кувыркались, играли в чехарду и т. д. Но более всего удивило пленника то, что в некоторых местах пылали костры. «Ежели есть костры, – весело сказал он себе, – то должны быть и котлы; а ежели есть котлы, то должна быть и каша». И сердце его окончательно взыграло, когда он увидел, что из толпы отделились два человека в вицмундирах и направились к нему.

О, радость! то были два сослуживца Передрягина, тоже статские советники и в той же мере, как и он, оправдывавшие доверие начальства. Оба заведовали отделениями: один – Семен Михайлович Неослабный – Отделением завязывания узлов; другой – Петр Самойлыч Прелестников – Отделением развязывания таковых. Совместное существование обоих отделений представлялось чрезвычайно полезным, потому что, как только, бывало, Семен Михайлович завяжет узелок, так Петр Самойлыч сейчас его развяжет, а потом Семен Михайлович опять завяжет, а Петр Самойлыч опять развяжет. А покуда они делали свое дело, Никодим Лукич похаживал и отмечал: узел первый, узел второй и т. д. И когда заметок накоплялось достаточно, то из них составлялась «Статистика узлов, сколько таковых завязано и сколько развязано, а для чего – неизвестно». В заключение же подводился баланс: приход с расходом верен, и в кассе – ничего.

Все трое жили душа в душу, и все трое были счастливы и к повышению достойны. В этом волшебном мире, где одни пишут проекты «Или наоборот», другие – завязывают узлы, третьи – развязывают их, а четвертые радостно потирают руки, восклицая: «Приход с расходом верен!» – в этом мире и Передрягин, и Неослабный, и Прелестников не только чувствовали себя как рыба в воде, но были серьезно убеждены, что всякая попытка выйти из него есть бунт и потрясение основ.

Так вот с какими ребятами привел бог встретиться Передрягину. Оказалось, что Неослабный нанимал дачу на Суйде и был выкраден три недели тому назад, ночью прямо с постели. Прелестников же проводил лето в окрестностях Луги и, назад тому с месяц, взят с прогулки в глазах урядника и уведен в плен. Но так как оба они числились в отпуску, то в Петербурге до сих пор их исчезновение не было известно.

– Здешние медведи совсем особенные, – сказал Неослабный после первых радостных излияний, – много они нашего брата в плену держат. А две недели тому назад даже полковницкую вдову Волшебнову, да не одну, а с племянницей Клеопатринькой, прямо с поезда сняли и привели.

– Для чего же мы им зандобились? – любопытствовал Передрягин.

– Для реформ. Народ молодой; на воле жить захотели – вот и скучно показалось в скотском виде оставаться; реформ захотелось. А сами собой совершить не умеют.

– Какие же такие реформы они затевают?

– Да как вам сказать... всего хочется! А что именно для них полезнее – это уж мы должны определить. Вот я – полицию реформирую, а коллега мой – по части юстиции реформы как блины печет. Помаленьку да понемножку, – может быть, со временем и польза выйдет. Три недели тому назад об огне в здешнем месте и не слыхать было, а теперь, смотрите, какие костры горят!

– Но какие же вы имеете виды... например, по части юстиции?

– Насчет юстиции мнения в здешнем лесу разделились. Одни говорят: для нас и палок достаточно; другие: надо завести настоящие суды, как на Литейной. Вот Петр Самойлыч и смекает: палки – само собой, а суд – само собой. Чтобы всем было хорошо.

– А по финансовой части они статского советника Печатникова залучили, – перебил Прелестников, – этот им деньги с картинками печатает. И экономист у них есть. Этот говорит: прежде всего нужно, чтобы торговый баланс был. Да спрос, да

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru предложение, да разделение труда, да накопление богатств, а об распределении мы в следующий раз поговорим. Когда все это у вас будет, тогда, мол вы будете жить по-благородному!

– К сухопутной части они капитана Пешедралова приспособили, а к морской – лейтенанта Жевакина. Жевакин наденет мешок с козой, а Пешедралов в барабан бьет; а они представляют, как малые ребята в поле горох воруют. Это, извольте видеть, они до неприятеля ползком добираются, врасплох его хотят застать.

– И для дам у них дело нашлось: полковница молодых медведиц жеманиться учит, а Клеопатринька «Науку о женихах» преподает.

– Ну, а я-то зачем понадобился?

– Должно полагать, что конституции писать заставят. Давненько они по департаментам человечка для конституций ищут, сейм у них на всякий случай уж заведен. Сейм-то есть, а конституций нет – вот и выходит, что все их решения как будто незаконные...

Вспомнил Никодим Лукич свои департаментские труды по части конституций и мысленно сказал себе: «Ну, это еще не ахти что! дело знакомое, я его в один час кругом пальца обведу!» Однако дальнейшие сведения, полученные от друзей, заставили его задуматься. Во-первых, конституцию предстояло писать надвое: летнюю, как медведи должны поступать, когда на воле по лесу ходят, и зимнюю, какие они сны должны видеть, когда на берлоге лапу сосут. Во-вторых, и правительства настоящего у этих новоявленных реформаторов не было: ни президента, ни ответственных министров. Вместо всего этого существовала какая-то самочинная юнта, состоявшая из пяти самых проказливых медведей, которые по вопросу о пользе конституций не только разноголосили, но каждый, с обдуманном заранее намерением, нарочно мычал по-своему, в пику остальным.

Всю эту разноголосицу предстояло уладить. Одним – вторить в тон, других – ловким образом провести, остальных – «обломать». Все эти «штуки» были известны Передрягину по департаментской практике как свои пять пальцев; но он уже не скрывал от себя, что труда предстоит много, труда серьезного, упорного.

я не буду подробно рассказывать о ходе занятий статского советника Передрягина. Во-первых, это привело бы меня к оценке конституций, что, по моему убеждению, неблагоприятно и щекотливо. Во-вторых, сколько мне известно, Никодим Лукич сам готовится к выпуску в свет обширное сочинение под названием: «Год в плену в стране Топтыгиных», и я не желал бы, чтобы этот почтенный труд, благодаря моей нескромности, утратил интерес новизны.

Тем не менее от некоторых позаимствований я все-таки воздержаться не могу.

Прежде всего я должен засвидетельствовать, что Передрягин вел свое дело крайне осторожно и умно и под конец даже проявил не совсем обыкновенную твердость души. Как человеку опытному и проницательному, ему неоднократно представлялся вопрос: что, в сущности, означает его внезапное, почти волшебное появление в стране Топтыгиных? Игра ли это простого случая, или же тут следует видеть косвенную командировку, устроенную с ведома начальства и даже по инициативе его? Нередко начальство задается целями, опубликование которых считается неблагоприятным, и потому для достижения их прибегает к косвенным командировкам... Ежели это так, – а Передрягин все больше и больше склонялся к убеждению, что именно так, – то, очевидно, ему предстоит сообщить своим действиям такое направление, чтобы впоследствии, давая об них отчет, он мог ожидать не порицания, а одобрения своего начальства. Одним словом, он решился действовать, не забегая вперед, но и не отступая назад. Ни тпру ни ну.

В этих видах он первоначально внес в сейм свой проект: «Или наоборот», как уже бывший в рассмотрении и не приведенный в действие лишь за ненаступлением благоприятной минуты. Впечатление, произведенное проектом, было очень хорошее. Он приходился как раз впору Топтыгиным, так что если бы при этом еще влить членам сейма по десятку горяченьких, то, наверное, они, приняли бы «передрягинскую конституцию» *par acclamation*. [2] Но тут вмешалась полковница Волшебнова, поддержанная Жевакиным, и стала доказывать, что предложение Передрягина находится в прямом противоречии с «Наукой о женихах»...

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Говоря по совести, никаких особенных противоречий не было, и оппозиция Волшебновой имела совсем другую подкладку, весьма неказистую. Дело в том, что на первых порах Передрягин имел неосторожность повздорить с Жевакиным, а Волшебнова между тем рассчитывала выдать за последнего Клеопатриньку. В сущности, пререкание вышло из пустяков, так что если бы Никодим Лукич мог предвидеть последствия, то, конечно, сдержал бы себя. Речь шла о предстоящей постройке кораблей. Для Топтыгиных это дело было совершенно новое, да, признаться сказать, едва ли и нужное; однако так как им брюхом захотелось флотов, то Жевакину было поручено представить необходимые к осуществлению сего предположения. Но когда жевакинский доклад поступил в сейм, то произошли весьма важные разногласия. Передрягин доказывал, что корабли, ради прочности, нужно строить из картона с небольшим лишь прибавлением хорошей бумаги (докладной); Жевакин же, ища популярности и желая как можно скорее стать во главе флота, утверждал, что предлагаемый Передрягиным способ слишком медлен и обременителен для казны и что на первый раз можно удовольствоваться кораблями из старой афишечной бумаги. «Но будут ли таковые для супостатов вредительны?» – не без ядовитости спросил Передрягин и одним этим вопросом сразу «провалил» жевакинский проект...

Эту неудачу Волшебнова приняла к сердцу и поклялась отомстить. И в данную минуту исполнила свою клятву. С помощью искусных диалектических приемов и нескольких ловких передержек она сорвала сейм и провалила передрягинскую затею навсегда.

Тогда Никодим Лукич сделал очень ловкий ход. До ноября он провел время в экивоках; но, как только на землю пал первый снег, он тотчас же изготовил «зимнюю конституцию» и внес ее в сейм. Конституция заключала только одну статью: «С наступлением зимы всякий да заляжет в берлогу и да сосет лапу». Разумеется, интрига и тут с обычной наглостью начала доказывать, что предложенный Передрягиным проект есть не что иное, как подвох, пущенный с целью окончательно похоронить конституционный вопрос; но было уже поздно. Берлоги стояли уже совсем готовые, и большинство Топтыгиных ходило сонное, мечтая единственно об удовольствиях предстоящей спячки. Благодаря этому веянию «зимняя конституция» прошла громадным большинством, и принятие ее ознаменовалось обычными празднествами. Выкатили народу несколько бочек краденого вина и наняли хор снегирей петь песни. Но соловьев, за суровым временем, добыть не могли.

Зима прошла благополучно. Охотничьих облав в этой местности не бывает, и Топтыгины наслаждаются такою обеспеченностью, какая и людям не всегда достается в удел. Но, что всего замечательнее, и статские советники, увидев себя среди этого сонного царства, не выдержали.

«Сначала мне сие удивительным казалось, – пишет по этому поводу Передрягин – как это живые существа почти половину года во сне проводят; но так велико было обаяние внезапно обступившей нас тишины, что и мы с товарищами, как ни крепились, но недели через две тоже вынуждены были общему примеру последовать. А в том числе и госпожа Волшебнова с родственницею».

Тем не менее с наступлением весны конституционный вопрос, силою обстоятельств, настойчивее прежнего выступил на очередь. Топтыгины вышли из берлог и не знали, как поступать. Ибо зимняя конституция предвидела только сосание лапы, а такой конституции, которая бы о прочих поступках упоминала, припасено не было. Приступили к Передрягину; но последний, освежившись четырехмесячным отдыхом, понял, что почва, на которую ему предстоит вступить, далеко не безопасна. Сверх того, он вспомнил, что, будучи уже однажды призван к ответу по поводу проекта о расширении компетенций, он и тогда избежал ответственности единственно потому, что дал начальству клятву ни о каких компетенциях впредь не помышлять. Сообразив все это, он принял бесповоротное решение. Без запальчивости, но твердо он заявил, что для существ, которые для реформ отыскивают по департаментам статских советников, совершенно достаточно одной зимней конституции. «Есть народы и почище вас, – сказал он, – но и те довольствуются зимней конституцией и под сению ее благополучно почивают». Словом сказать, на все топтыгинские настояния ответил решительным отказом.

Услышав это, Топтыгины совсем ошалели. Произошли волнения и даже неистовства, в которых, к сожалению, не последнюю роль играла полковница Волшебнова. Никодим Лукич пострадал.

Нужно прочитать в подлиннике скорбную повесть этих страданий, чтобы получить понятие о том запасе нравственной чистоты, которым должен был обладать

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru безвестный статский советник, вознамерившийся лучше пожертвовать своею популярностью, нежели нарушить данную клятву. Но пусть читатель узнает об этом из сочинения самого Передрягина. Я же скажу здесь кратко: все лето прошло в поступках самого безумного свойства. Топтыгины, не получив удовлетворения в главном своем домогательстве, и к прочим реформам сделались равнодушны; они твердили одно: «Зачем нам суды, зачем кутузка, зачем баланс, коль скоро мы не понимаем, по какой причине и на какой предмет?»

Вообще я должен сознаться, что вся эта история представлялась бы очень странною и исполненною всякого рода загадочностей, если бы Передрягину не удалось наконец выяснить, в чем собственно заключался ее секрет. С течением времени, все более и более всматриваясь в окружающую его среду, он сделал открытие чрезвычайной важности. А именно, убедился и неопровержимыми фактами доказал, что существа, державшие его в плену, совсем не медведи, а особого рода «братувшки», которые еще в древности самочинно развелись в глухой местности Лужского уезда и дондесь там жуируют, уклоняясь от выполнения рекрутской повинности и платежа податей. Многие века они жили в диком состоянии, не имея прочных жилищ, не заводя ни полиции, ни юстиции, ни народного просвещения и не подавая о себе ревизских сказок, как вдруг, несколько лет тому назад, очнулись. Очнулись без повода и даже без надобности, сами не зная зачем. И, узнав, что в Петербурге есть статские советники, которые умеют для братушек конституции писать, стали подыскивать и для себя таковых.

Я не буду перечислять здесь факты, приводимые Передрягиным в доказательство справедливости сделанных им открытий. По мнению моему, эта справедливость всего лучше подтверждается катастрофою, которою в конце концов разрешилась эта суматоха.

Известно, что когда жизнь начинает предъявлять требования, то вместе с тем в обществе обнаруживается брожение. Брожение это преимущественно выражается в появлении бесчисленного множества разномастных политических партий, которые не пренебрегают никакими средствами, чтобы подсадить друг друга. В особенности же ожесточенно и даже бесчестно действует в этих случаях партия старых, отживающих порядков. Составленная из людей мелкосамолюбивых, с потухшими сердцами, воспитанная в дурных привычках ябеды, своекорыстия и любоначалия, растерявшая в течение продолжительной и бесплодной житейской суматохи всякий жизненный смысл и все человеческие побуждения, кроме одного: злобы, – эта партия на первых порах лицемерно подлаживается к заставшему ее врасплох движению и затем коварно подстерегает всякое колебание, всякий ошибочный шаг, чтобы броситься на своих противников и моментально их задушить.

Такого рода староверческая партия существовала и среди братушек Лужского уезда.

Топтыгинское возрождение изумило староверов своею неожиданностью и испугало крайнею живостью своих первых проявлений. Тем не менее они притворились подчинившимися и даже старались выказать самих себя в возможно смирном и даже презренном виде. Но в действительности они только выжидали благоприятного момента и, постепенно переходя от одного коварства к другому, то подстрекая, то сея вражду, вошли наконец в секретные переговоры с местным урядником.

И – увы! – я не могу скрыть, что душою и руководителем этого предательства был статский советник Никодим Лукич Передрягин...

Времена созрели.

В конце минувшего сентября, ровно через четырнадцать месяцев после пленения Передрягина, в ту минуту, когда неурядица среди топтыгинского племени достигла размеров поистине нетерпимых, до веселой поляны, обитаемой братушками, донеслись звуки приближающегося колокольчика. Топтыгины тотчас же догадались, что эти звуки возвещают приезд из Луги начальства...

Переборка пошла очень быстро. Зачинщики сейчас же были отделены и препровождены; прочие братушки – тщательно переписаны и внесены в ревизские сказки. Затем имуществу Топтыгиных была произведена опись и оценка, причем открыт склад воровских вещей, из коих некоторые, как, например, двадцать дюжин дамских кальсон, очевидно, были украдены по недоразумению. Оценен был и громадный запас еловых шишек, между которыми оказалось и несколько геморроидальных. Этот плод многолетнего труда целого племени был опечатан и сдан под расписку старейшине, с

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru тем чтобы впоследствии найти для него сбыт на иностранных рынках. Что касается до статских советников и прочих инструкторов, то их с первым же поездом отправили в Петербург для распределения по подлежащим ведомствам. И в заключение с полковницей Волшебновой и ее родственницей было поступлено по произволению.

Замечательно, что при этой переборке всего больше пострадали вожаки из партии староверов. Хотя нельзя было отрицать, что казенный интерес, столь продолжительное время поруганный, лишь благодаря их рвению вступил наконец в свои права, но, с другой стороны, чувство справедливости убеждало, что староверы действовали в этом случае не столько за совесть, сколько за страх. В сущности, ведь они-то, по преимуществу, и поддерживали в течение столетий тот порядок вещей, который помогал Топтыгиным уклоняться от рекрутства и от платежа податей. Стало быть, совсем не усердие, а только злоба, вызванная утратой привилегированного положения, сделала их поборниками казенного интереса.

– Сегодня вы усердие и покорность выказываете, – сказал им урядник Справедливый, на которого были возложены все труды по воссоединению заблудших братушек, – а завтра вы опять начнете кляузничать и отвливать от узаконенных властей!

Одним словом, воздаяние было полное и справедливое. А через месяц к братушкам была проведена столбовая дорога, и на каждую берлогу выдан отдельный окладной лист. Так что в настоящее время ни урядник, ни сборщик податей уже не встречают больше препятствий при исполнении своих обязанностей.

И живут себе Топтыгины как у Христа за пазушкой. Смирно, благородно, без конституций.

Что же случилось с Передрягиным? – получил ли он за свою твердость соответственную награду? спросят меня читатели.

Как это ни прискорбно, но на последний вопрос я могу ответить только отрицательно. Почтеннейший Никодим Лукич не только не получил награды, но даже вынужден был подать в отставку.

Причиной всему было слово «конституция».

Хотя и Прелестников и Неослабный по совести засвидетельствовали о неуклонной борьбе Передрягина с конституционалистами, но они не могли скрыть, что в первое время своего плена Никодим Лукич довольно-таки ходко пошел навстречу топтыгинским затеям и что, во всяком случае, он, а не кто другой, был автором пресловутой «зимней конституции», которая на целых полгода отдала раскрытие злонамеренных укрывательств, грозивших казне безвременным оскудением.

Разумеется, распоряжение не замедлило.

Теперь Передрягин скромно живет с своею Акулиной Ивановной и довольствуется обществом титулярных советников.

Статские советники его опасаются; действительные статские советники хотя и не выказывают явной боязни, но действуют надвое. Что же касается тайных советников, то они просто-напросто дразнятся: «конституционалист! конституционалист!»

Тем не менее Передрягин не унывает и даже, по-видимому, совсем примирился с своим новым званием. На днях я его встретил идущим в контору «Полицейских ведомостей», куда он нес для опубликования объявление. Объявление это гласило:

НОВОСТЬ!! СТАТСКИЙ СОВЕТНИК ПЕРЕДРЯГИН!!!

(Знаменская, Гусев переулок, 29)

Изготавливает КОНСТИТУЦИИ для всех стран и во всех смыслах. Проектирует реформы судебные, земские и иные, а равно ходатайствует об упразднении таковых. Имеет аттестаты. Вознаграждение умеренное. Согласен в отъезд.

И вы увидите, что объявление это, чего доброго, возымеет действие, и Передрягин получит заказ.

ПИСЬМО III

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Чаще и чаще приходится слышать, что жить становится скучно и тяжело. И нельзя сказать, чтобы эти сетования были безосновательны. Не в смысле сокращения суммы так называемых развлечений – их даже чересчур достаточно – и не в смысле увеличивающейся с каждым днем суммы утрат и несбывшихся надежд, а просто потому, что понять ничего нельзя. Самые противоречивые течения до такой степени перепутались и загромодили пути, что человек чувствует себя как бы в застенке, в котором вдобавок его ударило по темени. Он измучен не столько реальностью настигающих его зол, сколько бесплодностью своих метаний и сознанием, что жизненный процесс хотя и не прекратился, но в то же время утерять творческую силу. Жизнь утонула в массе подробностей, из которых каждая устраивается сама по себе, вне всякого соответствия с какой бы то ни было руководящей идеей. Неоткуда взяться этой идее; неоткуда и незачем. Прошедшее – несостоятельно, будущее – загромождено.

Я знаю, что нет недостатка в попытках разобраться в удручающих жизнь противоречиях; но, говоря по совести, эти попытки не только ничего не объясняют, но даже еще больше запутывают понимание предстоящих задач. Все они, как бы ни были разнообразны их формы и клейма, свидетельствуют только об ощущении боли и о том, что это ощущение в одинаковой мере присуще всем, которые не одним прозябанием, но и работой мысли принимают участие в совершающемся жизненном процессе. Всем присуще, – начиная от самых ядовитых и нагло-торжествующих и кончая самыми наивными и пригнетенными.

В самом деле, в чем выражаются эти попытки? Какие дают они разрешения, какие открывают перспективы безнадежно мятущейся массе замученных и недоумевающих людей? – Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно, не заходя далеко, остановиться на современной русской публицистике.

С одной стороны, раздаются голоса, изрыгающие проклятия, призывающие к ябеде, человеконенавистничеству, междоусобию. Нельзя, конечно, отрицать, что эта проповедь имеет смысл вполне определенный и что она даже производит массу частного зла; но самая бессодержательность ее отправных пунктов уже свидетельствует о ее творческом бессилии. Не проклятиями исправляется жизнь и не человеконенавистничеством насаждается мир и благоволение в сердцах – этого самые закоснелые личности не могут не понимать. Стало быть, если они упорствуют в человеконенавистничестве, то не потому, чтобы верили в зиждительные свойства его, а потому лишь, что проклятия представляют своеобразную формулу, в которую выливается общий всей современности бессильный вопль против массы недоделок, недомолвок и встречных течений. Но при этом очень возможно и то, что проповедь ненависти, благодаря сложившимся обстоятельствам, сделалась и небезвыгодным ремеслом...

С другой стороны, в ответ кляузе, слышатся голоса наивных, которые тоже чего-то ищут и нечто стараются разъяснить. Но, в сущности, они не разъясняют, но лишь уклоняются и оправдываются. Положение поистине унижительное, хотя, по обстоятельствам, совершенно понятное. Существует некоторая загадочная подкладка в спорах, касающихся современности, – подкладка, благодаря которой одна сторона вступает в состязание заранее торжествующею, а другая – заранее виноватую, хотя и не знает за собой ни одного факта, на который могло бы опереться обвинение. Ни для кого не тайна, что в современных полемиках речь идет совсем не о вопросах, которые ставит жизнь, а о чем-то постороннем, чему вполне произвольно присвоается название «образа мыслей». И так как «правильный» образ мыслей сделался как бы монополией кляузы, то понятно, что противная сторона прежде всего обязывается обелить себя перед лицом кляузы и только уже по выполнении этого считает себя вправе выложить, в форме рискованного предположения, ту скромную крупинку истины, какая имеется в запасе. Или, говоря другими словами, чтобы пустить эту крупинку в обращение, необходимо предварительно надеть Петрушкины (чичиковского Петрушки) порты и уже в этом виде дерзнуть. Спрашивается: каких результатов может достигнуть разъяснение, обставленное такими условиями?

Как плод недоделок и недомолвок, появились на сцену «кризисы». Ни о каких кризисах в старые годы не слыхивали, а тут вдруг повалило со всех сторон. То хлебный кризис, то фабричный, то промышленный, то железнодорожный, наконец денежный, торговый, сахарный, нефтяной, даже пшеничный. Не говоря уж о кризисе совести, который, по-видимому, никому жить не мешает. И, очевидно, этот новый бич – не выдумка так называемых отрицателей и потрясателей, а самая несомненная правда, потому что сами оракулы современности (они же изрыгатели проклятий)

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru только о кризисах и говорят. Все, без различия партий, на этой почве сошлись; все в один голос вопиют: кризисы! еще кризисы! нет отбою от кризисов! И не только вопиют, но даже во все зараженные места пальцем тычут (вот, дескать, где, и вот, и вот!), а исцеления все-таки преподать не умеют.

Это напоминает мне провинциалку-барыню, которую я в старые годы знавал и которая тоже непрерывно страдала кризисами. Все доктора, к кому она ни обращалась, в один голос говорили: «Это, сударыня, кризис!» – но затем все же, получив трехрублевку за визит, считали свою задачу выполненною. Да и что другое могли сказать убогие провинциальные эмпирики, коль скоро и сами они (дело происходило в сороковых годах в одной из самых глухих провинций) никаких «средствиц», кроме гофманских капель, бобковой мази да липового цвета, не знали.

– У кого же вы теперь лечитесь, Любовь Ивановна? – спросил я однажды, застав ее удрученную каким-то совсем новым кризисом.

– Да что, голубчик, все перепробовала: и лекарей, и знахарей, и колдунов – нет мне облегченья! Теперь... оборотень лечит!

– Как оборотень?

– Какие бывают оборотни! ни то человек, ни то хавронья. Наговорили мне об нем с три короба; сказывали, будто бы дух от него здоровый... Да вряд ли. Чавкает... ну, роется... воняет... это так! А чтобы он настоящим манером облегчить мог – не верю!

Хорошо, что впоследствии природа Любви Ивановны взяла свое, и добрая женщина освободилась-таки от угнетавших ее кризисов; но скажите по совести, до какой безнадежности она должна была дойти, чтобы доверить свою жизнь... оборотню!

Но – что всего знаменательнее – указывая на кризисы, люди всех партий непременно приплетают к ним реформы. Все в одно слово утверждают, что именно в реформах и заключается весь секрет. Только одни прибавляют: «недореформили!» – а другие: «перереформили!»

Я не буду останавливаться на людях первой разновидности. Голоса их имеют столь же мало значения в общем политиканствующем концерте, как и воркотня того «слуги», который на театральной сцене при поднятии занавеса метет комнату (ворчит, а все-таки метет) и с негодованием сообщает, что уж двенадцатый час в исходе, а господа все еще почивают... И вдруг справа: «Иван! одеваться!» – слева: «Иван! чаю!» – из глубины: «Иван! принесли ли афиши?» И мчит Иван как угорелый, не только позабыв о недавней воркотне, но весь, с верхнего конца до нижнего, проникнутый одною мыслью: что, ежели эту воркотню подслушал барин и ударит его за нее по затылку?!

Но люди второй разновидности, те, которые на самое возникновение реформаторской деятельности (независимо от ее содержания) смотрят как на катастрофу, породившую все дальнейшие злосчастья, – эти люди заслуживают того, чтобы побеседовать об них подробнее, ибо в настоящее время они – авторитет. Каждый день они каркают: погубим! погубим! погубим! – так что от одних этих паскудных проклинаний становится жутко жить. Вся улица гремит их угрозами, все столбцы пропахли их мудростью, и кто знает, далеко ли время, когда, быть может, и канцеляристы проникнутся убеждением, что кляуза и судаченье представляют наилучшее средство если не для того, чтобы выпутаться из затруднительных обстоятельств, то, по крайней мере, для того, чтобы хоть временно «отписаться» от них.

Я охотно допускаю, что совершившиеся реформы не для всех приятны и что, следовательно, единомыслия в их оценке ожидать нельзя. Но для того, чтобы с успехом вести по их поводу упразднительную пропаганду, недостаточно ненавидеть, проклинать и подсиживать, а необходимо ясно и определительно указать, как с ненавидимым предметом поступить. Некоторым из реформ уже четверть века минуло, а большинство приближается к концу второго десятилетия. Ведь это уже в известном смысле храм славы, а совсем не наваждение, по поводу которого достаточно сказать: «дунь и плюнь!» – и ничего не будет. Но если б даже и возможно было сим легким способом освободиться от храма славы, то все-таки надо и самим знать, и для других сделать понятным, какой иной храм славы предполагается соорудить на место только что выстроенного и уже предполагаемого к упразднению.

Ежели, как можно догадываться, безмятежное житие, проектируемое кляузниками на

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru место реформенной жизни, должно заключаться в том, что люди, причастные ему, будут служить безмолвными объектами для всевозможных оздоровительных затей, то эта перспектива едва ли кого-нибудь соблазнит. Потому что даже простодушнейшие из простодушных – и те уже понимают, что, при известной обстановке, выражения: «оздоровительное предприятие» и «битье по темени» имеют значение не только равносильное, но даже с некоторым преферансом в пользу второго.

Что битье по темени, точно так же, как и сечение, никогда не обладало творческой силой – история доказала нам это достаточно. От начала веков исправник сек мужика, полагая, что через это числящаяся на нем недоимка полностью поступит в казначейство, а недоимка и доднесь на мужике числится. Стало быть, сеченьем нимало интереса казны не соблюли, а только спину мужику понапрасну испортили.

Конечно, большинство исправников оправдывает себя в этом случае тем, что мужик при совершении экзекуции не только не прекословил, но даже по окончании ее благодарил за науку. Стало быть, говорят они, он сам чувствовал, что сечение ему на пользу. Однако едва ли на этот раз можно поверить мужику па слово. Почему он молчит и даже благодарит – это тайна, которую не особенно мудро разгадать. А именно: он молчит и благодарит потому, что ежели он будет «разговаривать», то исправник, пожалуй, не затруднится и опять его «разложит».

Точно то же бесплодное будущее предстоит и битью по темени. Ни фабричный, ни даже пшеничный кризис не прекратятся оттого, что люди ополоумеют. Очень возможно, что эти ополоумевшие, подобно сейчас упомянутому мужику, будут кланяться и благодарить, но секрет этой благодарности будет столь же легко объясним, как и в предыдущем случае. Стало быть, кризисы останутся в своей силе, да вдобавок получится еще громадная масса проломленных голов. Неужели это может кого-нибудь утешить?

Но, кроме того, здесь является и другой очень важный вопрос: кого стукать и за что?

Ежели стукать так называемую интеллигенцию, то она не только не виновна в кризисах, но, можно сказать, даже вполне равнодушна к ним. В сущности, и сахарные, и всякие другие кризисы задевают ее так мало, что едва ли она даже видит нужду в определении тех убытков, которые она несет от них. Она беспрекословно уплачивает лишний грош в одном месте и идет в другое место, чтоб уплатить другой лишний грош. И при этом отлично помнит, что совать нос не в свое дело не следует. Конечно, не может она, от времени до времени, не рассуждать (а в том числе и о кризисах), но в этом уже виновны университеты, гимназии и кадетские корпуса, где совершенно открыто внушается, что человеку свойственно рассуждать. Но, кроме того, ежели даже о словах говорится: *verba volant*, [3] – то для мыслей у нас и крыльев-то не заведено: где родятся, там и умирают. Вот почему, когда года три тому назад изо всех щелей выползли кляузники, вооруженные проектами истребления интеллигенции, то громадная масса интеллигентов даже протестовать не пыталась, а только в недоумении спрашивала себя: за что?

Ежели стукать мужика, то он еще менее виноват в появлении кризисов, хотя преемственность их в особенности живо отдается на его боках. Мужик и до сих пор не знает, что в существование его заползли какие-то кризисы, но для него не тайна, что с кризисами или без оных он все-таки повинен работе. И работает. Мне возражат, быть может, что, во внимание к таковым похвальным качествам, ни один кляузник и не выступил с проповедью об истреблении мужика: пускай, дескать, плодится и множится. – Согласен, действительно, об истреблении мужика проектов не было; однако ж ни один беспристрастный человек не будет отрицать, что о подкузлении его мечтали и мечтают очень многие. За что?

Существует и еще кляузное мнение: в самом, дескать, правительстве накопилось бесконечное множество антиправительственных элементов, которые, пользуясь своим привилегированным положением, преднамеренно поддерживают в стране смуту, служащую источником всех кризисов. Но, во-первых, это мнение вполне обстоятельно опровергается существованием знаменитого 3-го пункта для сменяемых, и кабинетных собеседований – для несменяемых. Во-вторых, если бы даже раскол, о котором идет речь, и не был басней, то, прежде чем направо и налево раздавать клички, следовало бы определить, откуда этот раскол пришел и не имеется ли органической причины, которая делает его неистребимым. И, в-третьих, наконец, где найти компетенцию, которая, не будучи посвящена в тайну правительственных намерений, имела бы возможность безошибочно устанавливать признаки правительственности и

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru антиправительственности? Ужели достаточно заявить себя кляузником, чтобы присвоить себе монополию такой компетенции?

Повторяю: проклятия останутся только проклятиями, человеконенавистничество пребудет только человеконенавистничеством. Не из могил, разрываемых гиенами, услышится живое слово... нет, не из них!

Ах, кляузники, кляузники! ведь дело совсем не в укорах и завинениях задним числом; дело не в ябедах и не в подтасовках, а в том, чтобы жизнь не калечила живых. Ежели слово «реформы» до того постыло, что даже слышать его больно, то пусть будет заменено другим... например, хоть «регламентацией». Ежели и «регламентация» окажется подозрительною (она отзывается отчасти социализмом, отчасти аракачевщиною), то замените ее «постепенным, при содействии околоточных надзирателей, благопоспешением». И это будет хорошо. Не в словах сила, и нет той номенклатуры, с которою нельзя было бы помириться; но пускай же исчезнет то постыдное пустоутробие, которое выдает камень за хлеб и полоумный донос – за содействие.

Оскудение полное. Тем не менее так как мысль не может окончательно умереть, то она и под игом всевозможных недоумений продолжает свою работу. Но, очутившись вне живоносной струи руководящих начал, она исключительно устремляется к мелочам обыденной жизни и в них ищет утолить присущую ей потребность творчества.

Отсюда – громадная масса проектов и проекцев, удручающая нашу современность. Я не утверждаю, чтобы между ними не было практически полезных, снабженных весьма интересными справками и изложенных прекраснейшим слогом, но не могу скрыть, что даже полезнейшие построены на «песце», зависят от массы случайностей и вследствие этого осуждены на полную неустойчивость.

Много мы знали полезных выдумок и многие из них видели даже в действии; но польза, которая от них ожидалась, прежде всего парализовалась их внутренней изолированностью. В общем укладе жизни не было для них ни соответствия, ни поддержки, и это сказывалось до такой степени резко, что едва ли можно указать хотя на одно явление этой категории, которое при самом рождении не стояло бы под угрозой всеминутного упразднения. Мы созидаем и вслед за тем разрушаем, потом опять возвращаемся к разрушенному и, воссоздав его, вновь разрушаем. Плотина, которая сдерживала бы напор пораженного паникою произвола, не только не существует, но даже самая мысль о ее необходимости представляется небезопасною.

Тем не менее неустойчивость отнюдь не обескураживает прожектеров. И это вполне понятно, потому что человек самый простодушный, чувствуя боль во всех суставах, не может не употреблять усилий, чтобы освободиться от нее. Но еще более понятно то, что человек этот, игнорируя общие законы, управляющие жизнью, останавливается в недоумении перед мало-мальски широкой задачей и спешит отыгаться на подробностях.

Простодушие ценит только непосредственные практические применения, а ничто так легко не поддается практической разработке, как подробности. Мир подробностей – мир простодушных людей, и ежели вы сообразите, какое разнообразие подробностей представляет даже самая бедная содержанием жизнь, то убедитесь, что прожектеры могут черпать из этого источника, нимало не опасаясь, что он когда-нибудь истощится.

Повторяю: и количество и разнообразие ходячих проектов поистине изумительны. И чем больше проект напоминает принцип разделения труда, в силу которого рабочий на всю жизнь осуждается выделять одну двадцатую часть булавочной головки, тем большую претензию предъявляет он на авторитетность. Чем он низменнее, тем благовременнее и назойливее. Многие даже утверждают, будто бы в основе большинства современных выдумок – прямо или косвенно, но непременно лежит воровство; но я считаю это мнение чересчур уже рискованным. Меня гораздо более поражает и оскорбляет то, что всякий одержимый чесоткою празднотелец, не обинуясь, приурочивает свою личную чесотку к лику недугов общественных и государственных.

Низменность и бессвязность большинства сыплющихся со всех сторон оздоровительных предприятий таковы, что даже породили мнение о вырождении человеческого рода. Старики, по крайней мере, положительно утверждают, что в былые времена рассуждали обстоятельнее, не «растекались мыслью по древу», а, начавши долбить

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru стоящий на очереди сук, долбили его во всех смыслах и до конца. И в пример приводят решения и поступки, которые хотя и сданы в архив, но в свое время задали-таки копоти. Тогда как ныне – возьмите любой оздоровительный проект, и вы прежде всего убедитесь, что содержание его напоминает пирог, в котором вместо съедобной начинки затисканы стружки, глина, песок и другой строительный материал. А затем и внешности приличной нет налицо. Начнет человек: «так как» – а об «то» позабудет; или начнет с «хотя», а ни «тем не менее», ни «но» и в помине нет. Даже многоточия в ход пошли – на что похоже!

– Фельетоны так писать дозволительно, а не проекты-с, – негодовал на днях бесшабашный советник Дыба, – скажите на милость, начали прибегать к многоточию! Ведь многоточие-то, государь мой, волнение чувств означает. А разве таковое приличествует в вопросе столь несомненной важности, как общественное оздоровление?

Я не буду, однако ж, рассматривать, насколько правы сетующие старики, хотя вообще думаю, что они многое позабыли и весьма малому научились. Не стану также приводить примеры полезных оздоровительных проектов, вроде обуздания гласности, упразднения судейской несменяемости, неограниченного выпуска кредитных билетов, учреждения элеваторов и т. п. Не стану, во-первых, потому, что всё, что я могу сказать об этих предметах, исчерпывается следующими немногими словами: может быть, хорошо выйдет, а может быть, и нехорошо, и даже зловредно. Я и сам рад бы какой-нибудь оздоровительный проект написать, но что же я, сидя у себя в кабинете, знаю? Чем я могу руководиться, кроме цифр, в качестве отправного пункта, и логики, в качестве орудия для вывода? Допустим, что я – человек вполне добросовестный и недюжинного ума, что взятая мною цифра верна и что сделанное мною на основании ее построение вполне согласно с законами логики; но могу ли я поручиться, что не упустил из вида тех примесей, которые при всяком практическом применении всплывают со дна жизни, вопреки всяким цифрам о построениях. Насколько, например, моя выдумка может потерпеть от вмешательства воровства, лихоимства, нравственной расшатанности, неряшества или даже наконец от такой пустой и нелепой вещи, как провинциальный этикет? Я знаю, конечно, что эти дрянные примеси вполне устранимы, а может быть, даже знаю, при каких условиях они устранимы (впрочем, и тут не выдаю своего мнения за непогрешимое); но до тех пор, пока этих условий не существует, ни о чем ничего сказать не могу, кроме: может быть, хорошо, а может быть, так нехорошо, что завтра же переделывать придется.

А во-вторых, если бы я, даже не останавливаясь перед этими соображениями, и начал вкривь и вкось рассуждать, то, наверное, меня на первых же шагах остановят люди, более меня опытные и компетентные. И хорошо сделают, ибо фортуна поступила со мною жестоко, отдав всю мудрость и опытность в удел столоначальников, а мне (впрочем, быть может, и вам, читатель) предоставив бродить на помочах и спотыкаться.

Итак, область серьезного и дельного для меня недоступна. Я и не стараюсь проникнуть в нее и, право, без зависти взираю на вереницы коллежских регистраторов, перед которыми настезь растворяется запертая для меня дверь. Я знаю, что существует другая область: область нелепого и смешного, на воротах которой написано: «Entrée libre», [4] и в которую я, вместе с другими профанами, могу входить вполне свободно. Почему свободно? – а потому, во-первых, что смешное и несерьезно-нелепое предполагается исходящим от людей мизерных, значения не имеющих, то есть вообще таких, которых можно «касаться», не рискуя быть обвиненным в потрясении основ. А во-вторых, и потому, что смешное и нелепое сами по себе настолько невинны, что и спотыкающийся, подобно мне, человек ничего, кроме невинного упражнения, извлечь из подобной темы не может.

Как бы то ни было, но я пользуюсь этой свободой и благодарю.

Из числа моих школьных сверстников, оставшихся в живых, ничей удел не кажется мне столь желательным, как тот, который выпал на долю Федоту Архимедову. И выпал, надо сказать правду, совершенно незаслуженно, единственно благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам.

В школе мы называли Архимедова «Федот, да не тот», и эта кличка удивительно к нему шла. Что-то несвойственное в нем было, какая-то заколдованность, абсентеизм. Уроки он отбывал почти всегда исправно, но учителям почему-то казалось, что не он лично отвечает урок, а какая-то сушья в нем чертовщина; вел

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru он себя добропорядочно, но надзирателям казалось, что эта добропорядочность в нем не то чтобы лицемерная, а как бы невменяемая. Поэтому и баллы ему, как в учении, так и в поведении, ставились очень умеренные. И он не протестовал против несправедливости, а только при случае горько улыбался; но эта горькая улыбка была до того беззаветно-нелепа, что ему тут же сбавляли за нее еще балл или два в поведении, – как будто он произвел невесть какое дебоширство. Ни с кем он не был дружен и ни к какому занятию не оказывал предпочтения. Охотнее всего играл в свайку; но и тут устроится в одиночку где-нибудь в уголку и сам себе задает редьки. В рекреационные часы он и по зале, и по саду ходил всегда один, – и непременно задумавшись; но никто не мог определить, действительно ли он думает, или у него болит голова. Некоторые даже утверждали, что у него в голове завелось мышинное гнездо, и приставали к нему, спрашивая, выпросталась ли старая мышь и не беспокоят ли его своей беготней молодые мышата. Однако ж этот вопрос – только он один – приводил его почти в исступление. Он, как бешеный, бросался в толпу обидчиков, ничего не разбирая, сыпал ударами направо и налево, швырял чернильницами, и, разумеется, взаимно украшенный синяками, попадал в конце концов в карцер. Между тем как прочие товарищи интересовались литературой и втихомолку зачитывались журналами, он в продолжение всего шестилетнего курса читал исключительно один и тот же № «Репертуара» (Песоцкого), в котором был помещен водевиль «Отец, каких мало». Читал постоянно и не мог начитаться. И в довершение всего лицо у него было похоже на подмалеванный портрет, в котором художник тщетно пытался что-то изобразить и наконец бросил, подписав внизу: «Галиматья».

По выходе из школы он вместе с другими товарищами обязательно поступил на службу. Однако ж и новое начальство довольно долго не могло приспособиться к нему и разгадать: тот ли он Федот или не тот. Поэтому на первых порах на него возлагались работы самые легкие, так сказать, идиотские; но даже и в них он не обнаруживал ни мастерства, ни виртуозности. Запишет, бывало, бумагу во входящий реестр и не беспокоится. Все беспокоятся, у всех сердце болит, а ему как с гуся вода! И, может быть, служебные дела его и до сего дня шли бы тихим ходом, если бы, на его счастье, в служебной атмосфере не последовало нового веяния. Неизвестно почему, но, конечно, не без основания, на Федотов явилось в бюрократических сферах усиленное требование. От них одних ожидалось усердие не по разуму, а на их непреклонность в соблюдении канцелярской тайны возлагались самые горячие упования. «Федотов нужно! никого, кроме Федотов!» – раздавался клич по всему лагерю, и в согласность этому кличу произошли существенные перемены и в том ведомстве, в котором служил Архимедов. Старый начальник был смещен, и на его место посажен другой – тоже Федот, да не тот. Оба Федота любили сами себе сваечные редьки задавать, оба – ничего не читали, кроме водевиля «Отец, каких мало», и у обоих – под портретом написано было: «Галиматья». Взглянули они друг на друга, да так и ахнули. И с этой минуты служебная карьера Архимедова была обеспечена.

И точно, с первого же абцуга дело пошло у них как по маслу и в настоящее время доведено до такого совершенства, как дай бог всякому. Подчиненный-Федот – докладывает, а начальник-Федот – понимает; начальник-Федот – приказывает, а подчиненный-Федот – понимает. И не видят оба, как время летит. Все сослуживцы дивятся и говорят, что они при дьявольском наваждении присутствуют, а им что за дело!

И лезет да лезет Федот Архимедов по лестнице, виденной Иаковом во сне, и, наверно, до чего-нибудь долезет. В последнее время он почти сряду получил три награды: к рождеству его сделали делопроизводителем комиссии для Рассмотрения Предшествующих Заблуждений; постом он получил дифтерит, а к святой – орден Таковва. И живет себе припеваючи в великолепной казенной квартире и с часу на час ожидает курьера. А некоторые даже присовокупляют, что он каждое утро казанским мылом моется и лоделавандом рот полощет, дабы в случае чего не оплошать. Что ж! казанское мыло не одному Федоту открывало путь к почестям!

Так вот, этот самый Федот с чего-то начал ко мне похаживать. Придет, рассядется в кресле, вынет платок, опрысканный какими-то ни с чем не сообразными духами, и начнет вытирать им между пальцев. И чтобы я не возмечтал о себе по поводу его визита чего-нибудь лишнего, непременно скажет:

– Я потому к тебе зашел, что нахожу нелишним от времени до времени окунуться в волны общественного мнения...

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Оговорившись таким образом, он начинает, не торопясь, разматывать предо мной один за другим нагноившиеся в его голове прожекты. Прожектов этих у него напасено ровно столько, сколько есть звезд на небе, и хоть, по всем вероятностям, ни одному из них не предстоит осуществления (чересчур уж они смелы), тем не менее это не мешает им циркулировать в сферах и даже утруждать внимание. Ибо, при всеобщем современном оголтении, федоты изображают собой силу, с которой нельзя не считаться и выслушивать которую – обязательно.

В большинстве случаев эта «сила» всплывает на поверхность случайно (как это уже и рассказано мною выше); но, раз всплывши, она устраивается настолько прочно, что сдвинуть ее с занятой позиции представляется делом весьма нелегким. Секрет заключается в том, что федоты быстро и издалека угадывают друг друга и, угадавши, составляют из себя, так сказать, ассоциацию взаимного застрахования. Во главе этой ассоциации становится федот первый, который где-то имеет «руку» и, следовательно, считает себя вправе колобродить, не стесняясь ничем, кроме усердия не по разуму. У первого федота имеет руку федот второй, у второго федота – третий и т. д. Все заимствуются светом друг у друга, и все колобродят. Колобродят серьезно, сосредоточенно и сердито, так что ежели в разгар этого колобродства подвернется профан и попробует выказать не то чтобы несогласие, а только равнодушие, то ему, наверное, несдобровать.

В силу таких счастливых условий колобродил и федот Архимедов. Сознывая себя федотом по преимуществу, он не ограничивался тем, что разводил свои колобродства в тесном кругу подобных ему федотов, но находил наслаждение угнетать ими и людей, совершенно посторонних. А в том числе и меня.

Все кризисы постепенно прошли через горнило его умопомрачения, все одинаково вызывали на его лице озабоченное выражение, и все он приурочивал к одной и той же причине: разнузданности. Долгое время он ограничивался в разговорах со мною одними общими местами на эту тему, но наконец не выдержал и раскрыл мне подробности своего плана.

– Ты уже знаешь, – сказал он мне, – что, по мнению моему, прежде всего необходимо уничтожить разнузданность. Раз мы успеем в этом, жизнь естественным порядком войдет в надлежащую колею. Внутренние враги рассеются, а с внешними мы, с божьей помощью, и сами справимся. Надеюсь, что ты ничего не имеешь против этого результата?

Разумеется, я не только не имел ничего, но был даже очень рад. На то враги и существуют, чтобы их обуздывать. Но так как время ныне стоит загадочное, то и я счел нужным ответствовать загадочно. То есть не отрицал, но и безусловного согласия не изъявлял.

– Как тебе сказать, душа моя, – резонировал я, – может быть, оно и хорошо выйдет, а может быть, и нехорошо. Обуздывать, вообще говоря, полезно и даже всегда благовременно; однако не мешает при этом иметь в виду и следующее: а что, если вдруг понадобится снова разнуздывать?! кто будет тогда виноват в безвременном обуздании?! Но, с другой стороны, может случиться и так: ежели мы оставим разнузданность необузданною, то как бы потом не пришлось быть в ответе за то, что мы своевременно ее не обуздали. Словом сказать, все в этом предприятии сводится к пословице: и перевернешься – бьют, и не перевернешься – бьют. Вот чего я боюсь.

Высказавши это мнение, я вдруг очнулся: что, бишь, такое я сказал? К счастью, Архимедов не только не казался изумленным, но даже понял.

– Ты слишком осторожен, – укорил он меня. – Завесу будущего приподнимать полезно, но не всегда. Есть вещи, которые необходимо приводить в исполнение сразу, не рассуждая. Рассуждение – вот корень угнетающего нас зла. Рассуждая, я, конечно, всегда рискую встретиться с препятствиями. Сперва придет одно препятствие, потом другое, третье, и наконец накопится такое множество, что для разборки их потребуются целая комиссия, которая после десяти лет неусыпных трудов, подобно тебе, резюмирует свою мысль в трех словах: бабушка надвое сказала. Но это мы уж давно знаем; это написано в виде эпиграфа во главе всех наших начинаний, и, к сожалению, мы нимало не делаемся оттого благополучны. Нам нужно совсем другое, а именно: отзвонил, и с колокольни долой. Правду ли я говорю?

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Как тебе сказать, мой друг?.. Быть может, без рассуждения, выйдет и хорошо, но может быть, и нехорошо. А равным образом – и насчет звону. Иной звонарь бухает в колокол зря, а другой – старается попасть в тон... Словом сказать, загвоздка.

Но он даже не ответил на мое возражение, а самодовольно выпрямился и сказал:

– Ну, уж насчет звону... можешь не беспокоиться: с лишком тридцать пять лет я звоню, и, кажется... Но не будем увлекаться голословными препирательствами, а обратимся к фактам, которые, я надеюсь, лучше всяких рассуждений тебя убедят в моей правоте.

И тут-то вот он, пункт за пунктом, развил передо мной свой проект об уничтожении разнузданности.

По его мнению, наша современность представляла два главных вместилища разнузданности: во-первых, современную молодежь, во-вторых, печать. Он не отрицал, впрочем, что если копнуть, то могут открыться и еще два-три вместилища (например: земство, суд, акцизное ведомство, контроль), но куда еще позволял себе смотреть сквозь пальцы на их «недостойную игру». Зато на вопросах о молодежи и печати он сосредоточил все свое внимание и изучил их до тонкости.

– Относительно нашей молодежи, – начал он, – я полагаю, что прежде всего необходимо упорядочить ее воспроизведение...

И, прочитав на моем лице испуг, поспешил успокоить меня:

– Не прекратить – я соглашаюсь, что это было бы чересчур радикально, – но «упорядочить». Не пугайся и выслушай меня до конца. Наблюдения сведущих людей показывают нам с последнею очевидностью, что качества, как физические, так и нравственные, наследственно переходят от производителей к производимым. Каким образом это происходит – никому не известно: но таков закон природы. Отец, обладающий большим носом, передает его по наследству сыну, а в некоторых случаях, к несчастью, и дочери. Точно то же явление замечается и относительно характера (особенно, ежели характер строптив), и ежели бывают исключения из этого общего правила, то они доказывают лишь вмешательство посторонних факторов, которого никакой закон ни предотвратить, ни предусмотреть не может. Следовательно, дабы получить молодое поколение, вполне соответствующее требованиям благоустройства и благочиния, необходимо главным образом упорядочить производительную среду. Но где мы отыщем эту среду? Ежели мы будем искать ее среди наших сверстников, то вряд ли поиски наши приведут к плодотворному результату. Мы, старики, свое дело сделали. Что с возу упало, то пропало. Тщетно стараться об упорядочении того, что самую природою до такой степени упорядочено, что может сказать о себе только: на нет и суда нет. Конечно, найдутся и среди нас... между прочим, не скрою и о себе... но это уже, так сказать, особое благоволение природы, на которое закон смотрит как на явление в высшей степени приятное, но не обязательное... Не правда ли, *mon vieux*?[5] так ведь я говорю?

– То есть как тебе сказать... Конечно, в таких делах молодые люди более компетентны, но, с другой стороны, ежели взглянуть на дело с точки зрения осмотрительности...

– Ну, ну, что уж! не оправдывайся, бог простит! Итак, продолжаем. Истинная производительная сила, та, которая производит обязательно и с увлечением, сосредоточивается в самом молодом поколении. И вот от этой-то именно силы, то есть от ее доброкачественности или недоброкачественности, и зависят судьбы будущего. Или, говоря языком науки: «Всякий молодой человек, воспроизводящий в лице ребенка подобие самого себя, не только удовлетворяет этим естественной склонности к самовоспроизведению, но в то же время влияет и на дальнейшие судьбы своего отечества». Это аксиома, или, лучше сказать, краеугольный камень, на котором должен произрасти цвет будущего. Заручившись этим основанием, я говорю себе: так как состав и свойство грядущих поколений находятся в тесной зависимости от состава и свойств ныне действующего молодого поколения, то, дабы усовершенствовать первое, необходимо произвести в последнем такой подбор людей, который представлял бы несомненное ручательство в смысле благонадежности. Или, говоря языком науки, необходимо, наряду с прочими возникшими в последнее время институтами, образовать еще институт племенных молодых людей, признав чисто правоспособными только тех молодых людей, кои добрым поведением и успехами в

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru древних языках (а на первое время хотя бы в одном из них, – прибавил он снисходительно) окажутся того достойными; тем же, которые подобного ручательства не представят, предоставить доказывать свою правоспособность от дела сего особо. Так ли я говорю?

– Как бы тебе сказать...

– Позволь. Твоя речь впереди, – перебил он меня нетерпеливо. – Прошу заметить, что я ни экзаменов, ни пробных лекций, ничего такого не требую. Хорошо вел себя в школе, знаешь наизусть две-три басни Федра (но надобно знать их твердо, мой друг!) – иди и шествуй! Хоть сейчас под венец. Наше ведомство не токмо не встретит препятствий, но даже окажет деятельнейшее в сем смысле содействие. И еще заметь: я и строптивного не обескураживаю. Я, так сказать, только отчисляю его по инфантерии, но не навечно, ибо в то же время говорю: старайся оправдаться, и ежели представишь подлинное удостоверение – дерзай! И чем больше будет раскаивающихся, тем полнее будет наша радость. Одного не могу допустить и не допущу: это, чтоб элементы неблагонадежные или сомнительные могли проникнуть в корпорацию правоспособных... нет! не допущу!

– Но неужели же те, которые, по упорству или по нерадению, все-таки не выучат двух-трех басен Федра, – неужели они будут навсегда осуждены влачить безотрадное существование по инфантерии?

– Всенепременно; в этом заключается вся экономия предлагаемого мною проекта. Впрочем, не огорчайся; ведь это только издали кажется страшно; но как только дело дойдет до практики, то опасения твои, наверное, дойдут до минимума. Инстинкт самовоспроизведения настолько силен в человеке, что даже самые строптивные будут прилагать старания к скорейшему духовному и нравственному возрождению. А сверх того, право, не так уж трудно выучить две-три басни Федра, чтоб из-за этого подвергать себя столь существенному лишению. Немного терпения и очень много твердости со стороны наблюдающих – и ты увидишь, что в самое короткое время за кадрами останутся только закоснелые.

– Но ежели...

– Никаких «ежели» в проекте моем не допускается. Вопрос поставлен ясно и категорически, а сверх того, чтобы кадры не номинально только, а действительно оставались замкнутыми, имеется в виду неусыпное наблюдение и строго сообразенная система взысканий. Прорваться не будет возможности. Сначала, конечно, в отношении к покушающимся будут пущены в ход меры кротости и убеждения, потом – взыскания, постепенно усиливаемые, и наконец...

– Ах!

– И я знаю, что жестоко, но иначе нельзя. И ты увидишь, что благодаря содействию племенных молодых людей следующее же поколение получит совсем другую окраску. О разнузданности не будет и в помине, а ежели и останутся отдельные индивидуумы, имеющие унылый и недоброкачественный вид, то они мало-помалу изноют сами собой.

Он умолк и самонадеянно смотрел на меня, выжидая одобрения. Но любопытство мое настолько было задето за живое, что я уже и сам пожелал некоторых пояснений.

– Но мужички, – спросил я, – неужели и они...

– О, нет! до них мой проект не касается! – разубедил он меня, – крестьянское сословие может плодиться и множиться на прежних основаниях! Для усмирения крестьянской разнузданности существуют специальные установления: волостная управа, волостные суды, клоповники и наконец... чик-чик! Этого вполне и надолго будет достаточно... разумеется, если какая-нибудь комиссия и тут не подпустит... Но как ты находишь мой проект в целом? не правда ли, он в настоящую точку бьет?

– Как тебе сказать? Конечно, может выйти хорошо, но может выйти и нехорошо. Ведь Рыков думал: «Дай-ка я оживлю земледелие и торговлю», – и, разумеется, ждал, что выйдет хорошо. Однако теперь он за свою выдумку сидит на скамье подсудимых. А почему? – потому что это была его личная выдумка, которою он увлекся, да что-нибудь и упустил... А может быть, и подпустил...

– Рыков! – какие, однако ж, у тебя тривьяльные сравнения?

– Ах, нет, я не об том... Я говорю только: если у тебя все пойдет как по маслу, то выйдет хорошо; если же, например, люди, зачисленные по инфантерии, прорвутся в действующие кадры, хотя бы даже в качестве посторонней стихии... Ну, не сердись! не сердись! это я по простоте... Наверное, ты уже все заранее предуготовил и предусмотрел, и следовательно... Отлично выйдет! отлично! Одно только меня интригует: каким путем ты додумался до такой изумительной комбинации? Ужасно это любопытно!

– Каким путем! – Наблюдал, размышлял, прислушивался, сопоставлял... Свои личные наблюдения проверял наблюдениями добрых друзей, и наоборот. Я, голубчик, еще в то время, когда реформы только что начались, уже о многом думал. И многое предусмотрел и даже предупреждал, но... Впрочем, оставим эти дурные воспоминания и обратимся к предмету нашего собеседования. Теперь мне предстоит изложить мои предположения относительно другого вместилища современной разнузданности – печати.

Федот остановился и испытующе взглянул на меня. Очевидно, он вспомнил, что я до известной степени не чужд печати, и это как будто стеснило его. Разумеется, я поспешил его разуверить.

– Итак, будем откровенны! – начал он. – Впрочем, это будет для меня тем легче, что, в сущности, я совсем не враг печати, а только желаю, так сказать, оплодотворить ее.

Он опять остановился и, как бы предвидя, что все-таки нельзя обойтись без того, чтоб не огорчить меня, взял мою руку и крепко, по-товарищески, ее сжал.

– Да не стесняйся, голубчик! говори! – убеждал я, растроганный до глубины души.

– Итак, будем откровенны, – вновь начал он после некоторого колебания. – Небезызвестно тебе, что в настоящее время печать служит предметом очень тяжких обвинений. Я считаю, впрочем, излишним излагать здесь многообразную сущность этих обвинений: она известна тебе, по малой мере, столь же подробно, как и мне. Нельзя похвалить современную печать, мой друг! нельзя! И хотя я стараюсь быть беспристрастным, но, во всяком случае, не могу не признать, что дело поставлено очень и очень неправильно! И я уверен, что ты сам внутренне соглашаешься со мной, хотя, конечно, по чувству солидарности, и не высказываешь... Признайся! ведь соглашаешься? а?

– Что ж, коли тебе все уж известно...

– Ну, вот видишь! я так и знал! Есть что-то такое в этой печати, чего ни под каким видом нельзя допустить. И даже в самой форме. Вызывающее что-то... дерзкое! А притом и не всегда понятное. Вот почему многие заявляют открыто, что печать следует или совсем упразднить, или, по малой мере, надеть на нее намордник!

– Намордник!!

– Да, намордник. И заметь, это говорят люди, которые в общелитературной славуте за людей обязательных, мягких и вежливых. Они мягки и обязательны во всем... кроме литературы! Как только речь коснется литературы... намордник! Я, однако ж, этого мнения н-не раз-де-ля-ю!

Он произнес последние слова с некоторою торжественностью, так что я не воздержался и воскликнул:

– Федот! ты великодушен!

– Я только справедлив, – ответил он томно. – Тем не менее, не разделяя мнения столь крайнего, я в то же время понимаю, что меры необходимы, и меры решительные. И имею основание думать, что такие меры... возможны!

– О!

– Не пугайся, выслушай меня. Вероятно, ты уж заметил, что в основе всех моих предположений лежит, главным образом, не упразднение, а упорядочение. Или, лучше сказать, возрождение. Так поступаю я и в данном случае. Многие противопоставляют

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru моей системе спасительный страх, но я нахожу, что последний уже в значительной мере утратил свое обаяние. С самого пришествия варягов мы живем под действием спасительного страха, а дурные страсти как были разнузданы при Гостомысле, так и теперь остаются разнузданными. Друг мой! чтов пользы в том, что мы, подобно Сатурну, будем глотать своих детей?! Проглотим одного, проглотим другого, третьего, четвертого... что ж дальше? Не расточать надобно, а собирать в житницы – вот мой девиз. Этот девиз, как тебе известно, я применил к той части моего проекта, которая касается нашей молодежи; его же предполагаю применить и к печати.

– О!

– Вот вкратце содержание моих предположений по этому предмету. Печать, говорю я, сама по себе не могла бы существовать, если бы не существовало деятелей печати. Ежели деятели печати хороши, то и печать хороша; ежели деятели дурны или вредны, то и печать дурна или вредна. Это... аксиома. А ежели это аксиома, то очевидно, что сущность или, так сказать, стрела всякого проекта, написанного в здравом уме и твердой памяти, должна быть направлена не против печати собственно, а против ее деятелей. Так оно у меня и выходит. Деятелей печати я разделяю на два разряда: к первому отношу современных литераторов и публицистов; ко второму – публицистов и литераторов будущего. Что касается первых, то на их возрождение надежда плохая. Они слишком закоснели в дурных привычках, слишком избалованы. Поэтому я полагаю удобнейшим оставить их под действием спасительного страха, под коим они доднесь пребывали, не чувствуя от того для себя отягощения...

– Ну, не совсем-таки без отягощения...

– Извини меня, но, со стороны господ писателей, это уже прихоть! Все вам предоставлено, все! И предостережения, и предупреждения, и советы! Если же и затем... согласишься со мной, что самая снисходительная система дальше идти не может, не рискуя попасть пальцем в небо. Впрочем, повторяю: на нынешний состав литературы я и не полагаю никаких надежд. *Alea jacta est.* [6] Что будет, то будет, а будет, что бог даст. Намордников я не предлагаю, но думаю, что сама природа наконец возмутится и явится на помощь к благонамеренным людям с естественной развязкой. Уже достаточное количество сошло с арены, остальные... не замедлят! Жалко, но делать нечего – таков закон природы! Ну-с, а затем прошу тебя выслушать меня внимательно, потому что я приступаю.

– С большим удовольствием, хотя не могу не сказать, что мнение твое насчет современной литературы...

– Ни слова об этом. Ежели я не требую намордников, то и идти дальше по пути послаблений нимало не желаю. Словом сказать, я возлагаю упования на будущее. В этих видах я связываю мои предположения о возрождении печати с проектом об упорядочении молодого поколения вообще. Ты видел, как нетрудно и даже легко достигается последнее, а по последнему можешь судить и о первом. Как скоро образуется благодаря содействию племенных молодых людей молодое поколение, усовершенствованное и очищенное от неблагонадежных элементов, то вместе с тем получатся и питательные кадры, из которых имеют пополняться ряды деятелей печати. Но здесь – как, впрочем, и везде – возникает несколько очень существенных вопросов, которые необходимо разрешить вперед. Вопрос первый: следует ли сделать вход в литературную среду общедоступным? Или же полезнее будет ограничить число деятелей печати определенным комплектом? Я долго колебался между этими двумя системами, но, по обсуждении доводов *pro* и *contra*, [7] пришел к такому заключению: первая хороша – вообще, вторая – в частности. А так как наше время – не время широких задач, то хотя и с болью в сердце, но приходится предпочесть частное общему. В этих видах я полагал бы на первых порах комплект действующих литераторов ограничить числом 101. Сто – это потребность настоящего; один – это, так сказать, окно, из которого открываются перспективы будущего. Где есть один, там есть начало новой сотни, или, по крайней мере, надежда на оную – вот! Или, говоря точнее, я не только не закрываю дверей будущего, но, напротив, приглашаю достойнейших: идите! вот этот сто первый укажет вам путь к славе!

– Прекрасно! – воскликнул я. – Стало быть, ты все-таки сознаешь, что и литературе не чужд путь славы...

Но он вместо ответа только махнул рукою и продолжал:

– Второй вопрос касается организации. Не имея в виду прецедентов, которые указывали бы, как в данном случае поступить, я был вынужден довольствоваться собственной изобретательностью. И посему полагал бы: сто русских литераторов разделить на десять отрядов, по десяти в каждом, а сто первому литератору предоставить переходить по очереди из одного отряда в другой до тех пор, пока время не укажет на необходимость образования нового, одиннадцатого отряда, к которому он и примкнет. Во главе этих отрядов, на первое время, я предполагаю поставить старейшин из числа деятелей современной русской литературы, но исключительно из таких, которые, по преклонности лет, уж мышей не ловят. При этом я отдал бы предпочтение составителям хрестоматий, которым, по свойству их занятий, все роды литературы доступны. Когда все будет готово, тогда, по совершении молебствия и по воспоследовании пригласительного сигнала, отряды начнут между собой полемику. Но полемику благородную, и притом сливающуюся в одном общем чувстве признательности.

Он остановился, чтобы передохнуть, и я воспользовался этим, чтобы слегка походайтствовать.

– Вот ты упомянул о старейшинах, – робко инсинуировал я, – вот кабы...

– Имею в виду, – обнадежил он меня кратко. – Затем продолжаю. Вопрос третий: следует ли членам литературных отрядов присвоить штатное содержание, или же удобнее считать их занятия безмездными? На этот вопрос отвечают трояко: одни – в утвердительном смысле; другие – в отрицательном и, наконец, третьи говорят: следует, но в виде частного пособия, и притом келейно. Отрицательной системы я не допускаю вовсе, потому что она до известной степени подрывает принцип ответственности, и притом уже доказала на деле свою несостоятельность. Систему келейных пособий я тоже не могу одобрить, потому что она, страдая тем же недостатком, как и система отрицательная, имеет, сверх того, и еще неудобство: так называемые субсидии стоят казне, по малой мере, столь же дорого, как и гласно выдаваемое жалованье. Затем остается система утвердительная, которую я и принимаю. Но что касается размера предполагаемых содержаний, то таковой поставлен мною в зависимости от состояния бюджета. Хорош бюджет – и жалованье хорошо; дурен бюджет – нет ничего. Но расписываешься в получении и в том, и в другом случае – обязательно.

– Вот-то будут о ниспослании хорошего бюджета бога молить! – невольно вырвалось у меня.

– Га! ты понял теперь, в чем заключается соль моего проекта! Вот это-то именно мне и нужно. Да-с, перестанут господа публицисты хихикать над бюджетом! перестанут-с! будут бога молить-с! Но пора кончить. Остается четвертый и последний вопрос: какому порядку надлежит следовать в видах пополнения отрядов, как при образовании их, так и на случай убылей? На это я отвечаю кратко: те же правила, какие проектированы мною для признания правоспособности молодых людей, могут быть применены и здесь. В среде племенных молодых людей деятели печати составят как бы *status in statu*; [8] это будут деятели племенные по преимуществу. Только одно лишнее требование я считаю полезным допустить – это знание латинских пословиц и изречений. Знание это сообщает слогу колоритность, а писателю дает вид, как будто он нечто знает, но только не все сказать хочет. Затем остальное – пускай устроит жребий!

Он кончил и заторопился. На этот раз он даже не поинтересовался моим мнением: до такой степени рельефно выступала в его сознании непререкаемость проекта. Впрочем, он обещал невдолге вновь меня посетить и изложить мне свои проекты относительно упорядочения судов и земства.

– А при этом, быть может, придется нам коснуться и элеваторов, – присовокупил он, загадочно подмигнув мне глазом.

ПИСЬМО IV

Чтобы «Пестрые письма» воистину оправдывали это название, позвольте мне сделать небольшую экскурсию в область прошлого.

До «катастрофы» моя соседка, добрая Арина Михайловна Оковнцева, жила очень смиренно. К этому времени ей было уж за тридцать, а мужу ее, Севастьяну Игнатьичу, годом-двумя побольше. Имение у них было из средних – по старому счету, душ

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru триста; но, как люди старозаветные и неприхотливые, они довольствовались и малым. А так как, сверх того, они из деревни не выезжали, то это малое настолько граничило с изобилием, что дом Оковнцевых представлял собой полную чашу, в которой все говорило о запасливости и предусмотрительности домовитой хозяйки.

И муж, и жена жили душа в душу. Она взяла на себя все хлопоты по домашнему обиходу и по управлению имением; на нем – лежала только сладкая обязанность любить ее. Осьмнадцати лет Ариша была бодрою, свежою и сильною девушкой; такую же казалась она Севастьяну Игнатьичу и в тридцать лет, хотя значительно пошла в кость, обзавелась усиками и фигурой скорее напоминала солидно скроенного мужчину, нежели деликатную даму. С своей стороны, и Севастьян

269

Игнатьич, в глазах Арины Михайловны, оставался все тем же обаятельным гусаром, каким он был, когда впервые пропел перед нею модный в то время романс: «Гусар, на саблю опираясь», хотя через пятнадцать лет благодаря усиленной выкормке он скорее напоминал средних лет скопца, нежели лихого корнета. Время не наложило своей всевластной руки на их взаимные отношения. Как в первую, так и в последнюю минуту оба помнили и понимали одно: он – что она Ариша, она – что он Савося. И что лучшего ничего они не выдумают, как любить друг друга.

Богатств у них не было, но не было и затей, которые заставляли бы чувствовать отсутствие богатства. Было все «свое», и в этом «своем» они себе не отказывали. Своя живность, свое варенье, свои наливки, свои смоквы, свое тепло, свой простор. Все некупленное, и притом являющееся как будто само собой, без усилий, без думы, точно волна за волной плывет, а за этой волной и еще волна виднеется. Поест захотят – поедят; посидеть захотят – посидят, а не то, так и походят. Приемов они не делали и с гостями скучали (глаза при гостях у них слипались), хотя от хлебосољства не отказывались. Всего охотнее, по случаю всегдашней взаимной любви, они оставались с глазу на глаз, вдвоем.

Встанут, бывало, часов в восемь утра, Ариша по хозяйству исчезнет, а Савося временно останется один в целой анфиладе комнат. Посидит он и походит, как вздумается; иногда подумает, а иногда и так в окошко поглядит; и во всяком случае чего-нибудь покушает («пить» она ему позволяла только одну рюмку водки перед обедом). Но пройдет час, другой, и он уже начинает просовывать голову в коридор, выглядывая, не пройдет ли мимо Ариша. И, разумеется, поймает.

– Ариша! ты?

– Ах, ты мо-о-ой!

Поцелуются, и опять каждый за дело. Опять пройдет час, другой...

– Ты, что ли, Ариша?

– Ах, ты мо-о-ой!

И не увидят, как день пролетит. А вечером, еще восьми часов на дворе нет, Савося уж начинает торопиться. Перестанет ходить и усядется в кресло, точно невесть как уморился. Увидев Савосю в этом положении, Арина Михайловна и с своей стороны начинала спешить. Заказавши завтрашнюю еду, она шла к мужу и говорила:

– Что, петушок, к курочке под крылышко баиньки собрался?

Словом сказать, тем горячее они любили друг друга, что и любовь у них была «своя», некупленная. Но в особенности преданно и горячо любила она. Почему-то она предполагала, что Савося, как бывший гусар, должен иметь вкусы изысканные. А так как она с каждым годом все больше и больше шла в кость, то и ставила мужу в большую заслугу, что он, несмотря на это, не только ни разу ей не изменил, но никогда ни на одну горничную завистливым оком не взглянул.

– Чтов я такое – мужик мужиком! – открывалась она ключнице Платонидушке, – кожа на мне словно голенище выростковое, на руках – мозоли, на ногах – сапожнищи! Ты думаешь, он этого не понимает? – Понимает, мой друг! ах, как понимает! И ему, голубчику, любовинки-то хочется! И чтобы беленькая, и чтобы неженькая... А он вместо того одну меня, бабу-чернавку, любит. Должна ли я это ценить?

И вознаграждала Савосю за любовь тем, что окружала его всевозможными попечениями. Ветру не давала на него венуть, любимые его блюда наперечет знала и нарочно по коридору лишней раз пробегала (хотя дела у нее всегда по горло было) на случай, не выглянет ли Савося из комнат.

Детей им бог не дал, копить было не для кого. Таким образом, они имели полную возможность жить исключительно для себя. Конечно, божьего добра зря не транжирили, но и не скопидомствовали, а только всемерно друг друга холили, чувствуя, как мягко подхватывает их волна за волной, и зная наперед, что и конца этим ласкающим волнам не предвидится.

И крестьяне, и дворовые не могли нахвалиться ими; говорили: «У нас не господа, а ангелы». Никого они не обременяли ни непосильной работой, ни оброками, а довольствовались тем и другим лишь в той мере, в какой это было нужно, чтоб в господском доме полная чаша была. И чтобы не в одних господских покоях, но и в застольной, и на скотном и конном дворах – везде чтобы изобилие и сытость царствовали. Чтобы девка – так девка, корова – так корова, петух – так петух, – вот у нас как!

Денег в доме Оковнцевых в обращении мало водилось. Было у Арины Михайловны «маменькино приданое», но оно хранилось в «Совете», и проценты с него ежегодно присовокуплялись к капиталу. Что касается до текущего дохода, то он почти всецело получался натуральными произведениями, из которых только малая часть поступала в продажу. Вообще на деньги Оковнцевы смотрели как на что-то исключительное, волшебное, долженствующее прийти на выручку в «черный день». Для обихода на наличные деньги приобреталась только бакалея и материал для одежды, и все «покупное» расходовалось до крайности расчетливо и даже скупое. Кассой заведовал Севастьян Игнатьич, который приходил в неописанное волнение всякий раз, когда предстоял по хозяйству денежный расход. Раза два в год он усчитывал себя, и ежели оказывался излишек, то супруги уезжали на короткое время в Москву (в «Совет»), где Севастьян Игнатьич вел переговоры с приказными, что-то «вынимал» и что-то «клат», но при этом вел свои операции в таком секрете, что никогда ни один сосед не пронюхал, что у Оковнцевых пахнет деньгами, и не попросил займы.

Это была идиллия, содержание которой не разнообразилось даже проявлениями так называемых патриархальных отношений. Соседи-помещики смеялись над неповрежденной годами страстностью счастливых супругов и сочиняли по этому поводу пикантные анекдоты; но Оковнцевы жили такую замкнутой жизнью, что никакое судаченье не доходило до них. Зато им довольно часто приходилось выслушивать реприманды по поводу слабого управления крепостными людьми. Время тогда было серьезное и предусмотрительно во всех частях согласованное. Человек представлялся чем-то вроде сатанина сосуда, который надлежало держать тщательно закупоренным, так как, при малейшей оплошности, сатана выскочит и начнет чертить. Но ежели таково было представление о человеке вообще, то по отношению к крепостному человеку оно являлось уже совсем непререкаемым. Оковнцевых предостерегали (преимущественно с точки зрения дурного примера); предсказывали, что они и сами раскаются, но будет поздно; и специально указывали на Макарку-идола, который от корму да от праздности, того гляди, с жиру лопнет. После подобных увещаний Савося нередко задумывался и прищуривал один глаз, как бы искушаемый вопросом: не вспрыснуть ли Макарку-идола, чтобы ходил веселее? Но Ариша замечала эту задумчивость и успокаивала мужа одним словом: «пустяки». Никогда даже колебаний по этому поводу ей на ум не входило.

– Детей нам бог не дал, – говорила она, – чего захочется, и без тиранства всего у нас вдоволь, а они на-тко что выдумали: людей тивгосить!

И жили они среди этой идиллии, забытые не только исправником, но даже становым приставом, жили счастливые, довольные, сытые... до самого дня «катастрофы».

Слухи о приготовлении к «катастрофе» дошли до них поздно. Сельский батюшка за третьим жалованьем в город поехал и застал там большой съезд. А на постоялом дворе ему сказали, что дворяне съехались, потому что им дозволено насчет «воли» просить. Но Оковнцевы не вдруг поверили, а истолковали съезд дворян в том смысле, что, как прежде бывало, «пошушуются, пошушуются дворянчики, да и разъедутся»

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Однако ж месяца через два пришла из губернии печатная разграфленная бумага на имя Арины Михайловны Оковнцевой, владелицы сельца Присыпкина с деревнями. Требовали статистику.

– Статистику требуют, – сказал Севастьян Игнатьич, прочитавши бумагу, – вот, прочти!

Ариша прочла и побледнела.

– Разорвать, что ли? – предложил он нерешительно.

– Разорви! – ответила она, не задумавшись.

Это было первое открытое неповиновение властям, которое Севастьян Игнатьич позволил себе в течение всей своей смирной жизни. Разорвав бумагу и предавши клочки сожжению, он, по-видимому, успокоился; но спокойствие это было только наружное. Ни он, ни Арина Михайловна уже не могли забыть. Домашний обиход не изменился, но в сердца заполз страх будущего. «Отнимут! – неотступно мелькало в уме Севастьяна Игнатьича, и ему казалось, что стены господского дома, в котором росла и провела жизнь его Ариша (имение было ее, а он только свою красоту в дом принес), начинают колебаться. «Отнимут!» – шептала, с своей стороны, и Арина Михайловна и автоматически вперяла взор в Платонидушку, словно думая: «Вот она, эта самая птица... вот она, сейчас полетит!»

Так и не написал Савося статистику.

– Никакой я бумаги не получал! врите вы! – малодушно отпирался он, когда становой пристав напоминал ему о скорейшем ответе.

– Вам же хуже будет, Севастьян Игнатьич! – уговаривал его становой, – теперича в губернии господа собрались; стараются, как бы для господ помещиков получше сделать, – ну, и надобно, значит, всё по сущей правде показать. Земля, мол, чернозем, луга – человека в траве не видать, а опричь того, тавльки, грибы, куры, бараны – покорно прошу вознаградить!

– А они вместо награждения – то обложением пожалуй...

– Помилуйте! каким же манером?

– Да без всякого манера – так. Коли у вас чернозем, скажут, так пожалуйста по рублику серебрецом с десятинки! да с лугов, да с талек, да с кур... Да еще за фальшь, за то, что ты глину за чернозем показал... пожалуйста!

Тем не менее, несмотря на то, что многие Севастьяны Игнатьичи статистики не доставили, дело освобождения состоялось. Господа Оковнцевы собственными глазами увидели, как однажды утром потянулся мимо усадьбы народ в ближайшее село к обедне и часа через три-четыре воротился назад. А после обеда Платонидушка доложила барыне, что на посаде мужички водку пили.

– Теперь будут пить – не беспокойся! теперь... будут! – решила Арина Михайловна, но без гнева, а скорее в тоне пророчества, который она с этих пор и усвоила себе навсегда.

Обстоятельства, в которых очутились Оковнцевы, были тем более затруднительны, что вплоть до самого осуществления эмансипационного дела и муж, и жена были уверены, что оно уничтожится измором. Поэтому никаких бумаг они не принимали, и даже когда становой оставил на столе в конверте печатный экземпляр «Положения», то и его велели подальше убрать. Тем не менее факт совершился, и надобно было жить...

Можно ли приказывать или нельзя? как поступать с кушаньем, со стиркой белья, с топкой печей, с уборкою комнат? и поступать не когда-нибудь, в более или менее отдаленном будущем, а именно сегодня, сейчас?

Как ни странны были эти вопросы, но они первые – или, лучше сказать, они одни – пришли на ум. Допустим, что сегодняшний обед еще вчера был заказан, – ну, с этим еще как-нибудь можно... ну, рыбки соленькой, рыжичков... Но завтрашний обед? что такое этот завтрашний обед и вообще все завтрашнее – утопия это или

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
достоверность?

Для Севастьяна Игнатьича перемена была не столько чувствительна, потому что он и сегодня, как вчера, шагал взад и вперед по анфиладе, не принимая участия в распоряжениях; но Арина Михайловна положительно почувствовала себя как в каменном мешке. Вчера она мелькала по дому, расспрашивая, приказывая, объясняя; сегодня – внезапно спуталась и оторопела. Точно она куда-то шла, хотела что-то нужное сделать, и вдруг забыла. Остановилась, смотрит во все глаза и даже не усиливается припомнить.

В доме все стихло; господа – уклонялись, дворовые – выжидали. Что-то существенное перестало действовать в этом механизме, какой-то скрытый рычаг, который приводил его в движение. Так бывает, когда в доме умер главный человек, и никто еще не определил себе с ясностью, как и что нужно делать, чтобы опять все мало-мальски наладилось. Сперва нужно покойника похоронить, а потом уж и об «делах» думать.

Недели через две к барскому дому подъехали троечные сани, и из них выскочил молодой человек. Он надел в передней цепь на шею, вошел в комнаты и отрекомендовался участковым мировым посредником.

– Так-с, – ответил Севастьян Игнатьич и до того сконфузился, что даже не подал молодому человеку руки и не предложил сесть.

Молодой человек с минуту поколебался и сел без приглашения.

– Я приехал к вам, – начал он, – чтобы предложить, не пожелает ли ваша супруга приступить к составлению уставной грамоты?

– Не желаем-с.

Молодой человек, услышав этот неожиданно-ясный ответ, окинул Савосю удивленным взглядом.

– То есть, в каком смысле? – недоумевал он.

– Не «в смысле», а просто не желаем-с.

– То есть, покуда или вообще?

– Не «покуда» и не «вообще-с»... не желаем-с!

– Но в таком случае я вынужден буду лично выполнить за вашу супругу эту обязанность.

– Это... смотря-с...

– Как это... «смотря»?

– Смотря-с... только и всего.

– В таком случае... до приятного свидания!

– Но мы... не желаем-с!

Молодой человек шаркнул ножкой и ретировался, а Севастьян Игнатьич проводил его до передней и, покуда он укутывался, раз десять повторил одну и ту же фразу:

– Но мы... не желаем-с!

Молодой человек был в великом смущении. Как усердный малый, он успел уж почти весь участок объехать, но еще нигде подобного приема не встретил. В ином месте его встречали общим подкольным шипением, в котором принимали участие даже малолетки; в другом – неслись к нему навстречу с распростертыми объятиями и с возгласом: «Приветствуем вас, благую весть приносящего!» Но, во всяком случае, везде с ним настоящий разговор разговаривали и везде предлагали вместе хлеба-соли откусать. И вот, наконец, выискался дом, где ему только какие-то рыцарские слова говорят. «Не желаем-с!» Ах, черт побери, они «не желают»! И не

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru желайте, любезнейшие! и никто вас не принуждает! Только помните...

Однако вот будет потеха, ежели весь уезд, по примеру Оковнцевых, вместо исполнения благих предначертаний начнет рыцарские слова говорить?!

А Севастьян Игнатьич между тем тотчас по отъезде посредника кликнул Аришу, и затем с час они, обнявшись, ходили по зале, о чем-то по секрету совещаясь. После обеда Савося, спустивши предварительно в окна шторы, заперся в кабинете, вынул из потайного ящика ломбардные билеты, несколько раз прикинул их на счетах, потом сосчитал наличность, и к вечернему чаю его работа была готова. Оказалось, что маменькино приданое, вместе с наросшими на него процентами и с ежегодными присовокуплениями из доходов, представляло круглую цифру в шестьдесят тысяч рублей. Результат этот, по-видимому, настолько удовлетворил супругов, что весь остальной вечер они были веселы.

На другой день начались сборы. Укладывали всё вообще, кроме громоздких вещей. Ящики с не особенно нужными вещами запирали в кладовую, а что понужнее – готовилось к отправке. Очевидно, господа торопились воспользоваться последним зимним путем; но куда и надолго ли они собрались – никто не знал. На другой день благовещенья, рано утром, господа съездили на могилки к Аришиным родителям, и когда дорожный возок был окончательно уложен и снаряжен, созвали в зал дворовых людей и простились.

– Еду от вас. Не могу! – сказал Севастьян Игнатьич. – За службу – благодарю. Хоть вы и не мои были, а барынины, а все-таки, по ее великой ко мне милости (он сделал низкий поклон в сторону Арины Михайловны... «Ах, что ты, Савося!»), я за вами много лет покоен был. И ежели кто от меня обиду видел – простите!

– И меня простите! – прибавила Арина Михайловна, низко кланяясь.

– Провизию, которая в погребах осталась, – продолжал Севастьян Игнатьич, – барыня вам жалует. А о том, как вам быть до решенья судьбы, спрашивайте у высшего начальства, а мы тому не причинны. Живите!

В тот же день мировой посредник получил от присыпкинской барыни бумагу следующего содержания:

«Господину мировому посреднику.

Не желая быть свидетелями оного происшествия, каковое, кроме разорения, не иначе, как к общей гибели почитаем, выезжаем мы с мужем из имения сельца Присыпкина и возлагаем на вас. И в случае будет выдана за сие от высшего начальства награда, а равно и насчет угодьев, как-то: лесов, пустошей, рыбных ловлей и прочего, то просим таковое выслать по жительству.

Жена корнета Ирина Оковнцева».

А внизу была особая приписка рукою Арины Михайловны: «Я папеньку покойного вашего знала и уверена, что он сего бы не допустил».

Однако ж искусственное возбуждение, поддерживавшееся новостью факта и дорожными сборами, упало с первых же шагов по вступлении супругов в область вольной жизни.

Арина Михайловна, впрочем, выдерживала постигшую ее невзгоду довольно стойко, но Севастьян Игнатьич сразу раскис. Вдобавок ехать пришлось по пути, уже почти разрушенному, и на целые сутки дольше обыкновенного. На четвертый день приехали в Москву и остановились па постоялом дворе у Сухаревой. Тотчас же по приезде Севастьян Игнатьич стал жаловаться, что у него вздохи точно клещами зажало, но за лекарем не послал: думал, что и без лекаря от липового цвета пройдет. А через неделю Арину Михайловну постигло великое горе, о котором она и в мыслях никогда не держала: Севастьян Игнатьич скончался.

Сверх ожидания, Арина Михайловна перенесла свою потерю довольно мужественно. Но в Присыпкино не воротилась, а устроилась навсегда в Москве, и с этой минуты окончательно закоснела. Не озлобилась, а именно закоснела, то есть начала все невзгоды, не только личные, но и государственные, как-то: войны, неурожаи, эпидемии, хищения, недоимки и проч., неизменно приурочивать к «катастрофе». Проворует ли кто – это оттуда идет; произойдет ли грандиозное убийство – это

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru оттуда идет; поразит ли целую губернию неурожаем – это оттуда идет; случится ли на железной дороге крушение поезда – это оттуда идет. Гессенская муха, кузья, новые суды, суслики, расхищение власти, свобода книгопечатания, ослабление религиозного чувства – всё оттуда. Она не злорадствовала, не ехидствовала, а только любила прорицать: «Не то еще будет! вот погодите!» Казалось, у нее был наготове целый каталог бедствий, и она цитировала то одно, то другое, автоматически приговаривая: «Это еще цветочки, а вот ухов ягодки будут!»

Между тем личное ее положение, в сущности, было совсем не дурное. В ломбарде у нее лежал приличный капитал, который она с выгодой поместила в пятипроцентных банковых билетах. И дом для жительства своего, в одной из Мещанских, она задешево приобрела, и устроилась на новоселье как нельзя лучше. Выписала из Присыпкина все барское добро, не исключая и мебели, составила себе небольшой штат из старой присыпкинской дворни, села у окошка в то самое вольтеровское кресло, в котором некогда покойный Севастьян Игнатьич после обеда дремал, и начала шерстяной шарф вязать. Провизия в то время была еще не особенно дорога, денег было достаточно; дрова, правда, кусались – ну, да погодите! ухов то ли еще будет! После деревенской хозяйственной суеты она точно на дно реки опустилась. Никому до нее дела нет, и ей ни до кого и ни до чего дела нет. Скучновато, но зато покойно. Сидит она у окошка, и все ей на улице видно. Кто ни пройдет, ни проедет, она ко всем постепенно присматривалась. Вот это «здешний» идет – аблакат; вот и это «здешний» же – он «не при занятиях» состоит, но по имени его звать Иваном Ивановичем. А вот это «чужой» прошел – куда это он лыжи наострил? Ишь, спешит, точно в аптеку торопится. А вот кто-то у Семен Семеныча звонится. Звонится, звонится, не отпирают бедному, а дождик так на него и льет. Наконец, однако, отперли. Выглянула в дверь баба, злая-презлая! Она, должно быть, блох у себя в белье ловила, а ей посетитель помешал – ах, пропасти на вас, шатунов, нет!

– Дома Семен Семеныч?

– Ни свет, ни заря ушел. Его у нас одна заря выгонит, а другая вгонит!

Дверь с азартом захлопывается, и посетитель задумчиво вперяет взоры в глубь Четвертой Мещанской, как бы испытывая: где ты, Семен Семеныч? ау! – А Семен Семеныч, с «Гамлетом» в руках, с Гамлетом в сердце и с Гамлетом в голове (есть в Москве чудачки, которые до сих пор Мочалова да Цынского забыть не могут!), тут же, неподалечку, перед Сухаревой башней в восторженном оцепенении стоит и мысленно разрешает вопрос: кто выше – Шекспир или Сухарева башня?

Словом сказать, всю подноготную Арина Михайловна знала и отлично к ней прижилась. А вдобавок, спустя немного после «катастрофы», и еще деньги к ней привалили. Мировой посредник не попомнил Савосинова невежества и добросовестно занялся именем Арины Михайловны. И уставную грамоту написал, и на выкуп крестьян выпустил, и занедельную землю по частям распродав, так что у Ариши очутился новый капитал тысяч в шестьдесят. Жить бы да поживать при таком капитале, а она вместо того заладила: «Погодите! не то еще будет! вот увидите!»

И точно: нужно было сквозь особенные очки смотреть, чтобы не видеть, что светопредставление уж на носу. А так как Арина Михайловна без очков свой шерстяной шарф вязала, то, разумеется, она видела.

Началось с того, что волю вину объявили. И с боков, и напротив, и наискось стены домов расцвелись вывесками «распивочно и навынос». Все Мещанские наполнились стоном. Одно хлопанье кабацкими дверьми, одно визжание кабацких блоков способны были расстроить самые крепкие нервы. Арина Михайловна не могла привыкнуть к этим звукам; непрерывно она вздрагивала, крестилась и, глядя в окно, прорицала:

– Ишь пьяница! ишь поперек улицы, словно на печи, на снегу разлегся! Погодите, то ли еще будет! Сотнями мертвые тела по улицам подымать будут!

Потом явились новые суды, и застонали Иверские ворота, заскрежетал Страстной бульвар... Вой подьячих был так пронзителен, что, вместе с эманациями Охотного ряда, явственно доносился до самой Крестовской заставы. Опять пришлось Арине Михайловне вздрагивать и прорицать.

– И за что только старичков обидели? – жалела она подьячих, – разве за то, что дешевенькие они были, именно разве только за это! Ах, да то ли еще будет!

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru погодите, и не то увидим ужов!

Наконец подоспело и земство... Тут уж сам квартальный сказал: «Ну, теперь, брат, капут!» А Арина Михайловна сначала было не поняла – думала, что дворянам будут жалованье раздавать, но потом вдруг все сделалось для нее ясно.

– Пойдут теперь во все стороны тащить! – прорицала она. – Вот помянете мое слово: оглянуться не успеем, как всё до последней нитки растащат!» Останется один пшик!

Даже привольное житие в собственном доме не удовлетворяло ее; даже капитал не примирял с веяниями нового жизненного уклада.

– На что мне капитал? – говорила она, – вот кабы ангел мой был жив – тогда, действительно... Еще лукавый с этими деньгами попутает...

Увы! она имела некоторое основание поминать о лукавом. Во-первых, Иван Иванович (тот самый, который «не при занятиях» состоял), как только узнал, что она выкупную ссуду получила, так сейчас же к ней свях прислал. Во-вторых, какой-то молодой приказный, из самого квартала, мимо ее дома ходить повадился. Ходит да похвистывает, и как только поравняется с окном, около которого она сидит, так сейчас же руку к сердцу прижмет и глазами зыграет... Насилу она от него отделалась! Помощнику квартального трехрублевенькую пожертвовала, так он раза четыре его, козла несытого, в кутузку сажал и только по пятому разу смирил. И, в-третьих, ей самой, несмотря на то, что со смерти Савоси прошло уж пять лет, беспрестанно чудилось, что ее «ангел», словно живой, выглядывает в дверь и ищет ее. «Ариша! ты, что ли?..»

А вдруг это выглядывает не Савося... а «лукавый»?

Нельзя не опасаться «лукавого». Нельзя, живучи в Четвертой Мещанской, не ожидать с часу на час появления его. Москва – такой большой город, и притом до того простодушно затеянный, что в нем только и есть два сорта людей: лукавые да простофили, из коих первые хайлов разевают, а вторые в разинутое хайлов сами лезут. Лукавые больше в центре города ютятся: простофили – по окраинам жмутся, а в том числе и во всех четырех Мещанских. От времени до времени, однако ж, «лукавые» делают на окраины набег, и тогда простофили, как куры, только крыльями хлопают, но прекословить не пробуют.

На этот раз «лукавый» объявился в образе молодого, черноглазого брюнета, Тимофея Удалого.

В одно прекрасное утро он явился к Арине Михайловне, подошел к ручке, назвал ее тетенькой, а себя сыном кухни Маши.

– Какой же это Маша?.. словно я не помню! – смутилась Арина Михайловна, – была у меня троюродная сестра... как будто Даша... так та, кажется, за Недотыкина вышла.

– За Недотыкина – это сначала; а потом за корнета Мстислава Удалого. А теперь папенька с маменькой скончались-с.

– Не знаю; помнится, была не Маша, а Даша, а впрочем... Как же ты обо мне, мой друг, узнал?

– Иду по улице и вижу: дом госпожи Оковнцевой. Тут все и открылось.

– Ну, что ж... коли племянник – видно, так богу угодно. Садись, гость будешь.

Арина Михайловна совсем растерялась: до такой степени она отвыкла от людского общества. Думала одна-одинешенька век скоротать, а тут вот родственник проявился – как его из дому выгонишь? И чужих сирот грешно не приголубить, а тем паче троюродных. А вдобавок и Тимофей не полез сразу нахалом, а повел дело умненько. Посидел недолго и на вопрос тетеньки, при какой он службе состоит, объяснил, что он просто «молодой человек» – только и всего.

– Это что же за звание такое: «молодой человек»? поди, чай, присутствие какое-нибудь есть?

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – Комитет-с, – скромно объяснил Удалой, – дама-старушка председательствует, а прочие старушки присутствуют-с. А я при них – молодой человек-с!

На этом свидание и кончилось. В сущности, ничего угрожающего не произошло, но, как на грех, у Арины Михайловны сердце с чего-то заныло. Глаза у него окаянные, у этого Тимофея, – это она сразу заметила. Сам весь почтительный, а глаза – большущие, большущие! – так вот и подманивают, так ядом и поливают! Как взглянет он такими-то глазищами, да ежели тут оплошать...

И пообедала она в этот день без аппетита, и вечер скучно провела; а укладываясь на ночь в постель, прямо сказала Платонидушке:

– Вот и родственничек проявился! погоди! ужов и не то еще будет!

И затем целую ночь проворочалась без сна, и всё думала:

«Возьмет он меня, как поморенную курицу, оциплет, да и съест, как ему вздумается!»

Время, однако ж, шло, а Удалой продолжал вести себя благородно. Приходил только по воскресеньям, но не к обеду, а к тому времени, как тетенька от обедни воротится и за самовар сядет. Выпьет чашечку и он, посидит у стенки, расскажет, в каком году когда Москва-река вскрылась или что прежде к масляной балаганы под Новинским строили, а нынче их на Девичье Поле перевели, – и уйдет.

Тем не менее Арине Михайловне почему-то казалось, что он это только зубы ей заговаривает, а исподтишка сеть на ее погибель раскидывает. Она и сама не могла себе уяснить причину этих опасений, но убеждение, что в Тимофее кроется нечто угрожающее, с каждым днем зрело в ней больше и больше. И откуда он выскочил? Сидела она смирнехонько, ни о чем не думала, а он шел, распостылый, мимо, да и пришел. И выгнать его нельзя, потому он кузины Маши сынок... Маша или Даша... ах, прах тебя поberi! И должность за собой объявил: «при старушках... молодой человек!» – вот какая должность! Не быть тут добру, не быть! недаром сразу сердце зачуяло! «При старушках»... «кузина Маша»... Вытаращит глазищи да дурманом ей душу и поливает! А она сидит и ждет... дура, ах, дура! Вот увидите, не то еще будет!

Встревоженная предчувствиями, она с любовью обращалась к недавнему прошлому, когда она жила в Присыпкине, и «ангел» ее был жив, и никаких сетей они не боялись, а жили, жили, жили... И продолжали бы жить и поднесь, кабы не оно... ах, кабы не это «злое, ужасное дело»! И «ангел» ее был бы жив, и она бы за ним, как за каменной стеной, жила. А теперь куда она одна-одинешенька поспела! Куда ни обернись, везде словно капканов наставили. В ряды за покупками пойдешь – пожалуйте к мировому! в церковь помолиться пойдешь – пожалуйте к квартал! Намеднись вышла этак-то соседка Марья Ивановна погулять, а домой только на третий день воротилась. Водили ее по мытарствам, водили и по судам, и по участкам, и по кварталам, наконец уж сам обер-полицеймейстер взошел: «В чем же вы, сударыня, виноваты?»

– Никак нынче с жизнью не сообразишь, – жаловалась она сама себе, – законов много, да иное, по старости, в забвенье пришло, а в другом, по новости, еще смаку не нашли. И правители есть – вон он, правитель, тротуар гранит, ишь, каблучками постукивает! – да словно они в отлучке, и воротятся ли, нет ли – неизвестно. И деньги есть, только чьи они – тоже неизвестно. Нив-то мои, нив-то чужие, и в какой силе – тоже не знаю. Вчера он был рубль, а сегодня, сказывают, он уж не рубль, а полтинник. Каким манером? почему? Вон мать Митрофания деньги-то присовокупляла, присовокупляла, а ее за это по Владимирке...

Удалой заметил эту наклонность ее к прорицаниям и поддерживал ее в этом настроении. Как ни придет, непременно какую-нибудь судебную проказу расскажет, а иногда и соединенную судебно-земскую.

– В баламутовском земстве господин управский председатель сумму присвоил, а суд его, милая тетенька, оправдал-с.

– Это, мой друг, чтоб и на предбудущее время воровали. И пусть воруют! воруйте, батюшка, воруйте! Нынче по этой части свободно, потому везде голь да шмоль завелась – как тут деньгам уцелеть! Вот хоть бы насчет Присыпкина – сколько лет

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и я им владела, и маменька владела, и бабенька, и прочие которые... И все говорили: мое! А теперь спроси, чье оно? был дом, был сад, скотный двор был, погреб – чьи теперь они? где? Платонидушка летось тетку в Присыпкине навестить ходила: искали мы, искали, говорит, того места, где барский дом стоял, так и не нашли! Ни нам, ни вам – словно в воздухе растаял! Так вот, мой друг, с именем, с настоящим именем, с недвижимым – какое чудо случилось! А деньги ему что – тьфу!

Или:

– В Петербурге, тетенька, один чиновник начальнику нагрубил, а суд его оправдал-с.

– И поделом начальнику. Не ходи в суды, сам распорядись. А ежели сам распорядиться не умеешь, предоставь другим, а себя в сторонке держи. Вот я: сколько времени за ворота не выхожу – а почему – потому знаю, что только потоль я и жива. Выдь я на минуту – сейчас меня окружают. Пойдут во все стороны теребить, один сюда, другой туда – смотришь, ан суд да дело! Они-то правы из суда вышли, а я, простофиля, в дурах осталась. Нет, нынче только держись... как раз!

Но больше всего заинтересовал Арину Михайловну процесс червонных валетов. В подробности этого дела она вслушивалась с захватывающим интересом, а смелые подвиги главного валета положительно приводили ее в восторг.

– Так-таки до сих пор его и не нашли? – спрашивала она в волнении.

– Так и не нашли-с. И представьте себе, тетенька, какие он штуки выкидывает! Его по всей Москве ищут, а он в своем квартале по вольному найму письмоводством занимается. Однажды даже к самому председателю письмо написал: я, говорит, завтра самолично в суд явлюсь. Ну, тот и ждет, думает, что с повинной. А он придти-то пришел, да в зале между публикой все время и просидел!

– Вот так ловко!

– Его, тетенька, в Бакастовом трактире ищут, а он в «Крыму» с арфистками отличается. Они – в «Крым», а он к цыганам в «Грузины» закатился! Наследит им следов – ищи да свищи!

– Да, нынче этим ловкачам... только им одним и житье!

– Нынче, тетенька, ежели кто с дарованием, так даже очень хорошо можно прожить. Главное дело, выдумку надо в запасе иметь, чтобы никто такой выдумки не ожидал. Сегодня – он купец, завтра – генерал, послезавтра – архиерей... Квартальные-то – «ах-ах-ах, никак, это он самый и есть!» – а его уж и след простыл!

– Так, так, так. «Он» по воле гуляет, а простофиля за него в кутузке сидит. Это – так! только этого и можно, по нынешнему времени, ожидать. Поди, он и сию минуту где-нибудь финты-фанты выкидывает.

– Теперь, милая тетенька, и следы его потеряли. Может быть, в земстве где-нибудь скрывается-с.

– Ха-ха! именно так! Именно, именно в земстве. Суды ищут – земство покроет; земство ищет – суды покроят... так, так, так!

В этот день Арина Михайловна даже обедать его оставила, а он и после обеда осмелился посидеть.

– Хотите, тетенька, я вас в ералаш с двумя болванами научу?

И она согласилась. Сперва даром играли, а потом по ореху за пуан, и он ей сразу целый фунт проиграл. Наконец, в десятом часу, когда он прощаться стал, Арина Михайловна посмотрела на него пристальнее обыкновенного, и не удержалась.

– Чтов это у тебя глаза-то... словно волшебные! – сказала она не то шуткой не то конфузясь, – ишь ведь ты как глядишь! нехорошо это, мой друг, дурно! Ежели и есть в тебе что-нибудь этакое, так ты должен стараться себя победить!

– Это у меня, тетенька, от природы-с. У папеньки такие глаза были и ко мне от него перешли. Ах, тетенька, ведь я сирота!

Он произнес последние слова так жалобно и при этом так крепко прижал губы к ее руке, что она не могла его не пожалеть. Ей было с небольшим сорок лет, и сердце ее еще не зачерствело. Напротив того, от спокойной жизни она даже расцвела. Мужчина в сорок лет, действительно, вступает в период холодного рассуждения и осмотрительности, а женщина в эту пору именно и становится неосмотрительной. Покуда есть у нее молодость да красота – она кокетством занимается; а чуть дело под гору пошло – у нее и ушки на макушке. Именно это самое случилось и с Ариной Михайловной. По уходе Удалого все сомнения относительно его личности окончательно рассеялись. Она всё припомнила. Действительно, у нее была кузина, не Даша, а Маша, которая сначала за Недотыкина вышла, а потом овдовела и вышла... да, именно, за Удалого и вышла! И папенька-покойник сколько раз, бывало, говорил: где-то теперь наша «удалая» хвосты треплет... а это она самая и была! Да и о Мстиславе Удалом она где-то слышала... когда, бишь?.. в девицах еще, должно быть, когда была, а только наверное слышала... Стало быть, Тимофей-то и взаправду приходится ей племянником.

Ах, эти сироты! ни отца у него, ни матери! Вон и сертучонко на нем... ничего еще сертучок, а все-таки... А приодень-ка его да пригладь – то ли из него выйдет!

Я не буду описывать здесь подробности последовавшего затем сближения, так как не мастер в воспроизведении любовных эпопей, да и к делу они в настоящем рассказе не относятся. Но не могу не отметить, что в короткое время Арина Михайловна совсем растерялась. Она настолько подчинилась охватившей ее страсти, что даже о внутренней политике позабыла и перестала прорицать. Пускай суды оправдывают! пускай расхищают власть! пускай из земских сундуков исчезают мужицкие денежки! пускай железнодорожные поезда друг друга в лоб бьют! – дела ей ни до чего нет. Вся она, всем своим существом, неслась к ненаглядному «сироте», который случайно шел мимо, да и пришел. Пришел и напоил ее жизнь теплом, светом, счастьем! Даже на деньги она получила совсем новый взгляд, и ежели не говорила прямо, что они на то и даны, чтоб их тратить, то потому только, что она просто-напросто тратила, не размышляя, в силу каких логических построений она так поступала.

С своей стороны, Удалой был весьма признателен. Когда она подарила ему сюрпризом щегольскую сюртучную пару, то он с таким увлечением бросился целовать ее руки, что она, вся взволнованная, автоматически твердила:

– Ну вот! ну вот! вот он как радуется... ах, бедный ты мой!

На что он скромно и жалобно ответил:

– Ах, тетенька! ведь я – сирота.

За первым подарком последовали другие. Прекраснейшая скунсовая шуба, потом шапка-баярка, потом часы, а также и деньги. Он не просил денег – ужасно он был на этот счет деликатен, – но она настояла. Она понимала, что молодому человеку нельзя без денег. У него есть товарищи, друзья, с которыми ему и повеселиться хочется, и покутить, – ну, вот тебе, мой друг, пятирублевенькая, повеселись! Молодое естественно к молодому льнет – это не нами заведено, не нами и кончится. Так-то и он, сироточка. С нею – какая она ему пара! – посидит, поскучает, вроде как жертву ей принесет, а на уме у него все-таки, как бы в театр, да на девушек посмотреть, да с товарищами песенки попеть! А на веселье-то деньги нужны – где ему, сироте, взять? А ей для кого деньги беречь? Детей у нее нет, близких родственников – тоже; к нему же, сиротке троюродному, все со временем перейдет!

Словом сказать, опять в жизни Арины Михайловны началась идиллия; но на этот раз в подлинность ее верила только она одна. И Платонидушка, и старый Савосин камердинер, Евсеич, инстинктивно возненавидели Удалого и не выражали ему своего пренебрежения только потому, что барыня при первых же в этом смысле попытках внушила им, что она никого служить себе не вынуждает, что ежели кто ею недоволен, то на место недовольных не трудно сыскать, других, довольных...

Однажды, однако ж, Тимоня (она начала звать его уменьшительным именем), вопреки своей обычной деликатности, вдруг совершенно неожиданно озадачил ее вопросом:

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– А что, тетенька, у вас много денег?

Услышавши эти слова, она ужасно смутилась. Как будто что-то в этом роде уже не раз мелькало у нее в голове, и она до смерти этого боялась. Не потому, чтоб она жалела денег, – она даже, чтóв есть на свете расчетливость, позабыла, – а потому, что ей было стыдно. И вот наконец оно пришло. «Вот оно!» – подумалось ей как-то само собою, и она почти со страхом его спросила:

– На что тебе?

– Так. Вы, тетенька, – женщина; с деньгами обращались мало. Получаете проценты с капитала, а тот ли это процент, и в каком смысле его следует понимать – это вам неизвестно. А процент-то, он разный. Одно дело – пять копеек с рубля, другое – десять и двадцать, а наконец, и капитал на капитал.

В голосе которым он высказал эту финансовую теорию, не слышалось ни нетерпения, ни особенной алчности, но при слове «процент» у Арины Михайловны словно голову туманом застлало. Она сидела, опершись подбородком на одну руку, а пальцами другой руки перебирала по столу. И молчала, точно даже забыла, что нужно что-нибудь ответить.

– Вы, тетенька, гневаетесь? – спросил он ее с ласковым укором.

– Ах, нет! что ты! что ты! Это я так... Об чем бишь ты спрашивал? об деньгах?

– Так, глупость в голову пришла... Оставимте этот разговор! забудьте, тетенька, прошу вас, забудьте!

– Что ж тут такого – отчего не поговорить? Поговорим! Ну, ну, хорошо, не сердись! Коли не хочешь говорить, так и не будем... Да отстань, беспутный... не стану! Бог с ними, с деньгами – только грех от них! Ты бы лучше к товарищам пошел, повеселился бы... хочется? а?

– Позвольте, тетенька!

– И прекрасно. Вот тебе красненькая, сделай себе удовольствие! Ах, сироточка ты мой, сироточка! Тетеньку свою пожалел? а? А подумал ли ты, мой друг, что если бы все-то капитал на капитал.

– Оставьте, тетенька! прошу вас, оставьте! Простите, не буду! Простили? – ну вот, и пайнька! Можно ручку поцеловать?

Весь этот вечер Арина Михайловна была взволнована. В мыслях ее носился хаос, но она чутьем угадывала, что готовится что-то чрезвычайное. И вот опять, после недавних дней забвения, перед ней воскресло прошлое, а вместе с ним и та причина всех причин, которая разбила это прошлое. «Всё оттуда, всё оно, это злое, ужасное дело!» – твердила она себе, ворочаясь с боку на бок в тишине бессонной ночи. Кабы не оно, жила бы она теперь в Присыпкине, и Савося при ней, и всего было бы у них вдоволь! И индюшечка своя, и курочка своя, и картофельцу, и морковки... Уж Савося денег не растранирил бы! он за десятирублевенькой-то сто раз бы в ящик сходил, прежде чем расстаться с нею! А она – на-тко! каждый день! каждый день! То пятирублевенькую, то десятирублевенькую... вынь да положь! И куда только он, распостылый, деньги изводит... не иначе, как с мамзелями проклажается! А к ней придет: тетенька! позвольте ручку поцеловать... нав, мой друг! А за обедом соусав до бламанжеи... а чтóв провизия-то, по нынешнему времени, ставит? И что такое случилось? каким манером? куда она, куда? Конеч-то, конеч-то будет ли? Ах, Савося!

Но Савося не приходил, а камень между тем был брошен, и Арина Михайловна убедилась, что до тех пор она не успокоится, покуда не вытащит его.

– Что ты такое насчет процентов вчера говорил? – начала она на другой день уже сама.

– Забудьте, милая тетенька! прошу вас, забудьте!

– Зачем забывать! коли что выгодное предвидится, так мне и самой любо! Я вот теперь пять копеек со своих билетов получаю... мало, что ли? говори!

– Мало, тетенька, так мало... даже обидно! Уж десять-то процентов – это вам всякий с удовольствием даст!

– А как же с билетами-то с моими... себе, что ли, он их возьмет, или так?

– Извините, тетенька, я вас не понимаю.

– То-то вот: не понимаешь, а судишь! Опричь, что ли, он мне десять процентиков отсчитает, а билеты само собой, или уж с билетцами с моими распроститься придется... ау, голубчики!

– Он, тетенька, билеты на деньги переведет да деньгами, по окончании, и рассчитается. А кроме того, проценты.

– А ежели он билеты-то возьмет да и с ними и ухнет?

– Помилуйте, а обеспечение? Дом, например, или имение... Да позвольте, я к вам Фому Фомича приведу: он для вас это дело кругом пальца обвертит.

Привели Фому Фомича. Перед Ариной Михайловной предстал седенький, но еще бодрый старичок, в синем сюртуке старого фасона и в чистой коленкоровой манишке. В этот день он выбрился, вымыл лицо мылом, волоса помадой вымазал, сапоги со скрипом надел, точно к причастию собрался. Брови у него были густые и стояли дыбом; из продолговатых ноздрей лез волос; на щеках и на носу запекся фиолетовый румянец. Вел он себя солидно, и когда Арина Михайловна попросила его сесть, то сначала сказал: «Постою-с», а потом сел. Но когда, во время беседы, собеседница, хотя и невзначай, возвышала голос, то он, как бы под влиянием страха, привставал. Говорил ровным и приятным тенорком; когда сморкался, то, в знак почтения, отвертывался в сторону, а когда на колокольне раздавался звон – хотя бы это был бой часов – творил крестное знамение. Сначала он рассказал, что у жены его двадцать лет тому назад ноги отнялись – так и до сих пор она на кровати без движенья лежит; что родители у него были дмитровские мещане, а он с течением времени в Москву переписался; что у него двое детей: сын да дочь; сына он, за непочтение, проклял, а дочь за хорошим человеком замужем, и теперь они рыбную ловлю в Хапиловском пруде снимают, и, слава богу, сыты. Затем повел речь о купцах и сделал общее замечание, что у них в настоящее время от прежнего благосостояния остались только жены толстые, семьи большие, свои лошади и злые собаки при домах; но денег уж нет. Поэтому в Москве теперь ничем не занимаются, только ищут. Кому не очень нужно, тот восемь копеек на рубль дает; ежели у кого нужда средственная, тот дает десять и двенадцать копеек; а ежели у кого зарез – не прогневайся, и все тридцать заплатит. Но не иначе, как под верное обеспечение. Таким манером оно и идет. Который сыщет – тот как будто на время поправится, а который не сыщет – баланец подводит.

– Так что, ежели у кого теперича свободный капитал есть, – говорил он, – тот хорошую пользу может получить. Только нужду надо рассматривать, а по ней и процент назначать. Вот у меня знакомый купец Трифонов, в Ножёвой линии торгует, – тому хоть и не нужно, а и он, для оборота течения, восемь процентов с радостью даст. Опять же другой есть купец, Сыров Карп Дементыч, – тому средственно деньги нужны, он десять – двенадцать копеек заплатит. А тут же, на углу, господин Фарафонтьев – этот и за двадцать пять копеек в ножки поклонится. Вот как, сударыня.

– Ну, двадцать-то пять уж грех! – посовестились Арина Михайловна.

– Много нынче греха, сударыня. Ежели все-то сосчитать, так камня на камне в Москве не останется. Бывают, доложу вам, и такие дела: взбесится купеческий сын и зачнет, при жизни родителей, капиталы объявлять – ну, этот и рубль на рубль с удовольствием посулит. Только я вам, сударыня, на такие дела идти не советую. По-моему, лучше десять копеек на рубль получить, только чтобы верно!

Словом сказать, говорил резонно. С своей стороны, и Арина Михайловна внимательно выслушала предложения старичка, и даже не оставила их без возражения.

– Боюсь я, – сказала она, – не твердо нынче у нас. Законы хоть и есть, да сумнительные; нив-то следует их исполнять, нив-то не следует; правители есть, да словно в отлучке... Намеднись у соседки двух куриц со двора свели – она в квартал,

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru а приказные над ней же смеются. Не в то, вишь, место пришла. Ступай, говорят, к Калужской заставе... Ближнее место!

– А у нас обеспечение, сударыня, будет. В случае чего мы и запрещение наложим. И насчет правителей вы напрасно беспокоитесь: у нас их даже в излишестве-с. Только вот в центре никак не могут попасть – это так! Не беспокойтесь, сударыня. У нас все будет по-благородному; как взял, так и отдай. А проценты – вперед-с!

Одним словом, «лукавый» одержал полную победу. Только одну сделку с совестью допустила Арина Михайловна: объявила не весь свой капитал, а тысяч сорок утаила. Фома Фомич повернул дело круто. На другой же день к Арине Михайловне явился будущий залогодатель, купец Воротилин, молодой мужчина, плотный, точно из древесной накипи выточенный, веселый, румяный, с русою бородой и с серыми глазами навывкате. И он девушек знает, и девушки его знают – по всей Дербеновке слава об нем гремит. Он объявил, что хотя деньги занимает единственно «для обороту течения», но десять копеечек заплатит с удовольствием; что дом, который будет служить обеспечением, чист как огурчик и, за всеми расходами, дает с ходу десять тысяч; что еще на днях кон коньч под этот дом ему сто тысяч предлагал, да он не взял, потому что предпочитает дело делать по-благородному. Затем Арину Михайловну начали по Москве возить и в один день окрутили. Сначала отслужили у Иверской молебен и поехали к Триумфальным воротам дом посмотреть. Приехали, встали все вчетвером на тротуаре по другую сторону улицы, – видят: действительно стоит дом трехэтажный, каменный, белою краской выкрашен. Средний этаж под трактирным заведением, вверху – номера («ежели, примерно, у нас с вами, мадам, randevу – так вот сюда-с», – фамильярно пояснил Воротилин, и Арина Михайловна хотя поморщилась, но смолчала: расстроить «дело» побоялась); внизу, по одну сторону ворот, «заведеньице», по другую – портерная; в одном подвале – прачки живут, в другом – ночлежников пускают; во дворе – все помещение снимают извозчики. Пошли и во двор; Арину Михайловну так и ошибло запахом навоза и трактирных помоев; но Воротилин и Фома Фомич с наслаждением вдыхали гнусные ароматы, которые так и валили из всех надворных отверстий этого дома.

– Деньги-то и завсегда так пахнут, – хвалился Воротилин, – а клопа здесь сколько! кажется, ежели весь собрать, так Москву-реку запрудить можно!

Мало этого: «для верности» («чтобы вам, мадам, без сумления было») дворника Антона кликнули; и дворник тоже удостоверил, что дом настоящий, московский, и квартирант в нем живет тоже настоящий, что хозяин хоть сколько угодно плату на него набавляй, все равно этому квартиранту деваться некуда.

Осмотревши дом, поехали на Плющиху, в переулок, к нотариусу. А там уж и закладная готова, и надпись внизу: «Я, нотариус Печенкин, в своем собственном присутствии», и т. д. Словом сказать, всё как следует.

– Теперь остается только вручить-с, – сказал господин Печенкин торжественно, – вы, Арина Михайловна, Спиридону Прохорычу денежки пожалуете, а Спиридон Прохорыч – закладную-с. Так и обменяетесь. А расходы – на счет залогодателя.

И тут Воротилин выказал себя веселым и податливым малым. Хотя Арина Михайловна привезла в уплату не деньги, а банковые билеты, но он за разницей не погнался, а принял билеты рубль за рубль, и проценты вперед полностью отдал.

– Убытку я тысячи две, барыня, через вас потерпел, – сказал он, – ну, да уж что с вами поделаешь! видно, в другом месте наживать надо. Только вот что: вспрыснуть нашу сделочку требуется, – это уж как угодно!

Но Арина Михайловна наотрез отказалась. Тогда Воротилин уж совсем нагло стал ее упрашивать – «хоть Тимофея Стиславича на сегодняшний день одолжить, а к завтраму мы вам его опять в полное ваше удовольствие во всей красоте предоставим». Арина Михайловна совсем заалелась и поспешила уехать домой.

Дома она вдруг почувствовала гнетущую пустоту. Как будто душу из нее вынули или такое надругательство сделали, что она ничего настоящим манером понять не может, а только чувствует, что ноги у нее подкашиваются. Несколько раз она заперала закладную в денежный шкафчик и опять ее оттуда вынимала, и всякий раз ее поражали слова: «Я, нотариус Печенкин, в собственном своем присутствии...» что-то как будто неладно; словно насмешкой какой-то звучат эти странные слова... И не с кем ей посоветоваться, некому показать, не у кого спросить! А всё оно, всё это

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «злое, ужасное дело»! Кабы не «оно», сидела бы она теперь... Савося! ангел-хранитель! неужто ты так и попустишь! Ох, грешная, прегрешила! ох, прегрешила!

Никогда она не проводила такой мучительной ночи. Почти совсем глаз не смыкала и всё припоминала. Никакой у нее ни Даши, ни Маши не было. Была кузина Наташа Недотыкина, дяденьки Сатира Платоныча дочь, так и та умерла: муж искалечил. Вот о Мстиславе Удалом она точно что слышала... когда, бишь? – помнится, что еще в девках она в то время была, а впрочем, может, и от Севастьяна Игнатьича. Однако, может быть, и Маша... какая это Маша-кузина у нее была? Не смешал ли Тимоня? Не в Савосиной ли родне была кузина Маша? Ах, это – «злое, ужасное дело»! Понаделали каких-то нотариусов да какие-то «собственные свои присутствия» – ну, как тут не пропасть?! Как не погибнуть в этом омуте оголтелого, озлобленного хищничества, где всякий думает только о том, как бы ближнего своего заглотать?! Что ему счастье человеческое? Что ему человеческая жизнь? – тьфу! Ах, это «злое, ужасное дело» – вот оно к чему привело!

Полная этих разрозненных мыслей, она в невыразимой тоске вскакивала с постели и ходила взад и вперед по комнатам. Ходила-ходила, пока утомление снова не загоняло ее в постель. Но ежели ей и удавалось на короткое время забиться, то и во сне на нее нападал волк, впивался когтями в ее грудь и начинал грызть.

Утро встало холодное, мглистое. Во многих домах еще с огнями сидели, а двери у кабаков уж визжали. Арина Михайловна села на обычном месте у окна и сквозь заиндеветые стекла автоматически смотрела на темные силуэты прохожих, стремившихся по направлению к кабаку. Один, другой, третий – вон их сколько! Бессознательно она выпила чай и съела целую гривенную просвиру, потому что, не спавши ночь, была голодна. Затем, когда уж совсем рассвело, она начала ждать. Пробыло девять, десять часов, а Удалого – нет как нет. Он, впрочем, и прежде никогда в эту пору не приходил, но ей почему-то казалось, что сегодня он обязан был прийти. Наконец, пробыло и двенадцать.

Арина Михайловна не вытерпела – захватила закладную и поехала. Реакция произошла в ней так быстро, что она почти уж не сомневалась. Приехала к Триумфальным воротам, вошла в ворота «заложенного» дома и кликнула дворника Антона. Такого не оказалось.

– Как же это? вчера мы все вчетвером здесь были и с Антоном разговаривали! – добивалась она с какой-то горькой настойчивостью.

– Может, и разговаривали с Антоном, только дворника такого у нас нет.

«Вот оно!» – мелькнуло у нее в голове.

В переулке, на Плющихе, она даже дома, в котором вчера помещалась нотариальная контора, не могла признать. Все дома были на один манер, и ни на одном не было нотариальной вывески. Ей почудилось, что она в ад попала и бесы около нее кружатся. Вот Фома Фомич, вот Воротилин-купец, а вот и он... сам Тимоня! Ишь, распостылый, глазищи вытарачил! так петлю за петлей и закидывает!

«Как предсказала, так и сбылось! – подумалось ей, – взял ты меня, поморенную курицу, ощипал и как захотел, так и скушал!»

С Плющихи она поехала на Тверскую, уже к настоящему нотариусу, вынула закладную и показала:

– Вот я вчера совершила... – взгляните!

Нотариус чуть не прыснул со смеха, но взглянул на нее и воздержался.

– Надо к прокурору-с, – сказал он, – не медлите-с!

Однако она жаловаться прокурору не пожелала, а поехала к Иверской, вспомнив, как вчера она о счастливом «свершенья» молилась. Тут она долгое время стояла, как потерянная, вперив глаза в образ и не молясь; но когда раздалось слова канона: «потщися! погибаем!» – она вышла вперед и, вся дрожа, словно в лихорадке, произнесла:

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Владычица... видела?! Ты... Ты... Ты... видела?!

Наконец воротилась домой и с криком: «Все оно! все это злое, ужасное дело!» – упала на постель и так мучительно зарыдала, что все домашние сбежались в соседнюю комнату и, бледные и оцепенелые, ждали окончания кризиса.

С следующего же дня жизнь Арины Михайловны пошла по-новому. Она чувствовала, что весь воздух около нее пропитался срамом, что она сама вся с ног до головы срамная, срамная, срамная! И ежели она не убежала из этого срамного дома, то потому только, что бежать отсюда некуда. Но мысль о возможности жаловаться или хлопотать ни разу не представилась ее уму. Этакой срам, да еще нести его на суд – боже избави! Надо его погребсти, надо совсем забыть этот срамной угар, в котором она растеряла и ум, и стыд, и память о прошлых, когда-то счастливых днях!

Как женщина хозяйственная, она тотчас же сократила размеры своей жизни, сообразно с теми средствами, которые давал ей уменьшенный на две трети капитал. Однако штат прислуги решила не трогать. По-прежнему при ней остались и Платонидушка, и Евсеич, и дворник Палладий, тоже из присыпкинских дворовых. Никому из них она ничего не открыла, но все видела ее недавнее возбуждение и хлопоты, и понимали, что с барыней случилось что-то чрезвычайное. И втайне радовались, что Тимошке пучеглазому в их тихий, старозаветный дом навсегда дорога запала.

Устроивши свой домашний обиход, Арина Михайловна уселась в кресло и замолчала. Даже от окна отодвинулась, потому что однажды ей показалось, будто бы он прокатил мимо на лихаче и сделал ей ручкой. Вязальные спицы быстро шевелились в ее руках; шарф попевал за шарфом. Думала ли она о чем-нибудь во время этой работы – трудно сказать; скорее всего, мысли мелькали в ее голове урывками, не задерживаясь и пропадая бесследно вслед за своим зарождением. Но скоро и это времяпровождение пришлось оставить, потому что шарфы дарить было некому, а шерсть между тем денег стоила. Пасьянсов никаких она не знала, а в ералаш с тремя болванами хотя и попробовала сыграть, но это занятие слишком живо напоминало его. Со всех сторон она чувствовала себя беспомощною. Ничего она не знала, ни к чему не чувствовала охоты. Однако жила же она прежде? И не как-нибудь жила, не сложа руки сидела, а целый день устраивала и ухивчала. Ах, это «злое, ужасное дело»! Но теперь даже и к этой сердечной боли, к этой причине всех причин, она начала относиться как-то тупо. Извне ничто до нее не доходило; даже того лакейского говора она не слышала, который по вся дни стоном стоит над Москвою. Некому было рассказать ей ни о новых проказах суда, ни о земских «штуках», ни о железнодорожных крушениях. Ничто не питало ее мысли, ничто не подавало повода восклицать: «Вот погодите! уж еще не то будет!» Она знала, конечно, наверное, что будет что-то ужасное; но так как подтвердительного факта под руками у нее не было, то прорицания, даже в ее собственных глазах, приобретали характер совершенно бесцельной назойливости.

И вне дома, и в доме – все умерло. Тишина водворилась такая, что каждое хлопанье наружными дверьми, сообщавшими барские покои с кухней, гулко раздаваясь по всему дому, заставляло ее вздрагивать. Прислуга приходила в комнаты только затем, чтобы зажечь в сумерки лампу в зале, накрыть на стол, принять, подать, и затем вновь скрывалась по своим углам. Арина Михайловна сидела одна в своем кресле и дремала.

1-го мая она отрезала у билетов купоны и лично поехала в банк получать деньги. Теперь уж она никому, кроме банка, не доверяла, хотя прежде обыкновенно разменивала купоны в первой попавшей банкирской конторе. Еще скажут, что купоны не настоящие, или фальшивыми деньгами наградят – почём она знает! С тех пор как это «злое, ужасное дело» сделалось – всего можно ждать. Даже в банке объявления стали вывешивать: просят не ходить разиня рот, ежели у кого деньги в кармане есть. Что ему деньги! уж ежели место, на котором стоял присыпкинский дом, Платонидушка не могла найти, так деньги ему... тьфу!

Выезд этот на время ее оживил. Она и в ряды съездила, шерсти купила, но во время разездов так крепко зажимала в руку маленький кожаный сак с деньгами, что разве уж жизнь у нее отнимут, только разве тогда... ну, да тогда и денег ей, пожалуй, не нужно! Приехавши домой, она разделила полученную сумму на шесть равных кучек (с мая до ноября), а затем села в кресло и опять на время разрешила себе шарф вязать. А может быть, со временем она подберет все связанные шарфы под тень,

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru пришлет бок к боку, и выйдет у нее прекраснейшее одеяло.

С наступлением красных летних дней сделалось веселее. Отворили окна, и из соседнего сада полились весенние запахи. Сначала цветущей черемухой запахло, потом зацвела сирень, липа. Вместе с началом этого цветения начала мало-помалу затягиваться и душевная рана Арины Михайловны.

Денег только мало. Всего две тысячи в год – и в пир, и в мир.

Тут и поземельные отдай, и страховку заплати, и на ремонт по дому чавсточку отдай. На сладенькое-то да на лакоменькое и нет ничего. А она, признаться, избаловалась, привыкла. Еще Савося-покойник ее избаловал. Подадут, бывало, индюшку, и непременно они из-за попова носа поспорят. Оба его любят; только он – ее заставляет взять, а она – его; возьмут наконец, да и поделят. А теперь, сколько времени, она и в глаза индюшечки не видала! Но в особенности ее тяготил дом. Тепло в нем, привольно, но зато он четверть дохода ее съедает. Того гляди, зимой надо будет парадную половину заколотить, в двух каморочках приютиться, чтобы лишних дров не тратить. И все-таки ей казалось, что лучше она щи да кашу будет есть, нежели с квартиры на квартиру переезжать.

– Иная, пожалуй, наймет квартиру-то да еще жильцов пустит, – говорила она, – около них и питается. И идет у них с утра до вечера шум да гам, песни да пляски, винище да табачище, а она сиди в своей каморке да помалчивай. Неужто ж и мне так жить!

И вот судьба, как бы в ответ на ее сетования, улыбнулась ей. Однажды сидит она у окна и видит – мимо дому знакомый отец диакон идет. В руке узелок плотно зажал, полы у ряски по ветру развеваются, волосы в беспорядке, лицо радостно озабоченное, на лбу капли пота дрожат. Очевидно, торопится.

– Куда больно экстренно, отец диакон? – окликнула его Арина Михайловна.

– Некогда, сударыня, спешу, – ответил он. – В «банку» бегу, как бы к приему не опоздать. Вон сколько денег набрал! А из «банки», извольте, и к вам забегу.

Действительно, управившись в банке, отец диакон сообщил Арине Михайловне нечто весьма серьезное. Оказывалось, что народился благодетельный для России финансист, который «залюбовь» всем по десяти копеек с рубля платит. И живет этот финансист в граде Скопине-Рязанском, и оттоле на всю Россию благодаяния изливает. Кто принесет ему тыщу – тому он сто рублей, кто две тыщи – двести. Живи как у Христа за пазушкой. Хочешь все истратить – все истрать; хочешь прикопить – прикапливай; накопишь – опять к нему неси. А он наберет денег, да из интереса желающим раздаст. Иному – под обеспечение, другому – который, значит, потрафить сумел, мнение об себе приятное внушил, – просто «залюбовь», под расписку. Садись и пиши: столько-то тыщ сполна получил, а когда будут деньги – отдам. Только и всего. И так он эту выдумкою всех обрадовал, что теперича ежели у кого хоть грош в мошне запутался – все к нему бегут. Потому дело чистое, у всех на виду. И «банка» такая при господине Рыкове выстроена, которая у одних берет деньги, а другим выдает, а Скопин-град за всё про всё отвечает. Стало быть, чуть какая заминочка, сейчас можно этот самый град, со всеми потрохами, сукциону продать. А кроме того, и объявление от господина Рыкова печатное ко всем разослано, а под ним подписано: «Печатать дозволяется. Цензор Бируков».[9] Стало быть, и со стороны начальства одобрение видится.

– Вот и наш причт заблагорассудил, – объяснился отец диакон, – какие у кого рублишки сбереглись – все в град Скопин при просительном письме к господину Рыкову препроводить. А причетники так даже ложки у кого светленькие были, и те продали, в чаянии, что господин Рыков впоследствии угобзит. Для этого, собственно, я и в государственный банк бегал, вроде как доверенный. Сдал наличность полностью – и прав. А оттуда она по телеграфу – в Скопин-град.

Отец диакон остановился и издал губами звук, какв деньги по телеграфу в Скопин побегут.

– И вам, сударыня, советую, – продолжал он. – Конечно, по нынешнему времени, и пятнадцать копеечек под верный залог охотно дадут, да залого-то ныне... ищи его потом да свищи! А тут, в «банке», разлюбезное дело! положил деньги, и уповай!

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Рассказал отец диакон, точно на бобах развел, напился чаю и ушел. А Арина Михайловна задумалась. Как ни рассчитывай, как ни сокращай себя, а на две тысячи рублей, имея на руках целый дом, трудно прожить. А господин Рыков между тем на тот же самый капитал четыре тысячи выдаст – ведь это разом удвоит ее доход. Ежели она даже не очень понравится господину Рыкову, так и тогда он восемь-то копеечек, наверное, даст. Восемь копеек – это уж всем дают. И причтам церковным, и раненым, а кто по интендантской части деньги нажил – тем больше. Что, ежели и она, по примеру прочих... положим, не весь капитал, а тысяч этак тридцать... вот девятьсот рубликов и в карман!.. Это ежели по восьми копеек, а коли по десяти... тут уж другой будет разговор! И расходы по дому, и отопление, и прислуга – всё тут. А диакон, он деньгам счет знает; не полезет он с бухты-барахты: извольте, господин Рыков, наши денежки получить! нет! он почешет да и почешет затылок, прежде нежели мошну выворотить.

В принципе Арина Михайловна решила вопрос очень скоро. Тут не частный человек, вроде Воротилина, деньги берет, а банк – все равно, что ломбард. Банка не спрячешь. И притом дело ведется чисто, у всех на знати: сколько одних проверок! Уж ежели тут неверно, стало быть, и везде неверно: и билеты ее неверны, и дом неверен – ложись в гроб и умирай! Однако и за всем тем, как женщина, недавно еще выдержавшая глубокое материальное и нравственное потрясение, она все-таки решилась предвительно самолично удостовериться, в каком смысле следует понимать город Скопин и точно ли находится в нем банк, о котором с такой выгодной стороны отозвался отец диакон. Слыхала она про Скопин, когда еще в девках была, что это тот самый город, в котором никому жить незачем, – ну, да ведь иногда и калеку бог умудрит. У нас и сплошь так бывает: лежит куча навоза, и вдруг в ней человек зародится и начнет вертеть. Вертит-вертит – смотришь, начал-то он с покупки для города новой пожарной трубы, а кончил банком! Вот ты его и понимай!

Села Арина Михайловна на машину и поехала. Видит: город не город, село не село. Воняет. Жителей – десять тысяч. И в том числе две тысячи кредиторов. Со всех концов России слепые да хромые собрались, поселились в слободке, чтоб поближе к процентам жить, и уповают. Тут и попы заштатные, и увечные воины, и даже один интендант. Интендант жениться собрался. Пошла она по городу банк искать, пришла на площадь, а он тут как тут: пожалуйста! Она было прочь бежать: сгинь-пропади! – ан нет, бежать не приказано! Делать нечего, пришлось к директору с повинной идти. Тот слова не сказал, сразу десять процентов определил и бумажку ей в руки дал: идите к бухгалтеру. Бухгалтер взял билеты, раскрыл большую книгу и сказал:

– У нас, сударыня, на итальянский манер. Сначала вот в этом месте тридцать тысяч запишем – это будет «loro»; значит: ваше. А потом их же вот в этом месте запишем – это будет «nostro»; значит: наше. И нашим, и вашим. А затем вот вам, сударыня, фитанец – значит: адью!

Так и уехала она из Скопина, не солоно хлебавши.

– Так у них просто, так просто! – рассказывала она отцу диакону, приехавши в Москву, – сначала налево записали, потом – направо, и, окрутивши таким манером, выдали фитанец!

– Вот до чего люди дошли! – умилился отец диакон.

Прожила Арина Михайловна таким образом лет пять сряду, и, нечего сказать, благородно прожила. Проценты получала своевременно и сполна, и не раз подумывала о том, не свезти ли ей и остальные десять тысяч к господину Рыкову, но откладывала да откладывала – так и просидела, не выполнивши своего намерения. И так как ничто столь не украшает человека, как спокойное житье, то она мало-помалу начала и об «этом злом и ужасном деле» забывать. Напротив, стала находить, что «некоторое» даже хорошо вышло. Благодетельный для России финансист уж народился, а со временем, чего доброго, народится и благодетельный для России публицист. То-то пойдут у нас смехи да утехи! Присыпкино-то, думали, пропало, а оно, вдруг, опять... тьфу! тьфу! тьфу! Как бы только не сглазить! Но ей и без Присыпкина настолько хорошо, что она даже дичиться людей перестала. К ней ходит и отец диакон, и отец протопоп, и супруги ихние, а иногда зайдет выкушать чашку чаю и сам господин квартальный. Сидят они и разговаривают, как нынче всем хорошо и какая это для всех лёгость, что г. Рыков в Скопине «банку» открыл и оттуда на всю Россию благоденствие изливает. Однажды даже сам Семен Семеныч зашел к ней,

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru прочитал монолог из «Гамлета», потом вскочил, за что-то ее обругал, крикнул: «Ах, ничего-то вы, идола, не понимаете!» – и убежал к Сухаревой башне.

Словом сказать, жилось хорошо, а ожидалось еще лучше.

И вот, одним утром, сидела она на своем любимом месте и, по обыкновению, вязала шарф. Вдруг видит, что отец диакон, как и в тот раз, на всех рысях бежит. Но узелка у него в руках уж нет, и лицо бледное и растерянное.

– Что случилось, отец диакон? – крикнула она ему.

– «Банка» лопнула! бегу!

Недавно, проездом через Москву в деревню, я воспользовался промежуточным между поездами временем, чтобы поросенка купить. Сделавши это, вспомнил об Арине Михайловне и отыскал ее.

Дом свой в Четвертой Мещанской она уже продала и живет теперь у Сухаревой, в каком-то неслыханном переулке, в крохотной квартирке, по стенам которой зимой потоки бегут. Живет бедно: как говорится, с хлеба на квас. Состарелась, поседела, осунулась; блуза висит на ней, как на вешалке. Из прислуги осталась при ней только Платонидушка, да и та еле бродит. Евсеич определился в какую-то газету вольнонаемным редактором (изумительно! только в Москве да в Петербурге это и бывает!), а Палладий догадался и умер.

В то же время в Арине Михайловне совершилась и еще одна, довольно важная, перемена. Она выписывает «Куранты» и усердно читает их. И всякий раз, как прочтет какое-нибудь карканье, начинает и в свою очередь прорицать: «Погодите! то ли еще ужо будет!» Платонидушка потихоньку пожаловалась мне, что «барыню» объедают и опивают какие-то литераторы от Иверской (вместо прежних приказных, по случаю свободы книгопечатания, завелись), которые от времени до времени украшают задние столбцы «Курантов» заявлениями, извещениями и удивлениями. Соберутся, жрут водку, удивляются и судачат. А когда уж, что называется, до зела напьются, возьмут друг дружку за руки и застонут: «Погодите! то ли еще будет! вот увидите!»

Меня Арина Михайловна приняла довольно холодно, даже закусить не пригласила, хотя я видел, что в стороне, на столике, стоит штоф и тарелка с ломтиками углицкой колбасы. Должно быть, иверских литераторов поджидала.

ПИСЬМО V

Вы, конечно, уж знаете, что господство хищения кончилось. Что касается до меня, то я узнал об этом из газет и, признаюсь откровенно, сейчас же поверил. Еще так недавно на наших глазах происходил такой грандиозный обмен хищений, что многие не без основания отводили этому явлению ту же роль, какую играет обмен веществ в жизни отдельного индивидуума. И вдруг прилетает весть: обмен веществ прекратился! Каким образом? с чего? – Да так, ни с того ни с сего. Прекратился, и будет с вас.

И радостно, и жутко. Что-то будет? как-то вынесет общество столь внезапную утрату? что станет с нашими раутами, пикниками, катаньями на тройках и другими увеселениями? выдержит ли неизбежный кризис торговля модными, бакалейными и гастрономическими товарами? Перед кем и на какой предмет будут обнажать себя наши дамочки? отыщет ли общество новые основы для жизнедеятельности или просто-напросто возьмет да и захиреет?

Повторяю: и радостно, и жутко...

Откуда, однако ж, взялась эта добрая весть? – кто первый ее распустил? – Оказалось, что первый пустил ее в обращение Подхалимов, известный отметчик, корреспондент и публицист. Я – к Подхалимову. «Любезный друг! неужто ты не солгал?» – «Верно, говорит, вот и доказательство». Смотрю и глазам не верю: «Печатать дозволяется. Цензор Бируков».

О, коли так – стало быть, и сомнения не может быть!

Бируков – он, наверное, все заранее рассчитал и предусмотрел. Простофиль – около концессий пристроил, хищников – по церковным попечительствам

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru рассказывал. Наживайтесь, простофили! а вы, хищники, кладите зубы на полку. Sapienti sat.[10]

«Не обличать надо, а любить», – говаривал покойный Прутков, а я с своей стороны присовокупляю: не сомневаться надо (сомневаться-то всякий умеет!), а радоваться. Да, кстати, и ближних о приключившейся радости уведомлять. Поэтому я прежде всего сообщил о вычитанном мною известии нашему деревенскому старосте. «Знай, Денис, – писал я ему, – что господство хищения кончилось – это мне сам Подхалимов подтвердил. Стало быть, деньги, которые прежде на сей предмет с мужичков сходили, останутся у них в кошеле. А потому, ежели впредь потравы или порубки в моих дачах окажутся, то я буду в оба смотреть и никаких послаблений не допущу, теперь есть чем штрафы платить». А через месяц получил от старосты ответ: «И мы насчет хищеньев через урядника обнадеежены, и хищеньев теперь у нас нет, а кои мужички допреж сего воровали, те и сейчас друг у дружки взаимно поворовывают; только надо полагать, что сие вскорости прекратится, потому что в настоящем случае у нас в деревне только подковы остались, а лошади все до одной на уплату хищеньев пошли. И что вы насчет потрав пишете – оное я объявлял, и мужички платить штраф согласны, только просят, не будет ли милости ради такого случая два ведра на общество выставить?»

Разумеется, я не только разрешил, но на радостях написал к мужичкам цидулу:

«Друзья!

Называю вас этим именем, потому что теперь вы уж не меньшие братья, а самые достоверные друзья. В вас, как нынче во всех газетах объявлено, здравый смысл проявился, а по слабому нашему времени это ах как дорого! Берегите оный, не пропивайте. А ежели кому хочется выпить, то поступайте так: одну рюмку – перед завтраком, другую – перед обедом, а третью – перед ужином. Под сим условием и я разрешил Денису просимые два ведра выставить, и буду весьма огорчен, ежели хотя некоторые из вас воспользуются сим случаем, чтобы здравого смысла лишиться. Только насчет штрафов – чтобы верно было. Помните, друзья, что у нас, интеллигентов, с тех пор как хищения кончились, только на штрафы и надежда осталась, а здравого смысла мы еще до хищеньев лишились. А еще будет лучше, ежели вы, с помощью крестьянского банка, всю угоду у меня купите. Я лишнего немного возьму, а вам это удовольствие доставит. Вы знаете, что я и прежде хищником не был, а теперь и рад бы, да руки коротки: не приказано. А ежели не приказано – значит, аминь. И вам не советую. Будьте здоровы, друзья!

Отставной помещик Сицилистов».

Отославши это письмо, я, однако ж, задумался.

Как они должны быть счастливы, думалось мне, что господство хищения кончилось! Все эти фасоны и фестоны, которые мы, правящие классы, граня мостовые, выдумываем, – всё это в конце концов ведь на них обрушивается! Кузьма Прутков, от нечего делать, уфимскую землю задешево похитил, а у Васьки Чувашенина от этого фестона загривок болит. Столоначальник департамента Преуспеваний и Прогрессов кратчайший способ без пороха палить изобрел, а у обывателей деревни Проплеванной мурашки по спине ползут. Губошлепов концессию получил, а в селе Ненаедове бабы воем воют. Феденька Кротиков ряд резвых циркуляров издал, а у дедюхинских мужиков животы с толкна подвело. *Tout s'enchaîne, tout se lie dans ce monde*, [11] как сказал некогда Ламартин.

Сам Подхалимов (теперь он, конечно, без слез вспомнить об этом не может) был в свое время не прочь похищничать. Пойдет, бывало, по гостиному двору и крикнет клич: «А нуте, брюханы! чтоб было по стольку-то рублей с каждого купеческого брюха, а не то я в газетине мораль на вас пущать буду!» И как сказал, так и сделает. А заугольниковский мужик, бывало, дивится: с чего, мол, это ситцевая рубашка вдруг на полтину дороже стала? Ан она вон куда, на подметки Подхалимову, полтина-то ушла!

Купец купца к мировому потащил – корела судебные издержки плати! Кредитка под залог туляковских домов зря деньги выдала – мордва убытки возмещай! Посчитайте-ка, ан денег-то и многонько выйдет.

И ни дедюхинские мужики, ни Васька Чувашенин, ни ненаедовские бабы никогда ничего и ни об чем не знали. Думали, что это «так». Не знали, что губошлеповскую

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru концессию надо гарантировать, прутковское хищение оформить, кротиковские циркуляры оплатить, выдумку счастливого столоначальника – осуществить. Да, признаться сказать, едва ли было и желательно, чтоб они понимали и знали.

Относительно деревни самое главное условие – это чтоб она как можно дольше сохранила невинность. В противном случае она захандрит. Поэтому те, которые, видя в губошлеповских распутствах отчасти неизбежное зло, а отчасти свойственное цивилизованному обществу украшение, принимают меры, чтобы слухи об этих интеллигентных распутствах не проникли в деревню, – поступают, по мнению моему, совершенно резонно. Пускай хоть дулебы, древляне, радимичи и проч. останутся вне района интеллигентного растления; пускай хоть они спасутся. Деревня обязывается знать твердо свой окладной лист – и ничего больше. Что пользы знать, что гужеед Губошлепов и проворный Мовша Гудков впились в этот окладной лист и разъедают его точно так же, как мириады мелких, но жадных паразитов разъедают мощный организм кита? Такого рода знание не может ни возвеселить, ни удовлетворить, а только наведет на сердце сухоту. Спите, други, и почивайте!

Но ежели хорошо, чтобы деревня оставалась в неведении, то, разумеется, еще будет лучше, если и самого материала, на основании которого составляются несвойственные деревне знания, не окажется налицо. Или, говоря другими словами, вполне резонно и предусмотрительно поступают и думают только те, которые ни в Губошлеповых, ни в Кротиковых не видят ни неизбежного зла, ни свойственного цивилизации украшения. Право, Губошлеповы вовсе не так необходимы и не так изящны, как это кажется с первого взгляда, и общество, будь оно хоть расцивилизованное, прожить без них очень может. Говорят, будто бы они настолько въелись в интимную жизнь общества, настолько овладели умами и волей интеллигенции, что полное их устранение представляет трудности почти непреодолимые. Но, прежде всего, «почти» еще далеко не значит «совсем». Я согласен, что сладить с Губошлеповым довольно трудно, но попробовать и постараться все-таки можно. Например, ежели напустить на него анти-Губошлеповых – и даже не «напустить», а только дать им возможность появиться, то Губошлепов сам догадается, чем пахнет, и будет постепенно себя сокращать. То же самое и относительно Гудковых, Кротиковых и проч. Разом всех их вытравить – нельзя, но понемножку – можно. Это хоть кого угодно спросите.

Но есть и еще одно веское соображение в пользу ограждения обывательской невинности, не прибегая к фортелям, а непосредственно воздействуя на самое хищничество. А именно: как искусно ни оберегайте деревню от вторжения несвойственных знаний, последние, рано или поздно, все-таки проникнут в нее. Деревня уже давно не живет тою изолированной жизнью, которая позволяла смотреть на нее, как на отрезанный ломоть. Редок он теперь, тот пещерный мужичок, который родился, жил и умирал в неведении интеллигентных затей. Нынешний мужичок многое видел лично, многое из виденного на ус себе намотал и многое другим, не выдавшим, порассказал. Он знает, как Губошлепов с Гудковым в столицах помахивают, и только еще не сообразил, какая существует связь между этим помахиваньем и им, проплеванским корелой. А что, ежели эту связь возьмет на себя объяснить ему окладной лист? Право, едва ли можно наверное поручиться, что это дело нестаточное. Но, сверх того, и сами интеллигенты нынешние стали против прежнего куда легкомысленнее. Нет, нет, да и откроют сами себя. Поедет, например, интеллигент на тройке за город – вот тебе десять рублей на водку! Приедет на зверя охотиться – вали всей деревней в загонщики, – вот вам сто, двести рублей! Нет чтобы поприжаться: у меня, дескать, денежки трудовые, ой-ой, как много я шевелить мозгами должен, чтобы их добыть! «Плёв сто рублёв!» – только это неумное восклицание и перекачивается из края в край. А где ты, позволь спросить, рубли-то взял? откуда они в мошну-то к тебе напоззли... ах, сделай милость!

Вот почему я и говорю: ежели проникательно поступают те, кои оберегают деревню от вторжения несвойственных знаний, то еще более проникательными являют себя те, кои устраняют самый материал, служащий для этих знаний основанием.

Этих-то последних деятелей, по-видимому, и имел в виду Подхалимов, возвещая изумленному миру, что господство хищения кончилось.

Да, дожили-таки мы – вот до чего мы дожили! Губошлепов с тоски в монахи постригся; Соломон Мерзавский все имение нищим роздал и поступил кассиром в общество доброхотной копейки; Мовша Гудков плачет, но ест акрид... ах, аспиды, аспиды! Это ли не результат? это ли не волшебное представление? живо!

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
брависсимо! bis, bis!

Но не приврал ли, однако, Подхалимов? Как будто чересчур уже волшебю у него выходит... «Кончилось»... «постригся в монахи»... «роздал нищим имение»... Что-то как будто густо... Какие слова тут настоящие, какие – лишние? Подхалимов – малый ловкий, но он не прочь поврать, а еще больше любит порадоваться и других обрадовать. Он, того гляди, и от себя сочинит, лишь бы иметь случай поликовать в своей газетине. Спрос нынче на газетные ликования большой; и сверху, и снизу, и с боков только и слышатся голоса: да ликуйте же, наконец! Вот Подхалимов и проникся этой потребностью. Во-первых, он, по природе, к ней всегда был предрасположен, а во-вторых, за ликования-то нынче по десяти копеек со строчки платят, за сетования – по пяти, а уныние, нытье и протрацию и совсем прочь гонят. Так что если б явился, например, с того света доктор Фауст и объявил, что результат усилил человеческой мысли и жизни исчерпывается словом ничто, что все поросята, наверное, в один голос бы завопили: как «ничто!» а земские учреждения? а свобода книгопечатания? а новые суды? а решение кассационного департамента за № таким-то?..

Так вот не упустил ли, в самом деле, Подхалимов чего-нибудь в радостных попыках?

Сознаюсь откровенно: этот вопрос предстал передо мной не совсем своевременно; но, раз возникнув, он уже неотступно преследовал мою возбужденную мысль. Я так давно живу на свете, так много видел и, главное, так много помню, что, помимо убеждений рассудка, один жизненный опыт заставляет меня относиться к газетным известиям с осторожностью. Я помню, что когда впервые появилось слово «хищение» и в газетах раздалось по его поводу стенания, то меня озадачило стремление публицистов щегольнуть перед читателем новою новинкою. Совсем тут никакой новинки не было. Хищение, сиречь высасывание выморочных соков, известно было издревле, и издревле же значилось во всех азбуках под всевозможными рубриками. Если же и воспоследовала, лет двадцать тому назад, в этом отношении какая-нибудь реформа, то она коснулась только внешних приемов, размеров и названия. В древности слова «хищение» не было, но зато было слово «лафа», и вся дореформенная Русь отлично понимала, что слово это означает именно высасывание выморочных соков. Но так как конструкция этого слова слишком отзывалась провинциализмом и татарщиной, то понятно, что с поднятием уровня образованности почувствовалась потребность и в поднятии уровня терминологии. Отсюда – замена слова «лафа» словом «хищничество». То же поднятие уровня образованности не могло не повлиять и на внешние приемы высасывания, устранив всё режущее и грубо-реальное и сообщив этому занятию характер порядочности и даже некоторой щеголеватости. А дороговизна съестных припасов, увеличение таможенного тарифа на предметы роскоши и непомерное вздорожание кокоток довершили остальное, расширив понятие о выморочности до таких размеров, о которых, конечно, и во сне не снилось скромным эксплуататорам «лафы».

Старая, дореформенная Русь вовсе не была чужда процессу сосания; она только понимала его без вывертов, вполне конкретно. Объект сосания представлялся ей в форме сочащегося мяса, к которому она припадала и зубами, и губами, и языком и от которого отваливалась только тогда, когда вместо лафы оставалось сухое, безвкусное волокно. Даже в переносном смысле она недалеко отступала от этого конкретного представления; даже и тут ее, по преимуществу, привлекал непосредственный процесс сосания и те результаты, которые были ясны и доступны для самого неповрежденного ума.

Бывало, кто-нибудь из «тутошних» место исправника получит – про него говорили: «Теперь ему будет не житье, а лафа». Или сутяга между «тутошними» проявится и начнет «прочих жителей» разбоем, ябедою и волокитою донимать – про него говорили: «Ему лафа; он такого страху на всех нагнал, что перед ним слова никто не пикнет!» Или «умница» подходящего «дурака» на распутьи обретет и начнет его «чистить» – про него говорили: «Этому человеку лафа с неба свалилась; теперь только не зевай!» Или, наконец, так человек устроится, чтобы ничего не делать, а только спать да жрать, – про него говорили: «Такую он лафу обрячил, что умирать не надо!» Даже красивую женщину (жену или любовницу) называли «лафю» и говорили: «Ну, брат, дорвался ты до лафы; теперь смотри на нее да стереги!»

Естественно, что для нашего образованного времени подобные представления и слишком грубы, и слишком узки. Нынче исправническими доходами никого не удивишь, да и «дураком», ежели он в единственном числе, сыт не будешь, а надо, чтоб, по крайней мере, хоть небольшое стадо дураков было в резерве. Поэтому и придумали:

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru воровать с таким расчетом, чтобы, во-первых, нельзя было с достоверностью указать, кто именно обворован, да и сам обворованный не умел бы себе объяснить, действительно ли он обворован или только сделался естественной жертвою современного веяния; и, во-вторых, чтобы воровство, оставаясь воровством по существу, имело все признаки занятия не только не предосудительного, но вполне приличного, а в некоторых случаях даже и полезного.

Разрешить эту задачу взялись «хищники». «Хищниками», однако ж, их называют только газеты, да и то не все (некоторые даже указывают на них как на сынов отечества); сами же себя, в домашнем быту, они называют «дельцами», а в шуточном тоне – воротилами.

Открывает, например, плут Архиканаки торговлю деньгами. С утра до вечера он твердит: продать-купить, купить-продать, обертывается, перевертывается, сперва в одну книгу запишет, потом в другую; словом сказать, занимается «делом». А соки между тем капля по капле так и текут через открытый кран в заранее приготовленное сокохранилище... Или: издает Феденька Кротиков циркуляр совершенно философического содержания; не упоминает ни о «барашке в бумажке» (очень древнее выражение, нечто вроде пещерной конституции), ни даже о дивидендах (выражение позднейшее, стоящее на рубеже древней и новейшей истории, но нынче и его уж стремятся упорядочить), а только Цицеронову речь «De officiis»[12] на русские нравы перелагает – смотришь, а незримое сокохранилище наполняется да наполняется... Или: выхлопывает Губошлепов концессию – сиречь, право за умеренную плату возить обывателей взад и вперед по железной дороге: польза-то какая! – и при сем только одно слово прибавляет: «с гарантиєю» (пять процентов, не больше, да и то «в случае, ежели») – и что ж! соки так и плывут в поставленные на каждой станции сокоприемники!

Таковы внутренние и внешние признаки явления, прославившего себя под именем «хищничества». Но не соблазняйтесь его показным изяществом, а отыщите сокохранилище и постарайтесь угадать «простофилю», который наполнил это сокохранилище приличествующим содержанием. Ежели вы это выполните, то, наверное, убедитесь, что между «хищничеством» и «лафю» существует столь же несомненная преемственность, как между черевиком деревенской молодухи и изящной ботинкой модной кокотки. Неуклюж и тяжел деревенский черевик, но не подлежит спору, что он – отец легковесной кокоткиной ботинки.

Вот два факта, в непререкаемости которых мы даже ни на минуту усомниться не можем. Во-первых, древнее предание и, во-вторых, недавняя практика. Ввиду такой устойчивости и общепризнанности явления, столь мало загадочного, – как надлежит поступить? Поверить ли на слово газетчикам, возвещающим его внезапное исчезновение, или же, напротив, отнестись к газетным ликованиям с благоразумною осмотрительностью?

По моему мнению, в таких случаях всего правильнее поступать надвое: прежде всего обрадоваться, дабы тем засвидетельствовать; а потом, буде для продолжительной радости не представится надлежащего питания, то постараться привести дело в ясность.

Именно так я и сделал. Сначала и сам обрадовался, и мужичков поспешил обрадовать (ништо им! за два ведра они и не такую радость на плечах вынесут!), а по прекращении радости – решил дело привести в ясность.

Сидел-сидел, думал-думал – что за чудо, не могу концы с концами свести, да и шабаш! Начнешь строить силлогизм, первые два термина как-нибудь поймашь, а третий хоть и не лови! Скользит, как вьюн: вон он, вон он – ан нет его!

Нет, думаю, так нельзя. Пойду опять к Подхалимову, объяснюсь. Пускай он докажет, – не на основании одной бируковской подписи (помилуйте! разве это доказательство!), а ясно и осязательно, – что хищничество воистину поражено остракизмом и не возвратится даже под скромным наименованием «лафы». И что в будущем нас ожидает тишь и гладь – хоть шаром покати!

Я застал Подхалимова в самом приятном душевном настроении. Накануне он написал какое-то неслыханное число строчек, а наутро получил за каждую по гривеннику. Он только что возвратился из утреннего обхода, во время которого собирал материал для завтрашних строчек, и, в ожидании адмиральского часа, благодушевствовал. А вечером – опять в обход, и затем, на сон грядущий, часа четыре сряду – строчки,

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
строчки, строчки. Сколько посидит, столько и напишет. Собачья это жизнь,
господа!

Подхалимов был малый легкий и веселый, и никогда ни о чем не думал. Материал для строчек он находил как-то внезапно: выйдет на улицу – тут и есть. Иногда он и по домам за материалом ходил – и тоже препятствий не видел. Осмотрит, воротится домой, а строчки так сами собой и льются из-под пера: на лестнице – ковер, в гостиной – ковер, на входной двери – медная доска, давно, впрочем, не чищенная; звонки – электрические, в кабинете – письменный стол. Такова квартира, а коли есть квартира – стало быть, есть и хозяин. Вот и он: на носу пенсне, причесан гладко, но волосы длинные, пиджак подержанный, панталоны не первой молодости, подошвы на сапогах – налицо, сморкается часто, и притом в фуляровый платок. Запасшись этими данными, придет Подхалимов домой, посидит, а через два часа уже шлет в типографию «оригинал», убежденный, что человека так живьем и сжевал.

Жадности в нем особенной не замечалось. Гонорар он любил, но не до безумия. Есть деньги – он говорит: вот они! нет денег – говорит: надо идти на улицу! Пойдет, в участке побывает, в камеру к мировому судье заглянет, в окружном суде справится, плутократор (так называл он содержателей ссудных касс и менял) обойдет – сколько тут строчек-то выйдет! А ежели по гривеннику за строчку – вот и жить можно. Но по временам его озаряла мысль: «Сделаю девицам удовольствие!» – и так как осуществление этой мысли требовало более или менее серьезных издержек, то он отправлялся в гостиный двор и облагал тамошних старожилов по столько-то с купеческого брюха. А вечером нанимал несколько троек, приглашал менее обласканных фортуною публицистов, прихватывал соответственное количество девиц и бешеным аллюром мчался всей компанией в «Самарканд».

Несмотря на легкость, с которою доставались ему деньги, лишних у него никогда не было. Как человек одинокий, он мог бы устроить себе порядочную домашнюю обстановку, но он предпочитал оставаться бездомным, ютился в мебелированных комнатах, одевался в магазине готовых платьев, курил вонючие папиросы (за то только, что они назывались «Слава») и водился с такими субъектами, одно приближение которых позывало на тошноту. Вообще он не чувствовал ни малейшей потребности в жизненных удобствах, и только в одном не мог себе отказать: в ежедневном посещении Палкина трактира. Здесь он проводил лучшие часы своей жизни; но при этом не преследовал никаких гастрономических целей, а просто любил на загаженном диване посидеть и полежать. Он знал поименно не только всех половых, но поварят и кухонных мужиков; разговаривал по душе с швейцаром, буфетчику делал shake hands, [13] смотрел на плавающих в сажалке стерлядей, и ежели замечал исчезновение какой-нибудь особенно крупной рыбины, то спрашивал, кто ее съел; без надобности ходил на кухню и в ватерклозет, и вообще старался показать, что он у Палкина как дома. Обедал всегда по карте – два неизменных блюда: московскую селянку и жареную утицу – и расплачивался аккуратно каждый день. Пил изрядно, но пьян не напивался, а только жуировал. Замечательно, что он как будто даже принуждал себя, как будто изобретал, каким бы способом побольше денег издержать, чтобы купец Палкин остался доволен. В этом заключалось его самолюбие. На водку сыпал направо и налево: Андрею – за то, что селянку ему подавал, Ивану – за то, что на машине вал переменял, Семену – за то, что воротился из деревни, Никанору – за то, что собрался в деревню. И со всеми был необыкновенно любезен: буфетчику сообщал новейшие внутренние известия, а метрдотелю (из тирольцев) такие штуки-фигуры руками показывал, что тот себя от восторга не помнил. Но перед купцом Палкиным стеснялся, и ежели, во время разговора с ним, замечал где-нибудь у себя в одежде расстегнутую пуговицу, то немедленно ее застегивал.

Хозяевам газетины, при которой он состоял публицистом и корреспондентом, он был предан до самозабвения, хотя обыкновенно называл их «мироедами». Какой смысл имело в его устах это слово, ругательный или ласкательный, – разобрать было невозможно. Скорее всего – просто разнузданный. Не завидовал он им нисколько, и даже тогда, когда ему однажды за верное сообщили, что за истекший год от одних объявлений «мироеды» получили какую-то чудовищную сумму, – он только вымолвил: «Вот бы теперь самое время их обокрасть!» Но, разумеется, тут же и позабыл. Никогда хозяева не приглашали его к себе в качестве гостя, но он и этим не обижался, а только говорил: «Свиньи!» Поручения хозяйские он выполнял быстро и буквально: нужно к Покрову сбегать – сбегает; оттуда в Колтовскую улицу – и туда слетает. «И никогда ведь, ироды, на извозчика не предложат!» – только и слышали его ропоту в таких случаях. Писал тоже всяко: и забористо, и благодушно, и хлестко, и с «прохвалою» – как для хозяйского интереса пригоднее. Умиление, по

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru обстоятельству, потребуется – он умилится; ликование – он возликует; вера в славное будущее – он и от веры не прочь. Только унывать не любил, а по части «прострации» даже смешные каламбуры отпускал. Но ежели потребуется серьезно уронить слезу – он слова не скажет, уронит. «Нельзя, скажет, без сердечной боли видеть, как многие, вместо того, чтобы уповать...» И пойдет, и пойдет. А потом утрет слезу – смотришь, и опять всем весело. Словом сказать, на все руки парень: колесом вертится, на канате пляшет, сядет задом наперед на лошадь и за хвост держится. В гостином дворе брюханы так и покатываются: «Ах, каторжный!»

Хозяйских врагов (разумея под этим именем всех прочих газетчиков и даже их сотрудников) он считал своими личными врагами и от всей души ненавидел. Но когда враг умирал или иным образом со сцены деятельности сходил, то отдавал ему должную справедливость: это, говорит, был противник, с которым приятно было дело иметь. Так что и при жизни ругательски человека ругает, и по смерти на могилу его напакостит. Но не от злобы, а от собачьей жизни.

О происхождении его никто ничего достоверного не знал. Сам он говорил о родителях своих неохотно; но когда его уж чересчур допекали вопросами об этом предмете, то восклицал: «Да, батюшка, родился я! могу сказать! ррродился!» Вследствие этого в редакции «нашей уважаемой газеты» мнения об его родоприсхождении разделились надвое. Одни утверждали, что он родился в Москве на Дербеновке, другие – что тайну его появления на свет следует отыскивать в известной песне: «Ехал принц Оранский». И он ни первого, ни второго мнения серьезно не опровергал.

Наружность у него была тоже несамостоятельная: сейчас – брюнет, сейчас – блондин. Отсвечивает. Голова – сквозная, звонкая: даже в бурю слышно, как одна отметка за другую цепляется. В глазах – ландшафт, изображающий Палкин трактир. Язычина – точно та бесконечная лента, которую в старину фокусники из горла у себя выматывали. Он составлял его гордость.

Но Подхалимов был несомненно талантлив и несомненно восприимчив – и это многих подкупало. Была в нем даже искорка добродушия. Все это вместе взятое заставляло говорить: если б этого человека выдержать, золото, а не человек бы из него вышел! Но так как выдержке неоткуда было взяться (у нас, в литературном мире, как и везде, всякий только о том думает, как бы особняком устроиться), то талантливость послужила лишь для прикрытия нравственной неустойчивости. Другой, более характерный субъект, при подобной силе восприимчивости, пришел бы к озлоблению, а он даже не смирился, но прямо вошел во вкус.

Я лично не питал к Подхалимову никакого враждебного чувства, а просто смотрел на него как на жертву общественного темперамента. Случайно встречаясь с ним, я не испытывал особенной радости, но в то же время и без любопытства прислушивался к его пестрой болтовне. Как хотите, а ведь его статьи служили украшением столбцов распространенного литературного органа, а совсем плохому писателю такая роль не под силу. Развязность его, нередко переходившая в прямую наглость, казалась мне наносною, охватившею его согласно с обстоятельствами времени и места. А когда он, внезапно очнувшись от угара пестрых слов, говорил: «Это я не от злобы, а от собачьей жизни!» – то мне сдавалось, что и моей вины тут капля есть. Да, виноват и я. Виноват тем, что я бессилен, что слова мои мимо идут и се не бе. Однако чьи же слова когда-нибудь шли не мимо, позвольте спросить?

Но есть и еще вопрос, близко касающийся Подхалимова. Теперь он и ликует, и умиляется, и иронизирует, и скорбит: что ему вздумается, то и сделает. Но заглядывает ли он когда-нибудь в будущее, – не в то будущее, на которое намекает шумно бегущий жизненный поток, – туда ему, Подхалимову, пожалуй, и резону нет заглядывать, – а в свое собственное, личное будущее?

Бедный Подхалимов!

Когда я пришел к Подхалимову, он лежал с ногами на кровати, а в головах у него сидел субъект, от которого несло водами Екатерининского канала. Комната была светла и довольно просторна, но табачного дыма скопилось столько, что неприятно было дышать.

– Кого я вижу! Отче (он называл меня так, ввиду преклонности моих лет)! – воскликнул хозяин, вставая с постели. – Уж не собрались ли открыть гласную кассу ссуд? А мы только что о них беседовали. Садитесь, пожалуйста! Рекомендую: бывший

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru казанской части дипломат по внутренней политике, господин Ончуков, а ныне от занятий освобожден и возымел намерение открыть кассу ссуд. Сначала кассу ссуд откроет, потом убийство совершит, а в заключение попадет на каторгу. Вот и карьера.

– Что вы, Григорий Григорьевич! кажется, вам мои правила довольно известны! – не то обиделся, не то пошутил господин Ончуков.

– Оттого и говорю, что известны. А слышали ли вы, отче, как он на днях одного юнца подселел?.. хочешь, расскажу?

– Ах, что вы! что вы-с! ведь это тайность-с! – испугался господин Ончуков.

Ежели тайность, так зачем ты ко мне с тайностью лез? Вот видите ли, сидит этот самый господин, от которого не розами пахнет...

– Нет, уж позвольте! ничего я вам такого не говорил! Сделайте ваше такое одолжение, увольте! Прекратите-с! – решительно взмолился господин Ончуков.

– Не интересно ведь это, Подхалимов! оставьте! – присоединился и я с своей стороны.

– Ну, ладно, все равно, потом расскажу. А теперь брысь, Анчутка! видишь, «чистые» гости пришли!

Ончуков помялся на месте, глянул исподлобья как-то подозрительно – и, к удивлению, глянул не на Подхалимова, а на меня – и исчез.

– Погодите говорить! он у двери подслушивает! – обязательно предупредил меня Подхалимов. – Береги нос, Анчутка! сейчас дверь отворю!

Послышались торопливо удаляющиеся шаги.

– Ну-с, отче, чем потчевать прикажете? Чаю? кофе? Мороженого? селедочки?

– Я на минуту, только два слова спросить пришел. Скажите, Подхалимов: вы не соврали, возвещая в «вашей уважаемой газете», что господство хищения кончилось?

– Господи! никак, вы уж во второй раз по этому случаю беспокоитесь! Да неужто я в самом деле так уж решительно и намекал?

– Совершенно решительно.

– Что хищения прекратились... совсем? Странно. Действительно, что-то в этом роде как будто было... Но чтобы так-таки прямо... с тем чтоб на службу ни по каким ведомствам впредь не определять... Да вам-то, наконец, не все ли равно? Есть хищения, так есть, нет их, так нет! Эка беда!

– Ну, нет, это совсем не так безразлично, как вы полагаете! Поймите, Подхалимов, ведь это не реформа какая-нибудь, которую взял, похерил, и никто не заметит. Это целая нравственно-обычная революция! Старые идолы в прах повергнуты, старые предания нарушены, история прекратила течение свое... вот ведь это чем пахнет!

– Скажите, сколько, однако ж, я накуролесил! И это, так сказать, «в минуту жизни трудную»... За «оригиналом» из типографии пришли – я и черкнул... но нет, впрочем; я лучше уж откровенно перед вами сознаюсь. Призывают меня «мироеды» и спрашивают: «Можете вы, Подхалимов, «стихотворение в прозе» написать?» Ну, я... мне что ж!

– А я, по милости вашего легкомыслия, впросак попал. К мужичкам в деревню написал: радуйтесь! Губошлепова на цепь посадили! Кротикова – в заштат отчислили! Знаете, чем такие известия пахнут?

– Ах, беда!

– Вот вы всегда так, Подхалимов; вы и теперь шутите. Удивительно, право, как вас земля за такие проделки не поглотит!

– А по-моему, так еще удивительнее, что вы столько лет живете, а до сих пор

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
всякое лыко в строку пишете.

– Но как же вас читать? Неужто, взявши газету, нужно предварительно сказать себе: все, что тут написано, есть мистификация.

– Не мистификация, а «так». «Так» – и ничего больше. На вашем месте я, главным образом, обращал бы внимание не на сущность газетной статьи, а на то, как она написана, игриво или возвышенно, забористо или благодушно. А что касается до меня, то ежели моя статья подходит под одно из этих определений, – я и доволен.

– Да ведь это же и есть мистификация!

– Мистификация – это ежели преднамеренно, а тут, повторяю, просто «стихотворение в прозе» – и только. Это – «морсов», которое в случае крайности можно в какую угодно хрестоматию поместить.

– Ах, Подхалимов, Подхалимов! Неужели вам не страшно жить?

– Перемогаю себя – оттого, должно быть, и живу. Страшно сделается – я пою: «Страх не страшусь, смерти не боюсь!» – как рукой снимет! Гнать их, отче, надо, страхи-то. – вот и не страшно будет!

– Следовательно, одним пением спасаетесь? думать не желаете?

– Пишу – стало быть, все-таки, как ни на есть, думаю; без того нельзя. Но прямолинейным быть не желаю и до чертиков додумываться не вижу надобности. Смотрю на мир непредубежденными глазами и нахожу, что все идет своим чередом:

И прежде кровь лилась рекою,

И прежде плакал человек...

Это вы во всех хрестоматиях найдете; стало быть, ежели вы «плакать» желаете, то к этому источнику и обратитесь. Но и тут имейте в виду, что хрестоматии на то и издаются, чтобы метафоры и синекдохи в них подтверждение находили. Следовательно... а впрочем, хотите, я к завтраму передовицу на манер Феофана Прокоповича напишу?

– Любопытно. О чем, например?

– Как вам сказать... ну, хоть о правосудии. Сегодня напишу, что правосудие бодрствует, завтра – что правосудие на оба ока спит; сегодня – что в голову гидре ударено и на хвост наступлено (слог-то какой!), завтра – что у гидры новая голова и новый хвост выросли.

– Отлично. Но не будем разбрасываться, Подхалимов, и возвратимся к первоначальному предмету нашей беседы. Скажите, ведь были же какие-нибудь факты, которые послужили вам отправным пунктом для передовицы, о которой идет речь?

– Как фактам не быть? За фактами никогда дело не станет. Есть факты, которые свидетельствуют, что хищение прекратилось (таковы: предписания, распоряжения, благие начинания и т. п.), и есть факты, которые свидетельствуют, что хищения продолжают круг своего действия (таковы: отчеты общих собраний промышленного общества, банков и т. п.). Стало быть, все зависит от того, как посмотреть. Ежели одним оком взглянуть – есть хищения; ежели другим – нет хищений. Но, кроме того, есть еще читающая публика. Огорчена наша публика, отче! так огорчена всевозможными летописями и хрониками из области хищничества, что голосом вопить начинает: утешьте вы меня! скажите, что господство хищения кончилось! Вот мои «мироеды» и догадались, что теперь самый раз «стихотворение в прозе» пустить. Ну, и набрали же они в это утро пятаков!

– Но ведь это явный обман! Можно подумать, что вы только одну цель и в виду держите: как бы кого-нибудь в дураках оставить! Остроумно, что ли, это вам кажется, или так уж само перо у вас лжет?.. ах, Подхалимов, Подхалимов!

– А вы позабыли, отче, что еще Пушкин сказал: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман»? – это, во-первых. А во-вторых, вы хоть и читаете нашу газету, но многого не доглядываете. В том же №, где возвещалось о прекращении

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru хищников, напечатана целая хроника, явно свидетельствующая, что хищничество нимало не чувствует себя обескураженным. Но, сверх того, неужто вы, кроме нашей, никаких других газет не читаете? Напрасно. Читайте хоть «Пошехонские куранты» – несомненную пользу получите. Хроники хищений вы там, правда, не найдете, но зато «Куранты» свои задние столбцы всевозможным добровольцам в полное распоряжение предоставили. И тут вы не то, что мелкие факты, а целые проекты громаднейших хищений обретете». Тут и элеваторы предлагают, и запретительных пошлин требуют (кто чем торгует, тот и соответственное обложение проектирует), и замену книгопечатания билетопечатаем проповедуют, а на днях один неунывающий плутократ проект об отдаче казны в бессрочную аренду акционерной компании сочинил... Да вот увидите: скоро такое столпотворение пойдет, что зги божьей за тучей проектов не видно будет! Ситцевые фабриканты будут домогаться, чтоб каждому из них от казны известный доход гарантирован был; землевладельцы начнут вопиять, чтоб казна гарантировала им верный урожай и выгодный сбыт сельских произведений; торговцы благовонными товарами потребуют, чтобы для всех франтов было обязательно употребление таких-то и таких-то духов. Того гляди, мужички пожелают, чтоб им гарантировали исправную плату податей...

– Вот тут-то бы вам и ополчиться!

– Могу и это. Но, стало быть, не ко двору. Впрочем, и «мироеды» мои от ополченья не прочь – они ведь у меня лихие! – да и у них руки, видно, коротки. А может быть, и на розничную продажу не надеются. Прытки мы, но не сильны.

– Однако какие ужасные нравы?

– У нас нынче насчет нравов даже очень просторно. Только размеры «куша» и стесняют. Кому – знатный размер приличествует; кому – средний; кому – малый. Но все-таки везде на первом плане – «куш». Недавно, доложу вам, у одного «репортера» маменька скончалась – ну, он и пошел с похоронным счетом по коммерсантам, да через три-четыре часа все расходы покрыл, а лишки к Палкину снес.

– А что, ежели коммерсант-то соберется с духом, да в шею попрошайку?

– Нельзя, стало быть.

Подхалимов остановился на минуту, иронически взглянул мне в глаза и с расстановкой произнес:

– Печать-то ведь – сила! Так ли, отче?

Признаюсь, у меня даже в глазах зарябило от этого вопроса. Что-то далекое пронеслось передо мною, далекое, светлое, бодрое. Ни один из бывших свидетелей этого далекого – я не исключаю даже старших из Подхалимовых – не может вспомнить о нем без умиления. Где-то, когда-то я слышал эти самые слова, не в этой обстановке, не из этих уст, но слышал, несомненно, слышал. Я помню, что они поднимали мой дух и наполняли мое сердце сладостною тревогою. Эта тревога не обескураживала меня, а как бы даже подстрекала: вперед!

Вместе с другими я верил, что печать, есть сила и что этой силе суждено развиваться и сделаться несокрушимой. Быть может, – говорил я себе, – процесс этого развития совершится туго, не без горьких перипетий – пожалуй, даже не без утрат... Все это я допускал, но и за всем тем ни на минуту не переставал утверждать, что печать есть сила и пребудет ею вовек. И никогда я не предполагал...

Нет, никогда! никогда, даже в самые черные дни, я не мог представить себе, чтобы сила печати могла осуществиться в тех поразительных формах, в каких я узнал ее здесь, в эту минуту! Каким образом это случилось? Какое злое волшебство передало эту силу в руки Подхалимовых, сделало ее орудием для обложения сборами «брюханов»? Когда это произошло? и как-таки никто этой перестановки не заметил?

Очевидно, процесс перемещения новоявленной силы из одного центра в другой произошел постепенно и втихомолку. Первоначальные притязания печати, должно быть, оказались чересчур цельными и разномастными, чтобы привести к соглашению. Это было, впрочем, совершенно естественно, покуда речь шла о соглашении по существу. Но дело в том, что в пылу споров по существу утрачено было из виду,

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru что печать и сама по себе, в качестве общественной силы, требует ограждения, для всех мнений и партий одинаково обязательного. Даже в этом индифферентном смысле никакого соглашения не состоялось. Напротив того, в самом непродолжительном времени состоялись вероломства, предательства, отступничества, в сопровождении целой свиты легкомыслий, свидетельствовавших о полном отсутствии дисциплины. Распря, постепенно переходя с почвы принципов на почву уязвленных самолюбий, приняла наконец такие размеры, что в одно прекрасное утро на фронте храма печати сами собой выступили слова: образ мысли.

Принципы были побеждены, и в то же время всякая надежда, что слово «печать» когда-нибудь получит объединяющий смысл, исчезла навсегда.

Вот этот-то момент и подстерегали Подхалимовы. Они поняли сразу, что ни принципы, ни руководящие идеалы – не ко двору; что светоч мысли не освещает и не убеждает, а производит раздражение и панику, полную грядущих отмщений; что, следовательно, ежели печать хочет быть силою, то она должна отыскивать почву для этой силы в той низменной сфере, которая не оставляла бы никаких сомнений насчет ее принципиального ничтожества. А именно, в сфере мелочей, прожектерства и личного, так сказать, наглядно-физического обличения.

И вот сначала выступили Подхалимовы вчерашние, которые еще во дни возрождения руку набили. Выступили и поразили всех юркостью и непринужденною остротою ума. Они первые наглядно доказали, что можно жить и без принципов. За ними появились Подхалимовы нынешние, такие, у которых даже литературных преданий не было, а были только недюжинные способности по части исследования корней и нитей, шантажа и обескуражения «брюханов». Первые говорили: «Приятно этакой в некотором роде арбуз так щелкнуть, чтоб он по всем швам треснул!» Вторые прибавляли: «И при сем, чтоб у него из всех щелей ассигнации поползли».

– Нынче, я вам скажу, по умственной части тихо, – продолжал между тем Подхалимов, – зато бойко по части промышленной и коммерческой. Вот эту-то ноту мы и разрабатываем. Без содействия печати нынче ни одно промышленное предприятие шагу ступить не может. Вся возделывающая, производящая, эксплуатирующая и спекулирующая Россия раздробилась на бесчисленное множество клиентур, которые сами признали свою подсудность печати. Стало быть, речь идет только о качестве клиентуры. Кто покрупнее клиентуру захватит, тот и умница; но уж, во всяком случае, тут не фунтом икры пахнет, как во времена Булгарина.

– Однако, мне кажется, что ведь и разработка промышленно-торговых интересов, несмотря на свой специальный характер, не исключает возможности честного отношения к делу?

– Гм... миллионами ведь тут, отче, пахнет, миллионами.

– Помилуйте, Подхалимов! сами же вы сейчас рассказывали о репортере, который с похоронным счетом по «брюханам» путешествовал, – надеюсь, что ему и во сне миллионы не снились!

– Ах, что вы! разве я о нем! Ведь и в нашем деле есть табель о рангах, да еще престрогая! Один – к миллионам приставлен, другой – к сотням тысяч, третий – к тысячам, а четвертый – около десятков с удовольствием руки погреет.

– Но как вы не перегрызетесь друг с другом? Ведь досадно, я думаю, в четвертом-то ранге состоять да зубами щелкать, особливо ежели сознаешь себя способным и достойным.

– Не скажу, чтобы особенно было досадно. Тут судьба, и как-то сразу это делается понятным. Возьму для примера себя: я себе цену знаю, но только и всего. Не продешевлю, но и дорожиться не стану. Ежели дело не моей компетенции, я за него не возьмусь, а направлю по адресу. Есть «деятели печати» гораздо в худшем против меня положении, но и те, покуда здоровы, не ропщут. Вот ежели силы слабеть начнут – тогда капут. Но я лично могу и кризис выдержать: я и помимо репортерства работу найду. У меня – перо! а в наше просвещенное время это порядочная-таки редкость!

– Вот вы на эту другую работу и употребили бы ваше «перо»?

– Нельзя. Для этого нужно, чтобы в личном существовании человека решительный

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru переворот произошел. Наша деятельность вездичива; не результатами она заманивает – об результатах думать нет времени, – а самым процессом своим. В этот процесс вошло такое множество случайных и друг от друга не зависящих подробностей, что каждый день втягиваешь в себя по-новому. Я не работаю, а увлекаюсь. Увлекаюсь каждый день по-новому, не так, как вчера. Пишу и думаю: ну, теперь нужно полагать, что «он» восчувствует! «Он» – это мой сегодняшний избранник, которого я вчера и в уме не держал. Я не помню моего вчерашнего дня и не загадываю о завтрашнем; но сегодняшняя моя мысль вполне для меня ясна. Сегодня я создал себе последствия. Весело, бойко, неутомимо. Мне и работать весело... ежели я «в ударе». Ничто другое не привлекает, уйти от работы не хочется. Вот и судите теперь, легко ли при таких данных на другую работу перейти?

– Но ведь это своего рода хроническое опьянение, и я положительно не понимаю, каким образом оно может не изнурить. А сверх того, сдаётся мне, что для литературного деятеля не мешает подумать и о репутации порядочности, а такого рода работой ее не приобретаешь.

– Да, относительно низших классов ваше замечание справедливо. Мы, анонимная сила, действительно живем как в чаду, и об относительной ценности нашей знают только в редакциях да в нашем интимном кругу, да, пожалуй, еще в трактирах, где мы завсегдайствуем. Анонимами мы родились и анонимами же бовльшая часть из нас сойдет в могилу. Но о высших рангах – не говорите так. Те уж вышли из опьянения, а репутация пришла к ним сама собой, как приходит она ко всякому хищнику, который рвет крупные куски, а мелкими пренебрегает. Вы скажете, может быть, что эта репутация непрочная, фиктивная, – ну, да ведь ежели кто к потомству не апеллирует, тому и фиктивная репутация за настоящую сойдет. Действия этих высших деятелей розничной публицистики уже до такой степени говорят о выдержке, что они сумели создать в свою пользу особое право самопротиворечия, которое заранее гарантирует им свободу отступничества. Посмотрите, как какой-нибудь Скоморохов подступает к вопросу: точно кошка с мышкой играет. Сначала пробный шар пустит, будто стороной что-то слышал, и при этом сознается, что покуда еще не имеет достаточных данных для суждения. Затем слегка помолчит и опять попробует. Слева заглянет, справа пощупает, предоставит какому-нибудь добровольцу на задах нескладницу проурчать – и опять притворится спящим. И вдруг у него сердце защемило! И любовь к отечеству, и интерес к казне, и нужды промышленности – что в есть в печи, всё на стол мечи! Вопрос растет, и с каждым днем осложняется. Независимо от *pièce de résistance*, [14] появляются публицистические приправы: либерализм, нигилизм, упразднение властей и т. п. Это он пугает и в то же время товар лицом показывает. Наконец, когда приправа возымела действие, начинается «апофеоз»... Рыба клюнула; данайцы восчувствовали. Ибо ко всякому вопросу пригнана соответствующая рыбина, соответствующий данаец. Достигнув цели, газета временно успокаивается; репутация ее, в качестве узорешительницы, установлена, а заправили ее исподволь подыскивают новый вопрос и оттачивают перья для нового похода... Вот как идет дело в высших публицистических сферах. Тут уж не о скачущем штандарте идет речь, а о служении на чреде государственной; не статейками пахнет, а актами мудрости... черт побери!

– Прекрасно, но зачем же вы «черт побери» прибавили? ведь вы и сами в этом водовороте кружитесь... Как хотите, а неприятно поражает в вас эта двойственность!

– Привычка, отче; да, в сущности, и сказать что-нибудь другое трудно. Впрочем, не в том дело; надеюсь, вы теперь понимаете, что печать есть действительно сила, которую игнорировать не полагается. Только не та печать, по которой вы, государь мой, периодически тоскуете.

– Ну, да, разумеется, не та. Стало быть, вы в конце концов своим положением довольны?

– Не ропщу. У меня клиент, по преимуществу, мелкий. Один домогается благосклонного отзыва, другой – благосклонного умолчания, третий – и сам не знает, чего ему нужно. Вот Ончуков, например, который уж раз приходит, – всё спрашивает: ловко ли будет, ежели он по пятнадцати процентов в месяц станет с заемщиков брать?

– Неужели вы, однако, и эту «идею» в ваших передовицах проводить будете?

– Нет, он еще погодит; это он так, бескорыстного сочувствия ищет. Заметьте,

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru отче, что даже самый темный жулик – и тот жаждет, чтоб ему посочувствовали или, по крайней мере, хоть пожалели об нем. Один ему скажет: «Молодец!», другой:

«Э, да ты еще не совсем такой негодяй, как о тебе повествуют!» – он и доволен. Нет ничего тяжелее, как глотать втихомолку свои собственные мерзавства, – с этим уж только самые отпетые сживаются. Большинство ищет хоть частицу удручающего его негодяйства вынести на свет, чтобы облегчить себя.

– Но каким манером вы сходитесь с такими людьми?

– Вся моя жизнь на народе проходит – вот и схожусь. В трактирах, в судах, в участках, на конках – везде люди. Вся улица человечеством полна. Нужно же привести эту массу в известность, расчленить, разметить по группам. Я сознаю, что до сих пор совсем не это дело у меня на первом плане стояло, но уверен, что работа ассимилирования человеческого материала все-таки своим порядком идет. Может быть, этот материал соскользнет и бесследно, но, может быть, нечто и задержится. Провидения не искушаю, и кризиса, который сразу оборвал бы меня и заставил бы обратиться внутрь, – не призываю. Но ежели наступит критическая минута, я убежден, что найду свой материал налицо. И, быть может, буду в состоянии подлинную картину почтеннейшей публике предоставить. Только вот таланта хватит ли? или же то, что мы теперь называем талантом, есть не более, как усовершенствованное тряпичничество?

Высказавши последние слова, Подхалимов остановился, как бы сожалея, что чересчур уж далеко зашел в область самообличения. Я, с своей стороны, тоже понял, что, как ни затягивай беседы с Подхалимовым, результат получится только один: будет двоиться в глазах. В эту минуту он, пожалуй, и посентиментальничать был не прочь, а через полчаса блеснет в глаза подходящий сюжет, – и опять штандарт поскакал.

– Ну, прощайте, – сказал я, – желаю вам! Уж ежели вы сами специальную табель о рангах для себя облюбовали, то не задерживайтесь на низших ступенях, а держайте! Бесплодно на судьбу не ропщите – это и смешно, и неинтересно, – но и мироедам в зубы не смотрите. И ежели увидите, что из ропота может воспоследовать полезный для вас плод, то средством этим не пренебрегайте.

Возвращаясь от Подхалимова, я некоторое время чувствовал себя как в тумане. Я не только не разрешал себе вопроса о хищничестве, но даже перестал им интересоваться, забыл о нем. Совсем другая мысль назойливо билась в голове: откуда пришла и зачем понадобилась эта беспощадная жестокость в извращении внутренней сущности явлений, которые, будучи взяты сами по себе, занимают далеко не последнее место в ряду отличительных определений человеческой природы?

Что такое Подхалимов? – бесспорно, это восприимчивый, отзывчивый и очень даровитый человек. Вот определение, которое ближе всего подходит к нему, ежели отрешиться от того гадливого чувства, которое вызывается его практической деятельностью.

Восприимчивость и отзывчивость составляют едва ли не самое драгоценное достояние человека. Без них немислима ни деятельная честность, ни постижение идеи общего блага. Только восприимчивый человек может всего себя отдать на служение высшему идеалу; только в нем может созреть идея о человечестве и ожидающих его перспективах; только он способен возвыситься до самоотвержения. Признать законность самоотвержения как фактора человеческой жизнедеятельности – это уже значит внести в жизнь элемент правды и человечности; но познать на деле сладость самоотвержения – это значит дать такое доказательство превосходства человеческой природы, против которого не может быть и возражения.

Вот каким поистине поразительным проявлениям может дать начало человеческая восприимчивость; вот сколько света, тепла, бодрости она может внести в существование человека! И что же: та же самая восприимчивость помогает Подхалимову разбираться в сору постыднейших отбросков, прилепляться к ним всем существом, перебегать от одного хищника к другому, встряхивать рыночных «брюханов», поднимать на смех «простофиль», тешить их бесплодными фикциями. Жарь, жарь, жарь...

Понимает ли Подхалимов, что он лжет, или не понимает? Участвует ли хоть капля сознательности в той фальши, которую он распространяет вокруг себя, или эта

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
фальшь льется из него сама собой, как льется вода из незапертого крана?

Но какой странный, почти невероятный процесс перерождения должен был произойти в промежутке двух полюсов, чтобы вместо служения высшим идеалам получалось подлавливание подходящих сюжетцев, вместо самоотвержения – вышучивание «простофиль»!

Кто виноват в этом превращении? Как оно создалось? Ссылаются обыкновенно (и, пожалуй, не без основания) на общее падение нравственного уровня; но в этом-то падении кто виноват?

Точно то же следует сказать и о даровитости. Даровитость племени делает его светочем мира; даровитость отдельного индивидуума делает его светочем страны. При низком уровне даровитости нет ни хорошего управления, ни умственной жизни, ни материальных успехов, ни развития. Нет цветения. Все блага, которыми в данную эпоху пользуется страна, приносятся ей даровитостью сынов ее; а жажда этих благ так жива и естественна, влияние их на расширение жизненных горизонтов так бесспорно, что это одно вполне объясняет, почему даровитые люди занимают исключительное положение в среде своего народа и общества.

И вот перед нами экземпляр несомненно даровитого индивидуума, – Подхалимов! Экземпляр, который, кроме вольного обращения, распутства и полного индифферентизма в деле убеждений, ничего другого стране своей дать не может! Не колдовство ли это?

В последнее время чаще и чаще приходится слышать жалобы на оскудение русской литературы. Говорят: старые таланты допевают свои последние песни, новых – не нарождается. Тут и адвокатуру приплетают, и педагогическую деятельность, и другие более или менее доступные профессии: вот, дескать, куда ушла даровитость русского культурного человека. Но, по моему мнению, во всех этих жалобах и ссылках нет ничего, кроме недоразумения. Прочитайте любое из под-халимовских упражнений, которые он с такою легкостью из себя ежедневно выливает, точно у него в запасе неистощимая бутылка, – и вы в каждой строке найдете больше таланта, больше жизненной образности, нежели во всех «последних песнях» потухающих стариков. Не об отсутствии даровитости идет речь, а об том, что Подхалимов сумел дать своему таланту омерзительную, гнусную, бесчестную окраску. И не в том беда, что он разменял себя на мелочи, – он справедливо выразил в разговоре со мною уверенность, что работа ассимилирования человеческого материала идет в нем своим чередом и даст в свое время плод, – а в том, что эти мелочи до такой степени запакошены, до того провоняли, что подло к ним близко подойти.

И такой же, ежели не горший, плод даст и происходящий в нем процесс ассимилирования человеческого материала. Очень возможно, что в результате этого процесса окажется картина очень широкая и написанная рукою мастера; но каждый штрих ее будет запечатлен подлостью и тем обязательным присутствием низменности, которую приводит за собой продолжительное и упорное общение с постыднейшими проявлениями торжествующего бесстыжества.

И опять те же вопросы: кто же виноват в этом перерождении? Каким образом оно создалось? Ежели же и тут непосредственным виновником окажется упадок общего нравственного уровня, то кто в этом упадке виноват?

Публичность, которую мы пользуемся, чересчур скудна. Вся она сосредоточивается в печати, а печать, по обстоятельствам, всецело эксплуатируется Скомороховыми и Подхалимовыми. Все, что мы знаем о нашей родной стране, – все выходит из этого источника. Скоморохов – явно лжет и подтасовывает; Подхалимов – неизвестно чему веселится и скачет с штандартом. Скоморохов, под видом защиты принципов порядка и устойчивости, бессовестно пользуется ими в качестве полемического приема, чтоб зажать рот своим противникам; Подхалимов – от всяких принципов отшучивается и напрямки заявляет, что, кроме уныния и скуки, ничего они обществу дать не могут. Таковы установившиеся нравы, а последние, в свою очередь, определили и отношение печати к читателю. Читатель – это «простофиля», который обязывается оставаться в угаре недоумения и неведения.

И за всем тем, Подхалимов сказал правду: никогда печать с такою резкостью не заявляла о своей силе. Но какая печать? и какого качества ее сила? – вот в чем вопрос.

ПИСЬМО VI

По вторникам у генерала Чернобровова устраивались интимные рауты. Генерал был отставной и старенький, лет под восемьдесят. В свое время и полком командовал, и по инфантерии числился, и губернатором был, а потом его обидели. А он – простил. Получил пенсию, да аренду, да «так», и поселился на Песках. Семейства у него не было, кроме старушки жены, которая лет сорок тому назад от советников губернского правления амурные письма на златообрезной бумаге получала и тоже давно всем простила. Жили они скромно, но без нужды, и по вторникам (через два в третий) устраивали вечеринки.

Собирались на эти вечеринки, по преимуществу, старые губернаторы. Генералы: Краснощеков, Пучеглазов и Балаболкин. Тайные советники: Гвоздилов и Покатилов. Из не-губернаторов рауты посещал инженер-полковник Купидонов, который в древности первые мостки через Неву построил, да статский советник Набрюшников, который, с писарских чинов, вместе с Покатиловым, в качестве наперсника, всю службу проделал. Купидонов обыкновенно привозил генеральше сюрприз: либо икры зернистой, либо семги, либо копченого сига, и за эту галантерейность играл в компании роль молодого человека, что, впрочем, очень к нему шло, потому что он обыкновенно приходил в лосинах. Набрюшников не приносил ничего, кроме преданного сердца и замечательно исправного аппетита. Всех их в свое время обидели, и все они простили, кроме, впрочем, Набрюшникова, который за себя простил, но за Покатилова – никогда-с!

Люди эти были и различного происхождения, и различного воспитания, но их соединило, с одной стороны, общее губернаторство, с другой – общая обида. Чернобровов, Краснощеков и Покатилов были настоящие столбовые, имели приличные и благосклонные манеры, хранили предания дворянской изнеженности и любили пофрондировать. В древности таких губернаторов ценили и называли «хозяевами». В частности, Чернобровов славился открытою физиономией, с помощью которой так искусно управлял вверенным краем, что только через двадцать лет понадобилось отправить туда сенаторскую ревизию. Краснощеков славился пылкостью. Наскочит совсем не на того исправника, на которого нужно, обругает, но, как рыцарь, первый сознает свою ошибку и скажет: «Ну-ну, ничего! вперед пригодится!» Покатилов – был умница, и рапорты его приводили сенат в восхищение (один из местных садоводов даже одну разновидность георгины в честь Покатилова назвал «утешение сената»). Так что когда их в ту пору разом, в числе двадцати генералов, обидели и он приехал в Петербург объяснить: за что? – то ему только одно слово и сказали в ответ: «так». С этим он и отъехал.

Все трое были женаты на родных сестрах: Прасковье Ивановне, Лукерье Ивановне и Людмиле Ивановне, вследствие чего и губернии, которыми управляли их мужья, назывались их именами: Парашина, Лушина и Милочкина.

Гвоздилов был происхождения темного, характер имел угрюмый и вступал в собеседование урывками, как будто знал за собой какое-то необыкновенно постыдное дело и боялся проговориться. Был слух, будто он с откупщиком повздорил. Он утверждал, что откупщик ему фальшивую десятирублевую бумажку всучил, а откупщик горбил, что отдал всё по чести как следует, а сам-де губернатор свою собственную фальшивую бумажку всучить хочет. Тогда Гвоздилов нагрянул на откупщика в подвале, а откупщик в Петербург уехал, и через месяц – Гвоздилова обидели. В древности о таких губернаторах говорили: «У нас губернатор и на губернатора-то не похож». Пучеглазов и фрол Терентьич Балаболкин были выслужившиеся кантонисты аракчеевской школы, которые вместо носков носили онучи, а деньги прятали за голенище; впрочем, под старость, из всего губернаторского прошлого они помнили только одну фразу: «Направляй кишку в огонь! направляй!» В древности о таких губернаторах совсем ничего не говорили, а только ожидали, что еще немножко – и ось земная либо переломится, либо покривится. Что касается до Купидонова, то он в 805-м году был найден принцем Оранским в корзинке на мосту и в той же корзинке был сдан в институт путей сообщения, с тем, дабы, по пришествии в совершенные годы, употреблять его для постройки мостов.

Тем не менее повторяю: несмотря на различие воспитания, происхождения и характеров, все эти люди соединялись под одним знаменем во имя общей обиды, которую они, впрочем, простили.

От времени до времени на этих раутах появлялся еще кузен хозяйки, действительный тайный советник Крокодилов, человек сравнительно не старый (лет под шестьдесят),

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru но до того уже исслужившийся, что желудок у него ничего, кроме кашицы из свода законов, не варил. Но он оставался не больше получаса. Посидит, выпьет чашку жиденького чая и спешит дальше, потому что ему надо карьеру делать.

Итак, соберутся часам к восьми все восемь генералов, сначала досыта наиграются, потом сядут за ужин и начнут припоминать. Припоминают прошлые деяния, приводят примеры губернаторской осмотрительности, дипломатической тонкости, распорядительности и благоразумной экономии; сами с собой полемизируют, но не настойчиво, а больше затем, дабы в полемике еще вящее к прославлению прошлого основание почерпнуть; сравнивают прошедшее с настоящим и, надо сказать правду, порядочные-таки недочеты в последнем усматривают. Но не сквернословят прямо, а только правду говорят да от времени до времени вздыхают: людей нет! Наговорятся, наедятся и разбредутся, часу в первом, по Пескам.

Живя с Чернобрововыми на одной лестнице, дверь против двери, я знал об этих раутах и, разумеется, горел желанием попасть на них. Во-первых, хотелось мнения солидных людей о современной политике знать: как и что; можно ли ожидать или совсем нельзя. Я у кормила никогда не стаивал, а они целую жизнь всё по морю – ах, по морю, да по хвалынскому, в косной лодочке погуливали, да и причалили наконец благополучно к Пескам. Понятно, что у них сформировался взгляд, а у меня не сформировалось ничего. Во-вторых, мне всего шестьдесят лет, а им каждому под восемьдесят катит – сколько ума в этот двадцатилетний период накопилось? А в-третьих, и купидоновской икры хотелось отведать, а если бог поможет, то и обыграть стариков гривен этак на шесть. Словом сказать, я и спал и видел, как бы в компании с хорошими людьми посидеть и заодно с ними портить воздух сетованиями и воздыханиями.

А так как я каждодневно встречался с генералом на лестнице, то, вероятно, и он наконец догадался, что у меня сердце не на месте. По крайней мере, утром, в один из вторников, кухарка моя предварила меня: «Вас нынче будут к генералу на вечер звать».

А через час, когда я встретился с генералом на подъезде, он, после обыкновенных приветствий, благосклонно протянул мне руку и сказал:

– Чтов бы вам, молодой человек, по-соседски... вечерком? Поиграем, попьем, поедим, с Прасковьей Ивановной познакомитесь. У вас еще целая жизнь впереди – может быть, и полезное что-нибудь от стариков услышите. Прошу.

Разумеется, я не преминул. В восемь часов завсегда таи были уже налицо, а из женского пола, кроме хозяйки, присутствовали еще сестры ее: Людмила Ивановна Краснощекова и Лукерья Ивановна Покатилова. Как я уже сказал выше, все три были в свое время губернаторшами, и, следовательно, все три вкусили сладостей и отрав власти.

Когда я появился, беседа была в полном ходу. Лукерья Ивановна рассказывала, как она однажды в Москву из «своей» губернии ездила. Сначала по своей губернии ехали – ну, натурально... «Тише, сумасшедшие, тише! куда вы сломя голову летите!..» – «Не беспокойтесь, ваше превосходительство, мы в ответе!..» – «Ну, коли так, бог с вами; поезжайте!» Потом въехали в губернию к генералу Колпакову, – ну, и натерпелась же она тут! Ямщики закладывают – не закладывают; смотрители – ну, буквально, ходя спят! лошади бегут – не бегут... Исполать вам, ваше превосходительство, одолжили! нечего сказать, в порядке свою губернию содержите! И вдруг... Милочкина губерния пошла! Полетели! ну, так летели, так летели! это... это... ну, просто какое-то волшебство! Но только если бы сломалась ось... ах!

– Да, были лошади! были! – отозвался генерал Краснощек, – и лошади были, и колокольчики были, и езда была, и ямщики были! Все было!

Он на мгновение поник головой и многозначительно, густой октавой, присовокупил:

– И страх был.

– А страх божий есть начало премудрости, – вставил свое слово генерал Чернобровов.

– Божий страх – это само по себе, – возразил Краснощек, – это ежели кто к обедне ленится ходить – ну, того действительно припугнуть не мешает... Но страх

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
вообще – вот что важно!

– Притом же – не знаю, как теперь, – а в наше время страх божий епархиальному начальству подведом был; следовательно, и вмешиваться в пределы чужого ведомства губернатору не подобало, – присовокупил «умница» Покатилов.

– А помните, сестрица, как, бывало, флигель-адъютант к рекрутскому набору приедет! – сменила Лукерью Ивановну Прасковья Ивановна. – Ах, что это за приятный гость был! Только при них, бывало, и отдохнешь... особенно граф Вьюшин-Стречков! Никогда об этих противных делах – всегда около дам! «Mesdames! нынче в Петербурге платья совсем в обтяжку носят; mesdemoiselles! нынче шестую фигуру совсем не так танцуют! Les messieurs en avant! Chaîne des dames! balancez! messieurs saluez vos dames... c'est ça!»[15] Мужья, бывало, трепещут; Степан Михайлович мой подойдет ко мне и шепчет: «Помилуй, матушка, ведь это око царево», – а я и в ус себе не дую! «Граф! извольте-ка распорядиться, чтоб пятую кадрили начинали!» – «Madame, je suis sur les dents!»[16] – «Ну, что с вами делать, противный: садитесь... вот тут! Хотите, Сонечку Волшебнову позову... признайтесь, ведь влюблены? Сонечка, mon enfant!»[17] садитесь вот тут, рядом с графом, да постарайтесь, чтобы ему не скучно было!» Усадишь их, а сама пойдешь кавалеров своих побранить. Ах, господа, господа! девицы одни ходят, а вы забрались в угол да анекдоты рассказываете... хоть бы вы с графа пример брали! Музыканты! вальс!

– А помните катанье на масленице в *traineau monstre*![18]

– А пикники в загородном саду! А балы во время выборов! И вдруг, в самый разгар бала, полицеймейстер: «Ваше превосходительство! в Раздерихинской слободе пожар!» – «Это в овраге?» – «Точно так, ваше превосходительство!»

Под шумок этих разговоров Набрюшников распечатывал карточные колоды и усаживал игроков. Усадили и меня, как младшего, с дамами, по сотой. Но генерал был прав, предваряя, что я вынесу из его раута много полезного для себя. В каких-нибудь полчаса я уже узнал главные основания, на которых зиждилась дореформенная губернаторская власть. А именно: страх (впрочем, не божий, а вообще), быстрая езда на почтовых, поддержание в обществе единодушия, при содействии пикников, и пожары, – и все шло прекрасно.

Я не стану распространяться о том, как мы играли в карты и какие при этом происходили интересные (а иногда даже и странные) случаи. В десять часов старики начали уж зевать, и все поспешили за ужин. Обыкновенно в это время генералы ложились спать, но по вторникам позволяли себе небольшую льготу, поочередно собираясь, для критики существующих установлений, то у Чернобрововых, то у Краснощековых, то у Покатиловых, так как прочие были люди бессемейные, а Купидонов, кроме того, вел дома предосудительную жизнь.

За ужином я познал и еще одну руководящую истину, но она уже касалась не оснований дореформенной губернаторской власти, а тех, на которых зиждется отставное человеческое существование вообще и губернаторское в особенности. А именно: из всех присутствующих только бывшие кантонисты Пучеглазов и Балаболкин рвали твердую пищу зубами, прочие же сосали, так что когда наконец подали манную кашу, то у всех из груди вырвался крик восторга.

Когда первые требования аппетита были удовлетворены, началась критика существующих установлений. Было что-то трогательное в этих стариках, которые могли бы еще послужить, если б не были так безвременно остановлены в самом пылу своего административного бега. И что всего печальнее: судьба, лишившая их возможности совершать славные деяния, не лишила их памяти. Они всё помнили, всё до последней нитки, даже бумагу, на которой печатались губернские ведомости, – и ту помнили. Только у кантонистов память, по-видимому, совсем отшибло; но и они, разрывая зубами пищу, потихоньку бормотали: «Направляй кишку! направляй, направляй, направляй!» Стало быть, и они нечто представляли себе: пожар, драку, вообще что-нибудь такое, на что, по преимуществу, было направлено их административное остроумие. Впрочем, нужно сказать правду: во время диспутов кантонисты большею частью дремали.

Рассмотрение современных установлений началось с того, что Гвоздилов сообщил вычитанный им в газетах слух о том, что действия комиссии Несведения концов с концами в непродолжительном времени имеют вступить в новый фазис. Высказавши

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru это, Гвоздилов, однако ж, вспомнил, что у него на душе лежит постыдное дело, и умолк. Но искра была уже брошена и, разумеется, сейчас же произвела в сердцах соответствующее воспламенение.

– Вот они у меня, эти комиссии, где! – первый воскликнул генерал Краснощеков, ударяя себя кулаком по затылку.

Но Краснощеков был пылкий, и потому мнения его авторитетом не пользовались. Чернобровов первый не согласился с ним.

– Не в комиссиях сила, – возразил он резонно, – а в том, какие комиссии, в какое время и на какой предмет. Кто суть члены? своевременно или преждевременно? Поставлен ли вопрос прямо: вот вам предмет, рассуждайте! – или же о предмете умолчено? Ежели все сие предусмотрено, взвешено и определено, то почему же комиссиям и не быть?

– Да уж дождемся мы когда-нибудь с этими комиссиями... – продолжал кипеть генерал Краснощеков; но Чернобровов вновь и столь же солидно остановил его.

– Позвольте, Капитон Федотыч, так сгоряча нельзя. Критический взгляд необходим, но на какой предмет и в какое время? Сегодня мы будем говорить сгоряча, завтра сгоряча – когда женибудь и опомниться надо! И в наше время нередко бывали комиссии – вспомните-ка! Но какие комиссии? – в этом-то и загвоздка. Скажу вам из собственной практики случай: я сам в одной комиссии участником был и очень хорошо помню. Собрали нас в ту пору сорок семь полковников, положили перед нами два пистолета: один кремневый, другой ударный – который лучше, господа? Не вопрос о пистолетах предложили, а прямо так-таки в натуральном виде два пистолета: тот или другой? А при сем особом содержании за присутствие не присвоили, чаем не поили, табаком не потчевали, а посадили старого генерала презусом и сказали: сидите и дело делайте. Так и тут один молодой полковник выискался, который чуть было нас всех не подкузьмил. «Позвольте, говорит, ваше превосходительство, взгляд на славное историческое прошлое бросить!» – «Извольте, говорит презус». – «Известный законодатель Ликург...» – «Те-те-те! нет, это уж аттанде-с!.. вот вам пистолет...» – «Ваше превосходительство! только на минуточку!» – «Извольте, что с вами делать! Говорите, но не задерживайте!» – «Затем, когда несметные полчища татар...» – «Позвольте, об татарах мы с вами на досуге побеседуем, а теперь извольте говорить по долгу присяги, не обинуясь: вот два пистолета – который лучше?» – «Вот этот-с». – «Садитесь. Следующий!» И всех таким образом в одночасье окрутил. «Следующий, следующий, следующий!.. Считайте, господин секретарь, голоса!» Стали считать – никак сосчитать не могут: всё выходит поровну. А презус, между прочим, своего голоса не подает. – «Не хочу, говорит, греха на душу брать! А вот, говорит, мы что сделаем: позвать фельдфебеля Охременко! Охременко! какой пистолет лучше?» – «Как же возможно, ваше превосходительство, сравнить!» – «Господин секретарь! извольте записать в журнал: вот этот!» Написали журнал, мы в тот же день его подписали, на другой откланялись – и по домам!

– Да, были комиссии, были! – согласился генерал Краснощеков, – и комиссии были, и исправники были... все было! И страх был.

К сожалению, Чернобровов увлекся воспоминаниями и продолжал:

– И что же, сударь, потом случилось! Пошли мы с этими пистолетами под Севастополь – смотрим, а нам комиссариат, вместо кремней, чурки крашенные поставил! А должно вам сказать, что перед этим все адреса подавали, а между прочим и комиссариатские чиновники... «Станем грудью... докажем врагу... до последней капли крови...» Ну, мы идем и думаем: неужто ж после такого, можно сказать, всенародного заявления они с нами подлость сделают? Начали палить – щелкают наши чурки, а пальбы нет! Тут-то вот и оказалось...

Только тут Чернобровов спохватился, что, кажется, через край уж хватил. С минуту смотрел он на всех удивленными глазами, как бы спрашивая самого себя: что такое я слышу? Однако помолчал, помолчал и поправился.

– Вот и выходит, – заключил он, – не в том сила, что комиссия, а в том, какая комиссия и на какой предмет!

– То-то, что нынче комиссии-то... – начал было Гвоздилов, но вспомнил, что у него

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru на душе постыдное дело, обробел и умолк.

– Знаю я это и не одобряю. Конечно, если б и перед нами не положили прямо вот этих двух пистолетов, а сказали: рассуждайте о пистолетах вообще, а между прочим и о тесаках, – весьма возможно, что и мы бы изрядный огород нагородили. Но именно этого-то и умели в старые годы избежать. Ежели речь о пистолетах шла, так именно вот об этих; ежели об административных предметах – так вот об этих. Вот как. Но, разумеется, ежели каждый член комиссии, пользуясь сим случаем, будет о своих собственных душевных ранах говорить, – а именно сим личным характером и отличаются нынешние комиссии, – то понятно, что конца-краю разговорам не будет!

– Я слышал, – сфискалил Набрюшников, – что недавно в этой самой комиссии один член говорил, говорил, а остановиться не может. Наконец до того договорился, что даже Анна на шее у него покраснела. Смотрят – ан с ним истерика!

– Это дело возможное, – подтвердил Чернобровов, – а я о чем же говорю? О том именно я и говорю, что ежели комиссия, то нужно прежде всего определить: для чего, по какому случаю и на какой предмет. Вот вам два пистолета – и кончен бал. И чтобы без статистики. Вы только одно сообразите: нынче иной шутя слово кинет, да возьмет да статистикой его пригвоздит: свиней столько-то, баранов столько-то. Статистику-то эту он сам, едучи дорогой, сочинит, а смотришь, и настоящую статистику потревожить нужно, чтобы слова-то эти к настоящему знаменателю привести. Приедет он из Чухломы – готовь для него одну статистику. А там, гляди, из Наровчата другой едет – и для него опять готовь статистику. А статистика-то ведь времени требует, поди-ка над ней посиди! А ему что! он кидает себе да кидает словами, и очень рад.

– Я бы, с своей стороны, со всеми этими комиссиями строго поступил, – отозвался умный Покатилов, – рассадил их по комнатам, содержание прекратил, запер на ключ, да и ушел. Вот вам, сидите, покуда не кончите.

– И кончили бы! – сочувственно откликнулся Набрюшников.

– Направляй кишку! направляй! – вдруг без всякого резона крикнул Пучеглазов, так что все вздрогнули.

– А я о чем же говорю? – возобновил собеседование Чернобровов, когда первое впечатление испуга прошло. – Объясните предмет, говорю я, и очертите круг (генерал очертил пальцем на скатерти круг); вот здесь! и чтобы за пределы этого круга – ни-ни! Или тот пистолет, или этот, а не пистолеты вообще. И при сем чтобы в срок. Кончите в срок – исполать! Не кончите – стыдно, сударь! В старину так оно и бывало. Скажут: стыдно – и понимаешь, что стыдно. А нынче слово-то это в забвение пришло; скажут ему, а он только кудрями встряхнет.

– И прежде – не всегда... – чуть-чуть не проговорился Гвоздилов, но вспомнил и замолчал.

– Многого нынче не понимают! многого! – прогневался Краснощеков, – я помню, когда я губернатором был, так за версту, бывало, становому погрозишь, а он уж понимает! Тридцать верст не кормя во все лопатки улепетывает, и всё не может пальца этого позабыть!

– То было время, а теперь другое, – резонно пояснил умный Покатилов.

– Какое такое особенное время? И тогда было время, и теперь время – все времена одинаковы!

– Ну, что уж тут, друг мой! – вступился Чернобровов, – что правда, то правда! Темпо... Темпо... Набрюшников! скажи, братец!

– *Tempora mutantur, ваше превосходительство, et nos mutamur in illis.*[19]

– Слышишь, мой друг! А по-русски это значит: капельмейстер другой темп взял, и мы по-другому восплясали... Что делать! Когда мы у кормила стояли, губернаторская-то власть...

Чернобровов вздохнул и умолк; но сделанное им напоминание уронило новую искру в

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сердца и причинило новое воспламенение. На арену выдвинулась новая неизбывная рана, в форме вопроса о губернаторской власти.

Все помнят, как волновал этот вопрос русское общество в половине шестидесятых годов. Теперь он несколько поутих; но тогда образовалась целая публицистическая доктрина, которая называла себя последним словом науки и которая без обиняков вопияла: дадут губернаторам власть (почему-то вдруг всем показалось, что это самые беззащитные существа) – и всё процветет; не дадут – и всё завянет.

Если не дадут – произойдет бесплодная и иссушающая централизация; если дадут – произойдет умеренная, но плодотворная децентрализация. Что лучше?

Взгляните на Соединенные Северо-Американские Штаты – пример, наиболее для нас подходящий. А с другой стороны, примите в соображение пагубные результаты, которые произвело ограничение губернаторской власти во Франции. Сам Наполеон III понял это. А Токевиль подтвердил, Монталамбер присовокупил, и Гнейст запечатлел. Что касается до губернаторов того времени, то о них и говорить нечего: все они в один голос утверждали, что Токевиль прав. Не помню, что именно я лично тогда об этом вопросе думал – кажется, впрочем, надвое: и так хорошо, и этак недурно, смотря по тому, как лучше; но, во всяком случае, внезапное возобновление забытых дебатов на Песках, в ночную пору и в сейчас описанной обстановке, до того живо воскресило в моей памяти недавнее прошлое, что я в одну минуту помолодел и весь превратился в слух. Как и следовало ожидать, застрельщиком в данном случае явился «умница» Покатилов.

– В наше время, – сказал он, – губернаторская власть стояла твердо, но в то же время была свободна от нареканий, ибо находилась в пределах и требовала осмотрительности.

Сказал и умолк. И все присутствующие, не исключая даже кантонистов, утвердительно покачали головами, как будто для них быть осмотрительными столь же легко, как для обыкновенного обывателя быть твердым в бедствиях.

Но на меня эта *profession de foi* [20] произвела удручающее впечатление. Признаюсь откровенно, с некоторых пор я смотрю на твердость власти совсем другими глазами.

Во-первых, я не только не смешиваю власти с осмотрительностью, но, напротив, вижу в последней некоторое преткновение; во-вторых, о пределах я даже и не мыслю: до такой степени самое упоминание о них представляется мне несвойственным. И всем этим я обязан «последнему слову науки», выработанному современной русскою публицистикой.

Ступит на горы – горы дрожат,

Ляжет на воды – воды кипят.

Вот в каком виде понимает власть «последнее слово науки», и в каком не перестает рекомендовать ее русская публицистическая доктрина, начиная с шестидесятых годов. Последняя советует, от времени до времени, даже не без умысла допускать известную дозу неосмотрительности, дабы с ее помощью осуществить твердость власти в принципиальной ее чистоте. И я не только разделял это убеждение, но вместе с Токевилем восклицал: катать так катать! По-американски: *ait right!* [21]

Несомненно, что дореформенная власть была обставлена очень серьезными осложнениями; но несомненно и то, что осложнения эти не способствовали ее развитию, но составляли большое место, против которого и протестовало последнее слово науки. И что ж! Именно в пользу этих-то осложнений и раздалось здесь прочувственное слово! Где раздалось? – в среде одряхлевших и обиженных старцев, которые, по самой природе своей, скорее должны быть склонны к упрощению, нежели к усложнению!

– Позвольте, ваше превосходительство, – обратился я к Покатилову, – с одной стороны, твердость власти, с другой – пределы... осмотрительность... что-то я не понимаю! Так ли это? Не говорит ли нам последнее слово науки, что осмотрительность равносильна колебанию и что для освежения власти, от времени до времени, не бесполезно даже с умыслом выходить из пределов осмотрительности?

– Например-с?

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Допустим, например, что исправник, в видах испытания, предпримет мероприятие...

– Зачем-с?

– Положим, хоть бы для того, чтобы доказать, что распоряжение, даже и не вполне законное, должно быть выполнено...

– Всенепременно-с. Ежели распоряжение последовало, то оно должно быть выполнено. Но зачем же непременно незаконное? Почему не начать прямо с «законного»-с?

– Зачем? Почему? Да просто вздумалось, захотелось. Взял да и сделал!

– Направляй кишку! направляй! – гаркнул спросонья Балаболкин (точно он слышал мои слова и хотел выразить мне сочувствие), но так громко, что с Людмилой Ивановной сделалось дурно.

– Ты бы, фрол Терентьич, потише бредил! ведь этак нетрудно и навек человека уродом сделать! – вскинулся Краснощеков на оторопелого кантониста и затем, обращаясь ко мне, прибавил: – Есть в ваших словах некоторое основание, молодой человек, есть!

– Твердость власти и осмотрительность! – продолжал я, поощренный сочувствием Краснощекова, – но ежели я, облеченный властью, не обладаю осмотрительностью, ежели природа не наделила меня этим даром? Ежели, напротив, она наделила меня рыцарскою пылкостью и способностью следовать первым необдуманым движениям благородного сердца? Ужели я из-за этого навсегда должен быть лишен возможности осуществить власть?

– На это я могу вам, молодой человек, сказать следующее: в наше время даже лишенный осмотрительности человек силою вещей становился осмотрительным или, по крайней мере, вынужден был неосмотрительности своей давать другое назначение. Да-с.

И видя, что лицо мое продолжает выражать недоумение, умница поднял кверху указательный палец и продолжал:

– Обстановка была – только и всего.

И затем начал по пальцам пересчитывать:

– Губернский прокурор был – раз-с; губернский штаб-офицер был – два-с. Вот вам, с первого же абцуга, два лица, у которых и обязанностей других не было, кроме одной: неослабно иметь в виду начальственную неосмотрительность.

– Вспомните, однако, ваше превосходительство, что ведь, в сущности, это был лишь источник пререканий, который и начальство немало огорчал!

– Действительно-с. Именно так эти действия и назывались. Но в наше время слов не боялись, ибо всякому было ведомо, что за пререканиями скрывается власть, сама себя проверяющая. Если б не существовало пререканий, какое зрелище представилось бы глазам нашим? Не знаю, как вы на этот предмет смотрите, но я весьма опасаюсь, что мы увидели бы пространство, отданное в распоряжение неосмотрительному человеку, который ни сам себя сдержать не в силах, ни обстановки под руками не имеет, которая благовременно его в чувство привести бы могла!

– И сколько мы видим примеров... – начал было Набрюшников, который, в качестве доброго подчиненного, до сих пор преимущественно помаваниями головы свидетельствовал о своем сочувствии, но теперь, очевидно, не мог уже сдерживать постигшего его умиления.

– Я не вижу даже надобности скрывать, что и на самом себе эти примеры испытал, – прервал его Покатилов. – Расскажу вам, какой однажды со мной случай был. Задумала моя Лукерья Ивановна пикник в загородной роще устроить. Прекрасно. Выдумали они там дроги какие-то необыкновенные, чтоб полгорода на них усадить, и натурально ко мне: позволь да позволь в эти дроги пожарных лошадей запречь! Я – туда-сюда; однако переговорил с полицимейстером, тот, с своей стороны, обнадежил, – бери, матушка! А на другой день ко мне штаб-офицер: «Но ежели,

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru говорит, пожар?» Я опять туда-сюда: и полициеймейстера за бока, и почему же, говорю, так-таки уж непременно и пожар? – а он уперся на своем: «Но ежели, говорит, пожар?» И что же-с! подосадовал я, признаться, однако вижу: полковник-то ведь прав! Протянул ему руку и говорю: благодарю, полковник! если б не вы, я, быть может, против закона бы поступил! Позвольте вас спросить: так ли мне следовало, на основании «последнего слова науки», поступить?

– По моему мнению, на основании последнего слова науки, полковнику никогда бы и в голову не пришло настаивать в таком деле, которое вам лучше известно.

– И я полагаю, что по нынешнему времени он бы не настаивал. Но в старые годы так не полагали; а если б полагали иначе, так управляемым и деваться, пожалуй, было бы некуда. – А в скором времени после того и другой казус со мной случился. Открылась в городе вакансия частного пристава, а меня кума давно уж о месте для мужа просила. Вот я и говорю ей: с богом, кума! А на другой день ко мне прокурор прикатил. «Это, говорит, духовная симония! Я, говорит, обязан буду донести!» Ну, и тут опять: подосадовал я, подосадовал, да и должен был согласиться, что прокурор прав! Как об этом новая наука-то ваша говорит?

Я хотел ответить, что такие действия наука называет расхищением власти; но величие покатиловской души до того подавило меня, что я безмолвствовал.

– А я вам скажу, как она говорит, – продолжал неумолимый старик, – она видит в таковых поступках противодействие... А наша, старинная, наука видела в них содействие, и лиц, на которых это содействие было возложено, именовала «надзором». Да-с, было такое слово в старину, которое ныне даже у старожилов из памяти исчезло. И начальство, с своей стороны, ежели и огорчалось, как вы говорите, пререканиями, то огорчались больше столоначальники, коим приходилось таковые разрешать; настоящее же начальство, напротив, радовалось, ибо знало, что ежели власть в соответственном виде проявлять себя желает, то надзором за подчиненными ей органами она не подрывает, а укрепляет себя. Может быть, это укрепление устроено было на старинный манер, но все-таки оно существовало, и никому в голову не приходило сказать, что оно не укрепление, а потрясение. Позвольте спросить: чтов, ежели бы я, воспользовавшись последним словом науки, поехал на пожарных лошадях на пикник, а у меня бы в это время полгорода огнем бы выдрало? Или если бы я, по слабости человеческой, губернию куме предоставил, а она, в свою очередь, прочим кумовьям ее раздарила? Утешительный ли бы получился от сего для начальства результат?

Вопрос был поставлен так решительно, что даже кантоницы испугались и вытаращили глаза, а генерал Краснощеков, который в свое время, вероятно, не раз отдавал губернию на подержание куме, смутился и молчал. Что касается до Набрюшникова, то он находился в таком восхищении, что без слов декламировал руками.

– Но ведь несомненно, что подобные действия, рано или поздно, и сами собой вышли бы наружу, – попытался я возразить.

– Сами собой-с? или, говоря другими словами, при помощи скандала-с? через посредство газетных корреспондентов-с? Покорнейше благодарю-с.

Умница привстал и поклонился; за ним, машинально, тот же жест повторил и Набрюшников.

– Но разве непременно необходим скандал? а келейно?

– Нельзя-с. Коль скоро обстановка нарушена и некому, в законном порядке, начальственную неосмотрительность ограничить, другого выхода, кроме скандала, нет-с. Да в наше время, признаться, келейностей-то и не признавали. Открыто действовали, не опасались. В сорок седьмом году, когда Фрол Терентьич Балаболкин по неосмотрительности три четверти города спалил, а остальную четверть, по строптивости характера, в кандалы заковал, прислали за ним из Петербурга фельдъегеря, посадили в тележку и увезли-с.

Все взоры на минуту устремились на Балаболкина, который, не подозревая, что о нем идет речь, тяжело сопел и в полудремоте бормотал: «Направляй кишку! направляй! направляй!»

Лицо его было бледно, как бы измучено, и в то же время выражало совсем

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru нерезонную непреклонность. С первого взгляда по этому лицу нельзя было угадать, что именно этот человек в состоянии предпринять, но ежели скажут – всему поверить можно. Что касается до меня, то в свое время и я слышал рассказы об этом путешествии на тележке, но, признаюсь, считал их баснословием. И вдруг бог привел встретиться лицом к лицу с самим виновником торжества!

А «умница» между тем продолжал:

– А как вы о губернских правлениях полагаете? Легко было с ними ладить? Разве те они были, что теперь? Разве мог я советником помыкать: извольте, государь мой, подавать в отставку; вы мне не нравитесь, вы с дамами обращаться не умеете? В наше время, сударь, у советника-то поясница железная была, голос как у протодиакона; весь он, бывало, пропитанный сводом законов ходит, и у всех, на обеде ли, на вечеринке ли, – везде первый гость. И у преосвященного – свой человек. У меня один такой-то был, так я каждый день с ним до седьмого пота спорил. Я говорю свое, а он – свое; иногда – я его, иногда – он меня. Неприятно оно – что и говорить! – но, с другой стороны, и тут для начальствующего лица проверка. Пробовал было я, на первых порах, начальству докучать: возьмите, говорю, от меня сего строптивого чиновника! – а мне в ответ: «Не угодно ли, предварительно, факты таковой строптивости представить!» факты-с! вот ведь какое слово было! а нынче и выговорить-то его порядком не всякий сумеет!

– Но ведь они взятки брали, советники ваши! Кому же это наконец не известно!

– Не отрицаю, дело возможное-с. Только скажу вам одно: если бы люди с таким умом и с такими познаниями жили в нынешнее время, то, судя по нынешней жадности, миллионерами бы они были – вот что-с! А я между тем из современников моих только одного советника губернского правления и знал, который настоящее состояние себе составил. Да и тот впоследствии в монахи постригся, а капиталы свои на Афон пожертвовал.

– И все-таки позволяю себе думать, что относительно фактов можно было бы и посприискать взглянуть. Ведь губернское правление – это, так сказать, домашнее учреждение, в котором и допустить разноголосицу неудобно. А притом же советник-то, об увольнении которого вы просили, подчиненный ваш был... отчего же бы вам удовольствие не сделать?

– Да вы читали ли, молодой человек, «Учреждение губернских правлений»? Прочтите-с. Это не закон, а музыка-с. Никаких домашних учреждений в государстве не полагается-с. И учреждения, и формы – все пригнано так, чтобы пределы обозначить. И советники совсем не подчиненные были, а члены коллегии-с. Бывало, принесут журналы-то губернского правления, так в ином пальца три толщины, и всякий об особенном деле трактует! И весь он задом наперед написан: сперва конец, потом начало, а середину – сам ищи! Читаешь – и постепенно тебя объемлет. А в заключение: подтвердишь.

– И подтверждали-с! – весь сияя восторгом, воскликнул Набрюшников.

– А затем и посторонние ведомства. Нынешняя наука в них препятствие видит, а старая видела полезное разделение властей. И это, в свою очередь, пределы полагало. Я полагаю: вот так поступить, а, например, ведомство государственных имуществ – вот этак. Мы и переписываемся.

– Воля ваша, а это положительное расхищение власти!

– По-нынешнему – так. Даже странным кажется, ежели кто возражает. А в старину требовалось, чтоб власть сама себя оправдывала, а не ради того одного властью называлась, что ей мундир присвоен. Мундир давал внешние преимущества – этого и достаточно. Бывало, у обедни в соборе – я впереди всех стою; у головы на пироге – мне первый кусок; на бале в польском – я с предводительшей в первой паре; в заседании комитета – я на председательском месте; по губернии на ревизию поехал – от границы до границы уезда впереди исправник скачет; в уездный город приехал – купцы хлеб-соль подносят; уезжать собрался – провожают... Польщен, уважен, почтен, сыт – каких еще знаков больше!

При этом кратком перечне почестей, которыми окружена была дореформенная губернаторская власть, у всех стариков глаза разгорелись. Даже Гвоздилов позабыл, что у него на душе постыдное дело лежало, и щелкнул языком.

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– А то, помилуйте! мундир во всей силе остался, а обстановка – упразднена!

– Ваше превосходительство! но разве можно так решительно утверждать, что обстановка упразднена? А суды? а земство? Разве это...

– Знаю-с; но ведь последнее слово науки в этих учреждениях расхищение власти усматривает. Я же, с своей стороны, скажу вам: суды и прежде, и нынче – всегда судами были. Всегда они особняком стояли, а ежели последнее слово науки и дразнится независимостью, так это, во-первых, одно пустословие, а во-вторых, к вопросу о прерогативах власти совсем не относится. И прежде выберут, бывало, отставного прапора в председатели, – смыслу в нем ни капельки, а попробуй-ка кто-нибудь коснуться к нему! Что же касается земства, то разве наука ваша принимает его всурьёз? И тут она только дразнится и малодушествует. Ах, молодой человек, молодой человек! нынче даже сенат – и тот предостерегающее значение утратил... Сенат-с!!

При упоминании о сенате в комнате водворилась такая тишина, что даже лакей, убиравший со стола тарелки, и тот остановился как вкопанный. Первый нарушил очарование Набрюшников, но и то шепотом, единственно по чувству преданности.

– Нынче даже радуются, ежели сенат огорчен, – шепнул он соседу своему, Купидонову.

– Всё упразднено-с, – заключил Покатилов слабым голосом, – «надзор» – упразднен-с, коллегия – упразднена-с, а что вновь установлено, то в смешном и вредном виде представляется...

«Умница» махнул рукою и умолк. На его место, в роли обличителя, выступил генерал Чернобровов.

– Сенат-с, – сказал он, – а особливо московские онога департаменты... Это, я вам доложу, в своем роде антик был! Указы-то, бывало, охалками с почты таскают, так что ежели посторонний человек при этом случится, так только руками разведет: неужели, мол, на всю эту охалку отвечать надо? А там спустя время пойдут и донесения на охалку: «Зачем, по присланному из сената указу, исполнения учинить невозможно». Принесут, бывало, из губернского правления охалку рапортов – иной в палец толщины – так только об одном думаешь: все ли тут откровенно написано? И ежели чуть где заметишь: «к сему необходимо присовокупить», или вообще умствование какое-нибудь – «те-те-те, голубчик! прошу от умствований уволить! сенат и сам разберет, что худо, что хорошо, – нечего его наводить!» Вот, мой друг, какие мы, старики, чувства к сенату питали!

– Всякий, бывало, ябедник, и тот в сенат, – заикнулся было Гвоздилов, но вспомнил, что у него на душе постыдное дело лежит, и замолчал.

– И ябедники свою долю пользы приносили-с, – холодно заметил ему Покатилов.

– Ябедники! Но ведь это язва! – воскликнул я.

– И они предел полагали-с.

Я был побежден. Какой, однако ж, изумительный механизм! сколько гарантий! Губернский прокурор – раз, губернский штаб-офицер – два, губернное правление – три, посторонние ведомства (в том числе и начальник земской конюшни) – четыре, почтмейстер – пять, ябедники – шесть. И в облаках – сенат... московские онога департаменты!

И никто не жаловался, что много, никто не кричал: караул! власть расхищают! Вот бы когда хоть чуточку пожить!

Правда, что перед моими глазами сидели такие два экземпляра минувших дней, которые не весьма свидетельствовали в пользу устойчивости гарантий, а именно: Балаболкин и Пучеглазов (а очень вероятно, и Гвоздилов с Краснощековым); но ведь зато Балаболкин и проехался с жандармом в тележке. Что же касается до Пучеглазова, то он и до сих пор хорошенько не знает, каким образом он губернаторства лишился. Догадывается, только, что, должно быть, правитель канцелярии подsunул ему прошение об отставке подписать, а его и уволили. Так

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ведь и это своего рода гарантия. Кабы дать Пучеглазову волю, как этого требует последнее слово науки, так он, чего доброго, всю бы губернию сквозь строй прогнал, а правитель канцелярии понял это и упредил.

Было двенадцать, но никому и в голову не приходило, что это час привидений. Напротив, все продолжали сидеть за столом, совсем как бы живые. Но если б не крикнул в эту минуту на соседнем дворе петух – конечно, нельзя поручиться, какое превращение могло бы произойти!

Однако все обошлось благополучно, и любезный хозяин первый ободрил нас, подновив потухающую беседу рассуждениями на тему распорядительности.

– Вот вы сейчас о пределах слышали, – сказал он, – но не думайте, что ежели кто предел исполнил, тот уж освобождался от распорядительности. Требовалось, чтоб губернатор и в пределах оставался, и в то же время хозяином во всей губернии был, чтоб везде сам. Дорогу березками обсадить, пожарную трубу выписать, новый шрифт для губернской типографии приобрести, мостовые в городе исправить, бульвар устроить, фонари на улицах завести – вот задачи, которые, в старину, каждый начальник губернии обязан был выполнить. А затем и все остальное. Условился я, например, с начальником земской конюшни, чтоб по всей губернии лошади у крестьян были саврасые, – и выполнил. И не мерами строгости и понуждения я результатов достиг, а единственно с помощью распорядительности. И так эта масть у нас прижилась, что после того сколько ни старались создание мое разрушить, а и теперь еще в захолустьях крепкая саврасая порода сердце поселянина радует!

– Его превосходительство изволили московский тракт березками усадить, – присовокупил Набрюшников, почтительно указывая на Покатилова, – а после них приказали эти березки рубить. И что же-с! даже посейчас в ином месте березка целехонька стоит!

– Так вот чтов значит, мой друг, распорядительность! – обратился ко мне Чернобровов, – только раз ее стоит проявить, так потом века невежества пройдут, но и те плоды ее вполне истребить не смогут! Хоть одна березка, а все-таки останется.

– И просвещение, и продовольствие, и народная нравственность, и холера, и сибирская язва, и оспа – в одной горсти было! – вторил Чернобровову Набрюшников.

– И на все хватало времени. А нынче куда все это девалось? Говорят: отошло... но куда?

– Да туда же, куда и все прочее: измором изныло! – несколько раздраженно откликнулся Покатилов.

Воцарилось глубокое и скорбное молчание, до краев переполненное вздохами. Прасковья Ивановна потихоньку встала и отворила в соседней комнате форточку.

– Ваше превосходительство! ведь вы такую картину современности нарисовали, что трудно даже представить, как люди жить могут! – обратился я к Покатилову.

– Разве жизнь от нас зависит-с? Предоставлено нам жить – и живем-с.

Эти странные слова еще больше усилили общее уныние. А тут еще и Краснощеков подбавил.

– Бывало, я еду по губернии – и понимаю! – воскликнул он, грозя очами, – и себя самого, и других – все понимаю! направо посмотрю и налево посмотрю – вижу-с! Чуть ежели что – стой! вылезу из экипажа и распоряджусь-с! А нынче «он» что? Потуда он себя и чувствует, покуда из квартиры до вокзала железной дороги, облаком одетый, едет! Приехал, сел в вагон – что «он» такое? – кладь-с! Везут его, как и всякую прочую кладь, а куда везут – он не знает! Силу пара остановить не может, рельсы с дороги снять – не имеет права! задний ход дать – не умеет! А ежели на станции шуметь начнет – сейчас протокол. И пойдут перед всем честным народом разбирать, в какой силе он шум производил «при исполнении» или просто в качестве разночинца. Срам-с.

– Направляй кишку! – взвыл во сне Балаболкин и в то же время так сильно покачнулся вбок, что едва не свалился со стула.

Это была последняя вспышка; приближался процесс старческого разложения. У всякого что-нибудь затосковало. У Чернобровова – нога, у Покатилова – лопатка, у Краснощекова – поясница. Все чувствовали потребность натереться на ночь маслицем и надеть на голову колпак. Даже дамы не без умысла любопытствовали, какое сегодня число?

Увы! передо мною приподнят был лишь край таинственной завесы, скрывавшей прошлое! Собственно говоря, я получил более или менее ясное представление только о «пределах»; о творческой же деятельности дореформенных губернаторов я знал только одно: что они могли распространить саврасую масть. Но как они относились к сокровищам, в недрах земли скрывающимся? Как понимали вопрос о движении народонаселения? Одобряли ли заведение фаланстеров? доставляли ли в срок сведения, необходимые для издания академического календаря, и в каком смысле: тенденциозные или наивные? Признавали ли пользу травосеяния? верили ли в чудеса, или считали оные лишь полезным мероприятием в видах обуздания простолюдинов? Находили ли достаточную существующую астрономическую систему, или полагали оную, для пользы службы, отменить? провидели ли гессенскую муху, сусликов, кузьку, скопинский банк, саранчу? какими идеалами руководились при определениях, увольнении и перемещениях? – вот сколько вопросов разом пронеслось передо мной, и все они остались такою же загадкой, как и в то утро, когда генерал Чернобровов благосклонно почтил меня приглашением.

По примеру прочих, я уже собрался встать, как встретил устремленный на меня взор Купидонова, который как бы говорил: так неужто же от меня и научиться уж нечему?

– Может быть, и вы имеете что-нибудь сказать, полковник? – обратился я к нему.

– Немногое, – ответил он, – но тоже в своем роде... Первые мостки через Неву я еще при блаженной памяти Александре I устраивал и затем ежегодно, весной и осенью, в течение тридцати лет, нес на себе эту обязанность. И сошлюсь на всех: каковы были дореформенные мостки и каковы нынешние?! Только и всего.

Он простер руку и щелкнул языком. Но уже вряд ли кто из стариков порядком слышал его слова. Только Прасковья Ивановна слегка плеснула руками, но и то, по правде сказать, больше в знак благодарности за провесную белорыбицу, которую Купидонов в этот вечер для закуски доставил.

Через пять минут я был уж дома. В душе у меня была музыка, так что когда кухарка, вся заспанная, отворяла мне дверь, то первые мои слова, обращенные к ней, были:

– Ах, Мавра, Мавра! ты спишь, а того и не подозреваешь, что я весь вечер сегодня провел... с утешением сената!

ПИСЬМО VII

И что же на другой день оказалось!!

Что весь вчерашний вечер я провел среди членов тайного общества «Антиреформенных Бунтарей»!

Покатилов – глава и основатель общества; Краснощеков – человек судьбы, долженствующий, в случае надобности, выехать на белом коне; Пучеглазов – правая рука; Балаболкин – левая; Набрюшников – вестник; Гвоздилов – предатель. Словом сказать – вся обстановка, не исключая и дам, на которых возложено щипание корпии и приготовление бинтов.

Как, однако ж, обманчива наружность! До сих пор я представлял себе члена тайного общества не иначе, как в виде взъерошенного человека, который питается сильно действующими веществами и повсюду изрыгает из себя подпольные прокламации, – и вдруг что же увидел? – Самых обыкновенных плешивых стариков, которые даже твердой пищи разжевать не в силах, которые не то говорят, не то урчат и вообще ведут себя до того тлетворно, что без хорошего вентилятора с ними невозможно быть! А между тем в них-то именно и засело потрясение основ! Поди угадай!

Общество Антиреформенных Бунтарей имеет обширные разветвления по всей России, но существенные распоряжения разрабатываются предварительно на Песках и отсюда уже расходятся, в виде лозунгов, по всем захолустьям. В провинции главный контингент

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru общества составляют отставные исправники, при благосклонном содействии господ предводителей дворянства. В столице – отставные губернаторы, при благосклонном содействии любителей, не пожелавших, чтоб имена их были известны.

У общества имеется свой устав и своя печать. Устав написан так, что можно читать и сверху и снизу и затем, вынув середку, опять читать. Печать изображает птицу с распростертыми крыльями, обращенную головою вниз; под нею девиз общества: «Поспешай обратно».

Цель общества: восстановление московских департаментов сената. А сверх того – и всё остальное.

Махинации общества долго оставались незамеченными; но в последнее время за ними стали следить, так как дошло до сведения, что для Краснощекова уже приторговывают белого коня. И ежели бы вчера вечером околоточный не позабыл подать свисток, то очень может быть, что теперь...

– Мавра! Мавра! куда я попал!

Все это сообщил мне Купидонов. Он тоже член общества, но притворный. С помощью икры, провесной белорыбицы и других, не особенно ценных, подарков он успел овладеть доверием женщин и через них узнать корни и нити. В последнее время он приобрел очень ценное сведение: узнал имя извозчика, у которого продается белый конь. На всякий случай Купидонов тоже вооружен свистком, который он мне и показывал. Видом своим этот свисток напоминает трубу, которую мы в свое время услышим на Страшном суде.

Тем не менее Купидонов рассказывал все это так непоследовательно и противоречиво, что я долгое время не знал, следует ли мне испугаться или не следует. Так, например, сначала он сказал, что свисток ему подарил «генерал» в знак особого доверия к нему. Но через минуту хвалился, что он этот самый свисток приобрел по случаю у отставного околоточного за шесть гривен. То же самое и насчет коня: никак нельзя было понять, слепой он или зрячий... Однако, рассудив зрело, я пришел к убеждению, что испугаться во всяком случае безопаснее. Может быть, Купидонов и пустяки нагородил, а все-таки недаром пословица говорит, что береженого бог бережет.

На этом основании я сейчас же раскрыл все ящики моего письменного стола и, к ужасу своему, нашел в них два глубоко компрометирующих письма. В одном меня уведомили, что в конспиративной квартире три заговорщика уже собрались и с нетерпением ожидают четвертого, дабы «приступить». В другом – сообщали, что «рецепт порошка возвращается с благодарностью»... Поди доказывай, что в первом письме говорится о «винте», а не о революции, а во втором – зубном порошке, а не о динамите! Сейчас же, тайно от кухарки Мавры, я сжег оба документа и пепел развеял по ветру. Затем взял шапку и побежал к Чернобровову, чтобы заявить ему о своем несочувствии...

Но было уже поздно: вся наша лестница была запружена понятиями. А через час нас всех направили «в комиссию»... Тайных советников повезли в извозчицких каретах, меня – повели пешком.

Молчание.

Современники не должны знать о такого рода делах, ибо они секретные. Впоследствии, когда тайности мрака времен сами собой выступают на скрижали истории, потомки с удивлением узнают, в каких преступлениях погрязли их предки. А до тех пор я могу открыть только следующее: что лишь благодаря целому ряду ловко обдуманной *alibi* я успел выйти из дела неповрежденным...

Через два часа наше дело округлили и уже собрались отпустить нас на все четыре стороны, как вдруг при проверке арестантов оказалось, что одного нет налицо: Гвоздилов бежал из-под стражи. Сию минуту разослали во все стороны жопалых, а через короткое время один из них принес вицмундир Гвоздилова, найденный на берегу Невы, за Калашниковскою пристанью. Увы! почтенный старик предпочел добровольную смерть ожидавшему его позору разоблачения.

Потушили, составили протокол и, как водится, рассказали несколько анекдотов из жизни покойного, не к стыду его относящихся. И так как адмиральский час уже

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru наступил, то презус округлительной комиссии велел подать водку и, наполнив рюмку, помянул безвременно погибшую жертву охранительного недоразумения. Причем счел не лишним выразить предположение, что с самого основания Петербурга Гвоздилов явил собой едва ли не первый пример тайного советника, обретшего забвение своих вин в хладных объятиях Невы, но что, впрочем, нужно надеяться, что сей первый пример будет и последним. Ибо даже в самые горькие минуты жизни человек не имеет права распоряжаться сим драгоценным даром творца, но обязан с покорностью выжидать начальственных по сему предмету распоряжений.

Наконец момент расставания наступил. Объявляя нам свободу, презус комиссии нашел полезным произнести напутственное слово, допустив в нем некоторые, не лишённые язвительности, оттенки.

– Господин тайный советник Покатилов! – сказал он, обращаясь к главе заговорщиков, – что преступление, в котором обвиняетесь вы и ваши почтенные единомышленники, было действительно вами совершено, это не подлежит для меня никакому сомнению. Вы собирались по ночам в конспиративной квартире; вы замыслили переворот в пользу восстановления московских департаментов сената, а затем и всего остального; у вас найдены значительные запасы корпии и бинтов, что свидетельствует, что замыслу вашему не чуждо было и предположение о кровопролитии... Все это доказано достоверными свидетельскими показаниями, так что ежели бы к действиям вашим применить общепринятые понятия о возмездии, то я не ручаюсь, что вы вышли бы отсюда неповрежденными. Но комиссия наша рассудила иначе. Она нашла, что намерения ваши столь благовременны и столь тайным советникам свойственны, что мне ничего другого не остается, как сказать вам: идите с миром и продолжайте вашу благонамеренно-преступную деятельность! Об одном прошу вас: будьте осмотрительны в выборе ваших соумышленников! Не увлекайтесь мишурою популярности! не допускайте необдуманных и опасных сближений! Помните, что коварство на каждом шагу подстерегает вас и что благодаря ему благовременное может сделаться неблагоприятным и благонамеренное – неблагоприятным.

Затем, обратившись ко мне, он продолжал:

– Вы свободны. Благодаря вашей ловкости Немезида правосудия и на сей раз остается неудовлетворенною. Но знайте, что ежели настоящее исследование не дало вполне непререкаемых улик для определения характера и состава содеянного вами преступления, то намерения, которые одушевляют вашу общую деятельность, ни для кого уже не составляют тайны. Довольно! без возражений! Я не для того обращаю к вам речь, чтобы вступать с вами в пререкания, а для того, чтоб вы прониклись моими благими пожеланиями и приняли их к руководству. Sapienti sat.[22]

Высказавши это, презус щелкнул каблуками (хотя он был штатский, но торжественность минуты до такой степени покорила его, что он без шпор не мог себя мыслить) и вышел. На прощанье он послал воздушный поцелуй в сторону тайных советников, а в мою сторону погрозил очами.

Я возвращался из комиссии с понурой головой и с завистью смотрел на генерала Краснощекова, который шел впереди, горделиво выгнув шею и выделявая ногами лансады. К тому же я чувствовал, что у меня что-то ползет по спине: очевидно, это был клоп, которым, в отместку за отсутствие улик, меня снабдили в комиссии. Несколько раз я порывался нанять извозчика, чтоб поскорее попасть домой; но извозчики пристально осматривали меня с головы до ног и, ни слова не говоря, настегивали лошадей. Очевидно, печать преступления, несмотря на короткое время, уже успела лечь неизгладимым клеймом на моем челе.

Тщетно исследовал я свое житие, чтоб уяснить себе, что именно могло внушить почтеннейшему презусу округлительной комиссии столь невыгодное мнение об общем характере моей деятельности, – я не припоминал в прошлом ни одного факта, который подтверждал бы это мнение. Правда, что я либерал – это так точно, ваше превосходительство! – но либерал до такой степени скромный и смиренный, что даже в участке, в графе: «чем занимается», – прописан: «всего опасается». Живу я уединенно, беседую с кухаркой Маврой и не только оружия, но даже простого тесака у себя в квартире не имею. Один только и есть за мной грех: от времени до времени пописываю – ну, да ведь нельзя же совсем уж закоченеть, потому только что кругом дым коромыслом стоит...

Но и в писаниях своих я в высшей степени скромн. Я не препятствую так

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru называемым консерваторам быть консерваторами, не обвиняю их ни в измене, ни в революционных замыслах и не удивляюсь, что из их лагеря сыплются насмешки и обличения на либерализм. Все это в порядке вещей, все так и следует. Но когда эти люди для защиты своих мнений прибегают к предательским полемическим приемам – признаюсь, это меня возмущает. По моему мнению, это – гнусность, в которой нет надобности ни для оживления столбцов, ни для розничной продажи.

Поэтому, когда я устно или печатно заявляю, что всякое убеждение, какова бы ни была его окраска, может и должно быть защищено без подвохов (а я покуда именно только этого и добиваюсь), то мне положительно никогда не приходит на мысль (или, по крайней мере, до сих пор не приходило), чтобы подобное заявление заключало в себе попытку на потрясение основ и непризнание авторитетов. Я просто-напросто призываю к честности и опрятности – и ничего больше...

Но, к сожалению, приходится убедиться, что, при известных обстоятельствах, и потрясения, и посягательства – все бледнеет и стирается перед вопросами о каких-то личных привилегиях самого низменного свойства. Так что если б я завел в своей квартире целый склад тесаков, то в глазах очень многих людей это действие представлялось бы менее вредным, нежели, например, выражение удивления по поводу какого-нибудь бесшабашного публициста, который, засевши по уши в грязь, брызжет ею во всех, имеющих дерзновение не признавать его мудрецом.

Так, мало-помалу, мельчает и вырождается старинная распря между либералами и охранителями. Содержание спора все больше и больше тускнеет, а на место его выступают микроскопические детали и подвохи, которым, ради декорума, присваивается наименование ловких приемов. И очень возможно, что недалеко время, когда, по воле всемогущих судеб, либерализм совсем очутится вне боя, а охранители, почувствовав себя окончательно свободными от всякой узды, будут на всей своей воле без пороку палить в пустое пространство...

Я знаю, найдутся читатели, которые скажут, что все описанное выше не только преувеличено, но просто-напросто представляет сплошную небывальщину. Замечание это, впрочем, нимало меня не смутит, потому что я и сам вполне с ним согласен. Я лучше, нежели кто-нибудь, знаю, что в природе не было ни умницы Покатилова, ни рыцаря Краснощекова, ни жен их, ни наперсников, ни конспиративной квартиры на Песках, ни тайного общества Антиреформенных Бунтарей. Никогда ничего подобного я не видал, о необходимости восстановления московских департаментов сената ни от кого не слышал и за подобные разговоры ни в какую комиссию призываем не был. Но и за всем тем, я утверждаю по совести, что все написанное мною об этом предмете с подлинным верно и что ежели, например, не существует в природе общества антиреформенных бунтарей, то существует дух времени, который нельзя назвать иначе, как антиреформенно-бунтарским, и который с каждым днем приобретает все большую и большую авторитетность.

Я утверждаю, что этим духом пропитана вся влиятельно-интеллигентная Россия и что конспиративные сетования, раздающиеся на Песках (зри выше), во сто крат менее карикатурны, нежели те, которые на каждом шагу приходится слышать и на улицах, и в публичных местах, и – по преимуществу – в салонах и кабинетах. Везде мы встречаемся с несомненными сивыми меринами, которые пропагандируют несомненно полоумные фантазии и бреды и, не обинуясь, присваивают им наименование политических и административных программ.

Поэтому, ежели читатель справедлив, и притом не ограничивается одним буквальным пониманием читаемого, то он будет вынужден признать, что в предыдущем моем письме я не только ничего не преувеличил, но, во многих отношениях, стоял далеко ниже действительности. А сверх того, у меня имеется в запасе и еще одна оправдательная оговорка: подождите! Почему вы знаете, чем чревато будущее? Ведь перспективы бредов до такой степени растяжимы, что никакая карикатура не в силах наметить границу, где обязательно должен завершиться их цикл.

По моему мнению, в общем нестройном хоре антиреформенной разнузданности умница Покатилов выделяется с несомненною для себя выгодой. Сопоставления, на которых он основывает свои тяготения к дореформенности, не лишены некоторых странностей, но в то же время свидетельствуют о замечательном остроумии и подлинной резонности. Логический ум старого практика не допускает ни разброда, ни скачков, ни игры в прятки, ни даже рыцарских порываний неведомо куда (в чем достаточно изблещается, например, благородный генерал Краснощеков), но прямо укрывается под сень закона и в нем отыскивает все, что нужно для того, чтоб утешить сенат.

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Покатилов отнюдь не притворяется, являясь горячим защитником гарантий; нет, он воистину понимает, что без гарантий невозможно существовать ни правящим, ни управляемым. Конечно, обстановка, в которой он представляет себе обеспеченность, несколько устарела и, в сущности, сама не весьма обеспечена, но это уж вина не его, а его времени. Он воспитан в идеалах самой простецкой обстановки и других, более утонченных форм легальности не знает. Но так как он относится к своим «простым» идеалам без малейшего глумления, и притом всякому недовольному его действиями охотно рекомендует: идите, жалуйтесь! вон сколько гарантий начальством для вас наготовлено! – то, очевидно, в нем происходит в это время процесс, довольно близкий к представлению об ответственности. Ибо как ни прост обыватель, но и ему, ввиду указания гарантий, может прийти в голову: а что, в самом деле! пойду да и пожалуюсь!

На что, собственно, Покатилов негодует? – он негодует на то, что мундир остается в прежней силе, а обстановка упразднена. По его мнению, мундир, лишенный обстановки, прикрывает собой самочинную пустоту, которая может извлечь из себя только один звук: фюить!.. Но разве можно в слове «фюить» видеть какую-нибудь гарантию?

Но что важнее всего: требуя гарантии для жизни вообще, умница Покатилов понимает, что гарантия эта прежде всего ограждает его самого. Несмотря на свое властное положение, он никогда не причислял себя к сонмищу богов, но положительно сознавал себя смертным. Все великие дела на земле были совершены «смертными» – отчего же и ему, обсадившему березками московский тракт, не признать себя таковым? Ничего тут унижительного нет. А коль скоро он с этим примирился, то и отношения его к прочим власть имеющим лицам, и к управляемым, и даже к природе приобрели более человеческий характер. Он не артачился, когда жандармский штаб-офицер предупреждал его, что пожарные лошади существуют не для пикников, и не фордыбачил, когда прокурор являлся с протестом против отдачи губернии или части ее в распоряжение родственникам кумы. Напротив, и в том, и в другом случае он приклонял ухо и, выслушавши протест, подвергал его всестороннему и зрелому обсуждению. Согласитесь, что это с его стороны было и мило, и вполне согласно с законами.

Точно то же и относительно управляемых. Зная, что существуют особливо аккредитованные лица, которым достоверно известно, что он, Покатилов, не для того прислан, чтобы неистовствовать и сокрушать, а для того, чтобы приклонять ухо и, по мере возможности, оказывать удовлетворение, он не бросался на управляемого как озаренный, не огорошивал его, а с терпением выслушивал его речи, хотя бы они были и не вполне вняты. На первых порах и он, по поводу этой невнятности, немало скверных слов потратил; но когда однажды жандармский штаб-офицер ему доложил: «Ах, ваше превосходительство! ведь и вы не всегда внятно изволите говорить!» – то он запомнил эти слова и раз навсегда сказал себе, что задача умного администратора не в том состоит, чтобы совмещать в своем лице глубокомысленных Платонов и быстрых разумом Невтонов, а в том, чтобы обладать снисходительностью и терпением. Ибо нужды обывательские так скромны, что не требуют ни быстроты разума, ни глубокомыслия, а только простой справки с законами и бывшими примерами. На этом основании он даже и ябедников не особенно преследовал. Говорят, будто бы он их боялся; но я позволяю себе думать, что не один страх заставлял его так поступать, но и убеждение, что сословие ябедников представляет собою убежище, в котором находит себе защиту поруганная общественная совесть.

Что же касается до отношений к природе, то смягчение их является как естественное последствие общего умиротворения административных нравов. Администратор, который не состоит в постоянной борьбе с законом и не ставит себе задачей повреждение управляемых, встречает солнечный восход с несравненно бовльшим умилением, нежели администратор, который накануне растоптал закон и самочинно огорчил целую уйму обывателей. И не по тому одному его умиляет солнышко, что он считает его своим двоюродным братцем, но и потому, что лучи его одинаково светят и правящим, и управляемым, и вообще всю природу согревают и оживляют. Пускай не он один, а все вообще радуются и согреваются – он не только этому не препятствует, но готов даже содействие оказать.

Ныне все это изменилось. Увы! из нынешних администраторов едва ли найдется такой, который может свободно на солнце взглянуть... А почему? – потому что такое уж нынче веяние: и в звере, и в птице, и в земле, и в водах, и даже в светилах небесных – во всем видеть посягательство и грубиянство, которое необходимо

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru усмирить.

Повторяю: формы, в которые облекались идеалы Покатилова, были несколько неуклюжи, но самое зерно этих идеалов несомненно заслуживало сочувствия и похвалы. Он, прежде всего, пламенел перед законом и не только не позволял себе выражаться, что такой-то закон издан впопыхах, а такой-то представляет собой плод бунтующей плоти, но даже к известному афоризму: «по нужде и закону времена бывают» – относился с величайшею осмотрительностью. «Бывает премена, – говорил он, – но лишь тогда, когда таковая в законодательном порядке утверждена». Равным образом, он не молол суконным языком, что сенат есть учреждение крамольническое, но, пылая к нему сыновнею любовью, всякое разъяснение с его стороны принимал яко дар, а порицание или похвалу – яко мзду и воздаяние. Одним словом, сознавая себя лишь спицей в колеснице, он, вместе с другими спицами, скромно вертелся в подлежащем колесе, трепеща и ревнуя, так точно, как в том перед богом, на Страшном его суде, ответ дать надлежит.

Вот каков был умница Покатилов. Конечно, это был в своем роде антик, которому за его непреборимое уважение к закону не напрасно было присвоено наименование «Утешение сената»; однако ж я очень хорошо помню целую школу администраторов, которые воспитаны были в страхе сенатском, и нимало этим не тяготились. И хотя не все последователи этой школы были столь же непреборимы, как Покатилов, однако ни один из них человеческою своею слабостью хвалиться во всеуслышание не дерзал.

Очень возможно, что таковые качества тайного советника Покатилова побудили и презуса округлительной комиссии отнестись к злоумышлениям его с благосклонною симпатией. Но, по мнению моему, это было с его стороны недоразумение. Презус, очевидно, не понял покатиловских идеалов или, лучше сказать, понял только ту их часть, которая выражала стремление к восстановлению московских департаментов сената. Мысль о гарантиях (а она-то именно и составляла главное зерно) положительно ускользнула от него, и я убежден, что если б он ее понял...

Но не будем увлекаться гаданиями, а лучше подивимся мудрости Покатилова, который и в самом бунтарстве своем явил несомненную пронизательность.

Он понял, что с гарантиями, по нынешнему времени, соваться не приходится, и потому преднамеренно утопил свою мысль в целом море белиберды. Белиберда – это, так сказать, воздух, которым дышим, хлеб, которым мы питаемся. Это не только существеннейший признак времени, но и отличнейшая во всех смыслах рекомендация. Во всех видах она хороша: и как *pièce de résistance*, [23] и в виде гарнира. Без ее содействия – все будет туждаться зиждущий, с ее помощью – даже восстановление московских департаментов сената представляется лишь вопросом времени...

Но и за всем тем, сравните белиберду покатиловскую с тою, которую источает его дальний родственник, тайный советник Крокодилов, и вы удивитесь, какое существует разнообразие белиберд и как громадно может быть расстояние между ними.

Небо – и земля; солнце – и сальная свеча; слон – и моська; мраморные палаты – и скромный дощатый киоск для проходящих...

Никогда антиреформенные бунтари не действовали так решительно, никогда не распложились в таком множестве, как в наше время. Вся интеллигентствующая Россия охвачена сетью конспиративных белиберд, которые не могут определить предмета своих вожделений и протестуют единственно под влиянием взбудораженного темперамента. В глазах знаменосцев кутерьмы весь существующий порядок, поскольку в нем слышится стремление к установлению принципа законности, есть не что иное, как плод нечаянного недоразумения. Это не порядок, а мир призраков, на который стоит лишь дунуть, чтоб птица с письмом «поспешай назад» – немедленно доставила его по адресу.

Но что всего замечательнее, нигде это противоестественное, во имя белиберды протестующее, движение не распространено так сильно, как в той среде, которая, по самой своей профессии, обязывается стоять на страже установившихся порядков.

Нет той мелкой сошки, которая не угрожала бы или не глумилась, смотря по темпераменту. Долго сдержанные инстинкты разнузданности нашли

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru неожиданно-свободный исход, а бестолочь, десятками лет накопывшаяся в умах, вышла из берегов и, как в половодье, гневно разлилась во все стороны. Это уже не протест, исход которого более или менее гадателей, а целая победа, сразу доведенная до бесчинства. Над чем бесчинство? Над порядком, который на каждой странице кодекса носит наименование «установленного», – над порядком, благодаря которому сыты, обуты и одеты те самые, которые ежеминутно, и прямо, и косвенно, его подрывают.

Прислушайтесь к беспутному говнону, перекатывающемуся из края в край и окончательно находящему убежище в торжествующей части нашей так называемой прессы, – и вы убедитесь, что сам баснословный петух не отличит, что в этой неистовой околесице жемчужное зерно и что – навоз. И не отличит по очень простой причине: ничего, кроме навоза, тут нет. Одно вполне ясно в этой сутолоке: на каждом шагу продается отечество. Продается и при содействии элеваторов, и при содействии транзитов, и даже при содействии джутовых мешков. Все это, в сущности, нимало белибердоносцев не интересует, а представляет лишь один из современных таинственных лозунгов (несменяемость, динамит, конституция и т. п.), дающих некий повод для надругательства.

Живые притаились в могилах; мертвые самочинно встали из гробов и ходят по стогам, стуча костями. Кладбищенское волшебство заменило здоровую, реальную жизнь. Такие слова вновь вошли в обиход, которые считались давно упраздненными; такие мысли приобрели авторитет, от которых недавно даже осел отказывался: что вы! никогда ничего подобного я не мыслил! На днях мне случилось в одной из газет вычитать «правду», в четырех строчках некоторым обывателем нацарапанную, – клянусь, я и не подозревал, чтобы человеческий язык был способен выговорить те звуковые сочетания, которые в этой «правде» без малейшего затруднения в обнаженном виде осуществлены!

Я не говорю, чтобы такое положение вещей могло считаться серьезно-угрожающим, но не скрываю от себя, что многое в этом случае зависит от того, глубоко ли укоренилась белиберда, или же корни ее расползлись только по поверхности.

В первом случае умственное оскудение может со временем все функции общественной жизни извратить и довести до негодности; во втором – это оскудение настигнет лишь те слои общества, которые, за свое дурное поведение, окажутся вполне того заслуживающими.

Но даже в этом последнем, смягченном виде умственная атрофия представляется далеко не безопасною. Ежели знаменосцы белиберды и не настолько сильны, чтобы пропитать бессмыслицей весь общественный организм, то все-таки у них имеется в руках целая номенклатура мелких укулов, с помощью которых представляется возможность сделать массу частного зла. У нас это частное зло как будто даже и в счет не идет. Исчез человек, наложил на себя руки, дошел до последней степени отчаяния – велика важность! Нам надо целую уйму погибших людей, чтобы встревожиться и признать в этом факте достойное внимания явление...

Ах, господа, господа! согласитесь, однако, что и единичный человек – все-таки человек! В мире червей, конечно, не особенно существенно, если раздавлен какой-то один червяк. На червяка наступают нечаянно, да и ему самому быть раздавленным не так больно, потому что он ничего не предвидит и, следовательно, ни к чему не готовится. Но человек сознает и предусматривает; он видит ногу, которая занесена над ним, он знает, зачем она занесена, и зрелище это, несомненно, должно породить в нем соответствующие ощущения. Какие?

Эта легкая возможность частного зла совершенно удовлетворительно объясняет тайну успехов белиберды. Герои, которые в состоянии дать отпор, составляют исключение, а средний человек, которым кишит вселенная, судорожно цепляется за свою неповрежденность. Он-то своими боками и демонстрирует властность белиберды. Он охотно сторонится перед белибердой, поддакивает ей, лишь бы она прошла, не заметив его. И нередко действительно проскальзывает, хотя и не без мучительных изворотов. Ибо и белибердоносцы враждуют и препираются между собою; и они образуют партии, между которыми приходится выбирать. Так, в данную минуту человека зарекомендовывает вот эта белиберда, а не та; не покатиловская, например, а крокодиловская... Следовательно, и поддакивать нужно вот этой белиберде, а не той. Как тут угадать?

Мало кликнуть клич: поспешай назад! – надобно с точностью указать, в какой

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru именно киоск надлежит поспешать. Мало сказать: нам ничего не нужно, кроме помоев, – надобно с достоверностью определить вкус, цвет и запах искомым помоев. Как разобратся в этом разнообразии? как угадать, какая белиберда надежнее, какой предстоит более прочная будущность?

Белиберда, не только требующая безусловной сдачи на капитуляцию, но и доходящая в этих требованиях до прихотливости – кто скажет, что это реальность, а не постыднейшее сновидение обезумевшего от страха раба?

А еще говорят о преувеличениях, о карикатуре, о клевете... О, малoverы!

Однако каким же образом жить? каким образом устроиться с чувством самосохранения, которое все-таки нельзя не принимать в расчет? Герои, конечно, легко отыщут выход и из самых мучительных затруднений, но повторяю: не о героях идет здесь речь, а о тех средних людях, которые совершают средние, законом не возбраняемые, дела и прежде всего желают осуществить свое право на существование.

Каким образом им спастись? то есть не одно брюхо спасти, но и хоть с эстолько души?

К счастью, у меня есть старинный друг и товарищ, Глумов, у которого всегда на всякие вопросы ответ готов. Это – несомненный мудрец. В древности он, наверное, выдумал бы пифагоровы штаны, а в наше время ограничивается тем, что знакомит друзей с наилучшими приспособительными приемами, при помощи которых можно припеваючи жизнь провести. С самых ранних лет он только и делает, что приспособляется, и наконец до того вошел во вкус, что во всеуслышание заявляет, что если б отнять у жизни необходимость приспособлений, то она сделалась бы столь же безвкусною, как каша без масла.

– Непременно нужно, чтобы нас что-нибудь подергивало, – говорит он, – какое-нибудь чтобы мы мучительство впереди видели, которое заставило бы нас приспособиться... Иначе мы и вовсе спустя рукава жить начнем.

Только раз в жизни блеснуло у него в голове, что и без приспособлений прожить можно. Это было в конце пятидесятых годов, когда всем вообще приспособления до того надоели, что даже звери радостным рычанием приветствовали эру освобождения от них.

– Теперь, – говорил мне в то время Глумов, потирая руки, – только через одно приспособление еще пройти надо, а именно: приспособиться, как на будущее время без приспособлений прожить...

Но не успел он закончить процедуру этого самоприспособляющегося приспособления, как уже вновь, потирая руки, возвещал:

– А вот и опять приспособления пошли! а я-то, профан, разлетелся! чуть было и совсем не отвык, да, к счастью, остерегся! И вот теперь сразу на старый манер все детали наладил, и опять у меня житьишко как по маслу пойдет.

С тех пор, какие бы перемены в температуре ни происходили, он как стал на страже, так и не сходит с позиции. Аккуратно каждый год подписывается на куранты – и следит. Прочитает об элеваторах – к элеваторам готовиться начнет; прочитает о транзите – к транзиту готовиться начнет; прочитает о джутовом мешке – не знает, как быть. И всем объявляет: «Теперь меня хоть на куски режь!» А в последнее время впал в такое забвение чувств, что прямо на себя в благоприятном свете клеветает: «У меня, говорит, ни чувства, ни ума – ничего не осталось! весь я, и с головой и с потрохами, насквозь приспособился!»

Само собою разумеется, что усердие это даром ему не прошло. Не успели мы оглянуться, как он уж и местечко хорошенькое ненароком заполучил. Прежде, вот видите ли, его поодаль держали, опасались, как бы «он не отмочил», а теперь убедились, что в нем даже мочи, – кроме необходимого, для облегчения, количества, – не осталось, и в соответствии сему отвели где-то в провинции прехорошенький киоск. Сидит он там да приспособляется, а временем и в Петербург наедет. Справится, какие новые фасоны приспособлений вышли, и – опять домой, в киоск.

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
В один из таких наездов он и обо мне вспомнил. У курьера, по соседству, младенца от купели воспринимал, да и надумался: «Дай, думает, зайду! я ведь теперь уж так приспособился, что и заподозрить меня нельзя!» Взял да и пришел. Разумеется, у подъезда не сразу за ручку схватился, а потоптался-таки минуту-другую, но наконец с шумом распахнул дверь, взлетел в третий этаж: с нами крестная сила... урррра!

Радостным излияниям конца не было. «Как дела? все ли у тебя по киоску благополучно?» – «Все, кажется, слава богу, благополучно!» – «Ну, слава богу лучше всего», и т. д. Словом сказать, обычный дружески-светский разговор.

– Ну, а ты как? – обратился он ко мне.

– Да что... нехорошо, брат, мне!

– Что так?

Да вот, мол, так и так. Начал я ему излагать, и что больше, то хуже выходит. Тайный, мол, советник Крокодилов на новый суд ударил; левое крыло уж перебил пополам, а правым хоть суд еще и помахивает, однако уверенности на полное восстановление полета уж нет.

– Чтов так?

Не успел я докончить, как уже лицо Глумова потемнело.

– Ну?

А еще, мол, прибыл сюда «сведущий» корнет Отлетаев и говорит, нимало не стесняясь: все, мол, надобно уничтожить: и земство, и суды, а отыскать вместо всего благонадежного отставного прапорщика и ему препоручить: пускай всем помыкает. А Крокодилов ему в ответ: ах, как это хорошо!

– Ну?

– Помилуй, любезный друг! чего же еще нужно?

– А тебе что за дело?

Я так и ахнул: вот этого-то именно вопроса я и не ожидал. Удивительно это, право. Всю жизнь только и чувствуешь, как этот вопрос долбит тебе голову, а вот когда надобно, чтобы он возымел практическое действие, – тут-то именно его и нет как нет. Существуют, должно быть, такие вопросы, относительно которых и опыт веков, и воспитательные афоризмы – все оказывается всеу и втуне. Никогда они не укладываются так плотно в сознании, чтобы не было совестно сразу их формулировать.

– Послушай, голубчик, да ведь необходимо же, до известной степени, принимать в расчет, что существуют разговоры, которые изнурительным образом влияют на мозги...

– Мозги? какие мозги? по какому случаю? на какой предмет? Взять его под сумление!

Глумов встал в позу Любима Торцова и при последней фразе вытянул правую руку с устремленным указательным перстом, как дельвал актер Садовский. Глумов, сколько я помню, и прежде любил копировать Садовского в роли Торцова; но теперь он, по-видимому, сделал из этого копирования приспособительный прием. Вот, мол, господи милостивцы, я каков! всякое коленце для вашего увеселения отколоть готов! Хотите – сцену из народной жизни сейчас расскажу!

– Глумов! да выслушай же меня! – взмолился я, – ведь Крокодилов проходу не дает! поймает, возьмет за пуговицу и держит. И говорит... ах, что он говорит! А в заключение: «Надеюсь, что вы вполне с моим мнением согласны?»

– А ты что на это?

– Я???

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и этого вопроса я не ожидал. Я? что, бишь, я такое делал, покуда Крокодилов разглагольствовал? Кажется, я... Но позвольте, однако ж... я!! что такое я?

– Но что же такое – я? – пробормотал я в ответ, – что я могу? С одной стороны – Крокодилов, с другой... я!!! согласись...

– Понимаю и соглашаюсь. Собеседования с Крокодиловым, особенно ежели он держит тебя за пуговицу, действительно нельзя назвать безопасными. Это – верно. Но затем возникает вопрос: можешь ли ты избежать этих собеседований или не можешь?

– Как же их избежишь? Ведь Крокодилов – имя собирательное: уйдешь от одного, попадешь к другому...

– И это верно. Действующая практика именно в таком смысле и разрешает этот вопрос. Я, братец, и сам, как увидел себя в плену у Крокодиловых, то воскликнул: эх их из всех щелей напоззло! ну, теперь уж не выкарабкаешься! Но тут же, впрочем, веселевнько прибавил: ничего, наше дело привычное! жили в плену у Покатиловых, жили в плену у Гвоздиловых; поживем и у Крокодиловых!

– Зачем же, однако, ты это прибавил, да еще «веселенько»?

– Да так, любезный друг, должно быть, само собой, по старой привычке прибавилось. Чуднов словно! столько пленов перетерпели и все-таки никак от пленов не отвертимся!

– И силу крокодиловскую одолеть не можем; но объясни же, по крайней мере, откуда эта сила взялась?

– Вот-вот-вот. Именно этот самый вопрос я себе в ту пору и предложил. Откуда, мол? что за причина? И по некотором размышлении решил так. Прежде всего с того крокодиловская сила взялась, что мы, простецы, «сладкую привычку жить» никак в себе ограничить не можем. Ругаем мы эту жизнь распостылую, а у самих только и есть одна мысль в голове: ах, хоть бы чуточку нам пожить позволили! Вот Крокодилов этим и пользуется. Возьмет тебя за пуговицу, растабарывает, а ты перед ним осклабляешься, подтанцовываешь. Это значит, что ты «живешь». Или увидит тебя Крокодилов по другую сторону улицы – не успеет пальцем поманить, а ты уж стремглав навстречу его тайным помышлениям летишь. И это значит, что ты «живешь». Ты мог бы пройти мимо, мог бы притвориться невидящим, мог бы, наконец, в проходные ворота шмыгнуть, а ты вместо того останавливаешься, нарочно в глаза лезешь: позвольте в присутствии вашем пожить! Неужто же он не видит этого? – Ах, голубчик, не только он это видит, но и тебя самого, со всеми твоими потрохами, насквозь видит! – Эге, говорит он, так вот его на чем подловить можно! – И напирает, и напирает, до тех пор, покуда не уткнет носом в самый оный киоск: живи!

– Глумов! но разве можно ставить людям в вину, что «сладкая привычка жить», – в существе своем вполне законная, – сопрягается для них с такими осложнениями?

– Я и не обвиняю, а только объясняю. И говорю: Крокодилов только до некоторой степени силу свою самолично создает, в значительной же мере он от нас, простецов, ее получает. Все в нас наиболее благоприятнейшим образом для него сложилось. «Сладкая привычка жить» – это само по себе; но рядом с нею, и как отличнейшее к ней дополнение, еще другая особенность: необыкновенная готовность к приспособлениям. Вспомнилось мне на днях случайно, как меня в детстве у папаша прощенья просить заставляли, так, поверишь ли, так я и ахнул: вот они, с которых пор, приспособленья-то наши, начались! Огорчишь, бывало, папашу, а прощенья просить не хочется. Вот мамаша с тетеньками и похаживает около тебя. «Разве тебя убудет от того, что ты скажешь папеньке: пардон, папав?» – уговаривает мамаша. «Разве у тебя язык отвалится?» – убеждает одна тетенька. «Разве у тебя заболит головка?» – подбадривает другая тетенька. Слушаешь-слушаешь эти предики, возьмешь да и выпалишь: «Пардон, папа!» И что ж, действительно, как по-писаному, так и сбывалось. Ни самого меня не убывало, ни язык не отваливался, ни голова не болела... Прошло детство, настала настоящая жизнь, и что дальше, то больше. Стон кругом стоит: разве тебя убудет? разве язык у тебя отвалится? тут и литература, и наука, и нравственный кодекс – всё тут. А вдали, в перспективе, дилемма: с одной стороны, храм славы с надписью: «Не убудет»; с другой – волчье существование среди науськиваний и шипений. Спрашивается: как с этим быть? как без срама устроиться с «сладкой привычкой жить», которая, как ты сам сейчас

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сказал, в существе своем, вполне законна? Тут-то вот Крокодилы и подстерегают тебя: цып-цып-цып...

На этом наша беседа и кончилась. Вызвана она была вопросом: как с этим быть? и разрешилась... тем же вопросом.

ПИСЬМО VIII

Если бы не одно дельце, да дядя Захар Иванович вовремя удержался, то был бы он воротилою, наравне с прочими.

Дядя Захар Иванович Стрелов – старик старый. Родился он в 1812 году, во время француза, и, следовательно, теперь ему с лишком семьдесят лет. Однако он еще довольно проворно семенит ногами, да и руки у него еще цепкие, так что если бы попала в них взятка, то, мне кажется, он мог бы ее ухватить. Сверх того, он сохранил вкус к жизни, любит поесть и выпить, но лицо у него начинает уже походить на лицо младенца, который только что начал понимать зажженную свечу и радуется, когда ею перед глазами машут. Этому сходству много способствует лысина во всю голову, напоминающая голое колено. Новых порядков он не любит, не исключая даже нового обмундирования. В шкафу у него висит старинный путевский мундир, с расходящимися сзади фалдочками, и он, от времени до времени, надевает его, подходит к зеркалу, поиграет фалдами и вздохнет.

Во время коронации императора Николая он был уже кадетом, а в начале тридцатых годов получил первый офицерский чин и в качестве инженера рыл каналы в Шлюшине. [24]

Хищником, в современном значении этого слова, он не был – в то время люди были для этого слишком бесхитростны, – но взятки брал более чем охотно и в казне черпал неупустительно. Уже в Шлюшине он изыскивал недурные, в этом смысле, случаи. Выроет, бывало, один кубик, а напишет два: один – кесарю, другой – себе. Скопивши таким образом сокровище, он не только сам жил в свое удовольствие, но и доставлял удовольствие другим. Съездит на лодке в Петербург, накупит конфет, апельсинов и угощает шлюшинских дам. Сверх того, был мастер устраивать вечеринки, пикники; словом сказать, был душою общества. Поэтому дамы говорили о нем: «точь-в-точь кавалергард!» Он же, придя в умиление от такой похвалы, сравнивал исправничиху с княгиней Шептаевой, а предводительшу – с графиней Подстанниковой, которые, по его словам, составляли цвет тогдашнего петербургского бомонда и принимали его в своих салонах за то, что он им привозил в презент копченых ладожских сигов.

В сороковых годах он был уже штабс-капитан и почувствовал у себя в кармане такие деньги, что хоть подполковнику не стыдно. Сороковые годы, вообще, были странные годы. С одной стороны, Грановский, Белинский и их кружок (обративший потом в стадо свиней), с другой стороны – Стрелов, крепостные дела и целая армия исправников и становых. Смешение человеческого образа с звериным. Кстати, в это время уже начал ходить слух, что Петербург намереваются соединить с Москвой железным путем. Надеялись, что в Петербурге подешевеет икра. Дядя Захар нюхнул в воздухе и унюхал, что тут уже не шлюшинскими кубиками пахнет. Причислился к главному управлению и начал похаживать по коридорам, в надежде попасть на глаза власти имущему. Стрелов был подвижен, изворотлив и юрок, имел хорошенькое брюшко и веселую турнюру, что при тогдашней амуниции выходило очень мило. Станет дяденька передом – у него пупочек играет; станет задом – играют фалдочки; не удивительно, что зоркий глаз начальника, при первой же встрече в коридоре, заметил его.

– Кто этот расторопный офицер? – спросил генерал.

Назвали Стрелова.

– Мне такие люди нужны!

Объяснились. Начальник возложил его на лоно, подчиненный – так и прилип к лону. В скором времени Стрелов очутился в самом сердце железнодорожных вожделений, и как только почувствовал, что навстречу ему ходит лафа, то съездил в Муромские леса, набрал там шайку и держал атаманам такую речь:

– Вы будете у меня заместо подрядчиков и строителей. Если кто у вас спросит: кто ты таков? – то не отвечайте: я муромский разбойник, а говорите: десятник,

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru поставщик и т. п. Слушайте теперь. Вот, примерно, перед вами рельс; стовит он, положим, хоть двадцать рублей, а мы запишем сорок. Если спросят: кто ставил? – говорите: разбойник... то, бишь, подрядчик Кудимыч. Вот и всё. А когда уйдут спрашиватели, мы возьмем да двадцать рублей отдадим кесарю, а из других двадцати десять возьму я себе за выдумку, а остальные десять – вам на вино. Любо ли?

– Любо! любо! – крикнули в ответ атаманы-молодцы.

– Или: вот вам глина, вот камень, шпалы, песок, рабочие силы, – продолжал дядя, припоминая строительные элементы. – И везде одна половина – кесарева, другая – наша. Любо ли?

– Любо! любо!

И деятельность по дороге закипела. Дядя Захар бегал и ездил днем по работам, а ночью метал разбойникам банк. Денег появилась такая масса, что не знали, куда девать. Выписывали из Петербурга прелестниц и где-нибудь в селе Едрове устраивали афинские вечера. На одном таком вечере цыганку Стешку исщипали так, что для того, чтоб замять дело, потребовалось отдать табору не меньше двадцати тысяч рублей. Поливали друг друга шампанским, поили шампанским реку, загоняли на станции лошадей, чтобы побывать вечером в Александринке, с риском попасть на гауптвахту, или чтоб какой-нибудь крале, поселенной в Едрове с специальной целью увеселять муромских разбойников, доставить букет. Словом сказать, груды денег извлекались из недр казначейских кладовых, распределялись по карманам и исчезали неведомо куда.

В самый разгар этого распутства Стрелов женился. Он уже настолько имел в ломбарде, что мог без боязни глядеть вперед. Партия ему представилась прекраснейшая, даже знаменитая. России, лет пятнадцать тому назад, подчинился один из касимовских князей, Абдулка. Но искренности его подчинения не сразу поверили, а посадили в кибитку и приказали возить взад и вперед по Касимовскому уезду, покуда он не познает света истинной веры. Разумеется, он познал очень скоро; его окрестили, наименовали Михаилом и оставили за ним княжеский титул с фамилией Мамалыгина. Тогда же окрестили его дочь, назвав Надеждой и поместив в Екатерининский институт. Там ее выпоили, но училась она плохо, что не помешало ей в свое время прийти в совершенный возраст и сделаться невестой. Вот на нее-то и обратил взоры дядя Захар Иваныч. С месяца времени кормил он Абдулку в палкинском трактире шашлыком, а будущую невесту – шепталой, и наконец получил согласие. Ему лестно было ездить с визитами с женой, у которой на карточках было напечатано: «Надежда Михайловна Стрелова, рожденная княжна Мамалыгина». При этом он намекал, что жена его происходит по прямой линии от Мехмеда-Кула, «сибирских стран богатыря», который первый воскликнул: «Нет, лучше смерть, чем жизнь поносна!», а за ним этот возглас стали повторять и прочие армии и флоты.

Теперь бы майору Стрелову остепениться и начать бы жить да поживать с капиталцем и молодой женой, но его лукавый попутал. Дорога велась по ровному месту, а он рапортовал, что срыл гору, и потребовал сверхсметного назначения. На его несчастье, место это было хорошо знакомо, и потому рапорт его произвел изумление. Любостяжание его заметили где-то очень высоко и послали фельдъегеря... фельдъегерь, вместо двадцати четырех часов, судил всего двадцать четыре минуты, посадил Стрелова в тележку и привез в Петербург. Покуда он сидел в кутузке и мыкался по мытарствам, Надежда Михайловна отчаянно вопияла:

– Неужто я буду солдаткой?

Но дело кончилось благополучнее, нежели можно было ожидать. Начальство вспомнило прежние заслуги майора (он несколько таких гор прежде срыл) и велело ему подать в отставку, вместо того чтоб забрить лоб.

Стрелов поселился безвыездно в деревне и считал деньги. Очень редко он наезжал в Петербург, и именно только в тех случаях, о которых будет упомянуто ниже. Жена его, от скуки, народила груду детей, которые впоследствии все сделались инженерами. Наступило полное одиночество, которое еще более отравлялось воспоминаниями о прошлых блестящих днях.

– И черт меня попутал, – жаловался майор, раскладывая пасьянс, – в другом месте две горы мог бы срыть, а тут из-за одной горувшки пропадаю!

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Он видел окончание монументальной дороги и строил воздушные завмки. Теперь он был бы уж полковником и, наверное, заведовал бы дистанцией. Некоторое время он вел переписку с прежними друзьями, посылал им откормленных индюков, просил похлопотать, но постоянно получал в ответ: «Ничего не поделаешь!» Наконец друзья совсем замолчали, и он мало-помалу окунулся на самое дно реки забвения.

Но вот в воздухе почуялись новые веяния. Сначала радовались, потом стали тужить. Наконец Подхалимов открыл эпоху упразднения хищничества и торжества покаяния...

Повторяю: дядя Захар не был хищником в современном значении этого слова. В его время было в моде казнокрадство и взяточничество, и дядя следовал общей моде. Хищничество же народилось позднее, совершенно неожиданно, и не устранило ни воровства, ни взяточничества (на всякий случай), а только презирало их. Да и нельзя было не презирать, потому что с этими явлениями сопрягались разные постыдные поступки. Тут встречались и мертвые тела, и подчистки, и преднамеренные описки, и взлом сундуков. Все это можно было на картинке написать. В хищничестве, напротив того, все так тонко, чисто и даже благородно, что о картинках и речи не может быть.

Но и в хищничестве имеются подразделения. Бывает хищничество простое, и бывает сложное. В первом можно указать на действующих лиц и на претерпевших. Сверх того, оно до известной степени наказуемо, и состав его можно без труда определить. Разнится оно от воровства тем, что пошло далее сферы станковых приставов и обставило себя благороднее. Иногда оно надевает на себя даже личину государственного интереса: заселение отдаленного края, культура, обрусение и т. д. В сложном хищничестве действующих лиц совсем нет, и только приходится удивляться, каким образом человек, которого, незадолго перед сим, знали без штанов, в настоящую минуту ворочает миллионами. Сложное хищничество есть порядок вещей, ничего больше.

Дядя с грехом пополам мог додуматься до простого хищничества; однако и тут он понимал, что без связей ничего не поделаешь. Чтоб захватить землицы по гривеннику за десятину, нужно иметь «руку», уметь угадывать момент, кланяться, просить, что требовало времени и изнурительных хождений. Что же касается до сложного хищничества, то он положительно его не постигал и только, наравне с другими простецами, ахал.

– Без штанов знал! без штанов! – восклицал он, – а теперь в соболях ездит! Лошади не лошади, экипаж не экипаж! Занимает целый дворец, задает банкеты; во всех комнатах картины с голыми женщинами! Жену – купил, а потом предоставил, а сам двух француженок содержит! Ну, скажите на милость, зачем ему понадобились две? И каким образом все это случилось?

Он забывал при этом и свое прошлое, и свои теперешние вожеления, и даже то, что он был бы несказанно счастлив, если б очутился на месте этого голоштанника, который теперь в соболях ходит.

Тем не менее жажда хоть что-нибудь урвать заставляла его довольно чутко прислушиваться к новым веяниям и от времени до времени посещать Петербург.

Что такое веяние? Это – одно из выражений той паскудной терминологии, которая получила у нас право гражданства тридцать лет тому назад. Означает оно: вот что нужно делать, чтоб как можно больше напакостить.

Вся эта терминология есть плод личной алчности и совершенного отсутствия представлений об интересе общественном. Здесь нет речи ни об отечестве, ни о согражданах, ни об общем благе. Одна обнаженная алчность – только и всего.

Таких веяний в нашем обществе было много, но я намечу лишь главнейшие. Во-первых, веяние радостных ожиданий; во-вторых, веяние горестных утрат; в-третьих, веяние хищничества; в-четвертых, веяние сапогов всмятку, и наконец...

В первый раз, после многих лет воздержания, дядя Захар посетил Петербург в эпоху радостных ожиданий. Тогда говорили: земля наша обильна; и на поверхности, и в недрах – всего у нас довольно, и для себя, и для Европы. Европа гниет и переживает себя, а мы возрождаемся. До сих пор мы жили как слепые, по милости крепостного права, а теперь вольный труд все наши богатства открывает. В особенности отличался по части пророчеств и предвидений публицист Кокорев,

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru который даже в кучах навоза открывал золотые россыпи.

Хорошее это было время, светлое, хотя, как потом оказалось, не особенно умное. Но кто же мог думать, что из всех этих чаяний ничего не выйдет путного, кроме переворачивания давно истлевшего хлама? Многие, скрывавшиеся до тех пор в заветных кубышках, миллионы увидели тогда свет, побывали в «Обществе жизненных продуктов», в «Сельском хозяине» и проч. – и пропали неведомо куда. Где они теперь? Не может же быть, чтоб не нашли себе пристанища и хоть кого-нибудь да не оплодотворили. Не тогда ли было положено начало тому грандиозному финансовому распутству, которое впоследствии дало такой пышный цвет?

То было время севооборотов, покупки машин, продажи выкупных свидетельств и, преимущественно, трактирных безобразий. Денег появилось множество; почти вся Россия была выменена на выкупные свидетельства. Явились ростовщики и кровопийцы, которые скупали эти свидетельства за грош. Но владельцы не обращали на это внимания, в надежде, что вольный труд вознаградит сторицею.

– Видели вы жнею, которую я купил у Бутенопа? Приезжайте, батюшка, посмотрите, как чисто работает! А моя сеноворошилка? А мои плужки? Прелесть! – раздавалось из края в край, – теперь мне рабочих на две трети меньше надо будет.

А через неделю жнея и сеноворошилка лежали в сарае поломанные, и баба по-старому копошилась в море ржи, которое сгоряча не по разуму насеяли.

Крестьянин скоро раскусил помещика и втихомолку посмеивался. Помещик, ни к чему не приготовленный, ленивый и беспечный, способен был только питаться надеждами и зря бросать деньги. Он не понимал, что для того, чтоб извлекать из сельского хозяйства двугривенные, нужно вставать с зарею, целые дни бродить по полю и, придя вечером домой, усчитывать себя.

Впрочем, некоторые (а в том числе и дядя Захар) спохватились и пустили в ход «прижимку». Отрезывали хитросплетенные наделы, обрабатывали землю исполу, донимали крестьян штрафами и хождением по судам и наконец занялись ростовщичеством.

Но вообще, несмотря на чаяния и упования, общий голос был: всего у нас довольно; и несметные сокровища в настоящем, и светлые перспективы в будущем, только людей нет. Публицист Кокорев говорил это громко, советовал пустить в ход добрую чарку вина, и цензура ему в том не препятствовала.

Дядя Захар подслушал эти жалобы и явился на клич.

Разумеется, он остановился у меня и не без уверенности объявил:

– Теперь мое дело выигранное. Нужны люди, а я человек бывалый, опытный и не без царя в голове, чего еще?

– Но ведь вы, дядя, не из сочувствующих? – возразил я.

– Что ты, что ты! Христос с тобой! Я, брат, всему сочувствую. Я и адрес из первых подписал. Приехал в ту пору в собрание губернатор: «Господа, говорит, надо доказать...» Ну, я и доказал: обмакнул перо в чернильницу, дай бог счастливо!

– Да, но с мужичками-то вы все-таки не очень охотно расстались.

– Я-то? да я мужичка даже очень люблю. Дай только мне...

Он выпросил у меня, перед кем и в каких канцеляриях предстоят хождения, и на другой же день начались поиски. Он ходатайствовал неутомимо, с утра до ночи, возвращался домой измученный и часто разочарованный, но все-таки надеющийся.

– Вот говорили, что людей нет! – восклицал он, – а их тут, куда ни придешь, труба нетолченая!

Счастье, однако же, по-видимому, улыбнулось ему. Прошедшее его, за общей суматохой, было забыто; люди стояли у дела совсем новые, и перед ними предстал тоже новый человек, свежий деревенский коренник, с чувством говоривший о меньшем брате. Его выслушивали с видимым интересом, расспрашивали, сколько может сжать в

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru день баба, сколько может в день скосить, вспахать и заборонить мужик, существуют ли у крестьян огороды, конопляники, отхожие промыслы, ремесла, сам-сколько родится рожь, овес, ячмень, сколько требуется муки в год на продовольствие одного едока и т. д. Он отвечал на вопросы бойко, но не спеша. Докладывал, что если мужик чувствует в чем-нибудь недостатки, то этому виной крепостное право; что ежели нет травосеяния, то этому виной тоже крепостное право; что ежели вообще сельское хозяйство в упадке, то и тут благодаря крепостному праву. При этом присовокуплял, что он уже в то время мечтал, когда мечтания строго воспрещались... Словом сказать, отрекомендовал себя с самой отрадной стороны.

Но тут он увидел вещий сон.

Я помню, он пришел к чаю пасмурный и задумчивый. Едва дотронулся до калача и долгое время сидел молча и барабанил по столу пальцами. На вопросы мои отвечал односложно и невнятно.

– Что с вами, дядя? – наконец спросил я его.

– Сон видел, голубчик!

– Неужели сон может так встревожить?

– Сон сну рознь; иной и может встревожить. Представь себе: вижу я во сне громадную стаю собак, и я будто бы между ними в собачьем виде. Только прочие собаки все об четырех ногах, а у меня будто бы только три, а четвертая оторвана. И будто бы я за стаей никак поспешить не могу, а ковыляю сзади всех... Вот!

– Так что же такое?

– А то и есть, что не добиться мне ничего: что-нибудь да случится.

– Эх, дядя, никто как бог! Может быть, и на трех ногах вы скорее добежите, нежели другие на четырех.

– Дай бог, дай бог! Но сомнительно. Поверь, что такие сны не даром. Уехать, видно, мне обратно в Муром, несолоно хлебавши.

Прошло еще несколько недель, а дядя не только ничего не терял в глазах начальства, а, напротив, все больше и больше нравился. Он уже успел убедить, что как только наступит вольный труд, то мы одним овсом Европу победим. Позабыв о вещем сне, он ходил веселый и радостный, ел с аппетитом, пил в меру, вечером ездил на Минералки и перемигивался с мамзель Сузеттой. Наконец однажды пришел к обеду домой и с торжеством объявил:

– Ну, теперь можешь меня поздравить! Сегодня я получил верное слово...

И вдруг он поперхнулся: на столе лежал адресованный на его имя пакет.

В пакете было приглашение пожаловать для личных объяснений.

– Это вы срыли гору на ровном месте? – спросил его начальник.

Дядя стукнул каблуками и отретировался.

Кто-то шепнул...

Возвратившись домой, дядя выпил сряду несколько рюмок водки и поскрипел зубами, а дня через два выехал в Муром.

Увы! он, наверное, воспрянул бы духом, если б знал, что в ту же ночь я видел продолжение его вещего сна. Снилось мне: добежала стая собак до пирога и в колебании остановилась: одни предлагали сейчас же разнести пирог на части, другие пытались отстаивать и защищать. Но защитники делали свое дело так неуверенно и неумело, что нападающие без труда одолели. Пирог был разорван мгновенно. Затем собаки смеряли друг друга глазами и стали грызться...

Польский мятеж дядя Захар как-то пропустил и догадался только тогда, когда дело

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru подошло к концу и началось обрусение. В это же время и в Петербурге что-то замутилось: начались пожары, покушения, допросы, судьбища, высылки; явились корни и нити. Кликнули клич. Обрусители, задешево получившие куски конфискованных земель, уже были готовы. Они отчасти продали земли, отчасти сдали их в аренду жидам, леса законтрактовали на сруб и первые явились на клич. Разумеется, это были избранники. Вслед за ними явился и майор Стрелов.

На этот раз он остановился не у меня, а где-то в номерах на Мещанской. Должно быть, он и меня заподозрил. Немедленно явился он к генералу и имел с ним непродолжительное объяснение.

– Прежде чем удовлетворить вашей просьбе, я требую, чтобы вы были вполне откровенны, – сказал генерал, пронизательным оком взглянув на просителя.

Дядя смутился и совсем машинально ответил:

– Срыл гору...

– На ровном месте?

– Точно так, вашество! – выпалил дядя.

– Это нехорошо; казну следует беречь, она царская. Но я вам не судья и надеюсь, что с тех пор вы исправились. Мне люди нужны, и именно люди, готовые загладить... Василий Андреич! – обратился он к секретарю, – запишите майора Стрелова. Вам скажут, майор, что нужно делать. Кстати: отчего вы не явились в Западный край?

– В деревне жил, вашество, не поспел, как по вашему манию все уже пришло в настоящий вид...

– Жаль-с. Мне и тогда нужны были люди.

Стрелов бросился вперед с очевидным намерением поцеловать генерала в плечико, но генерал уклонился.

Ах, какое это было время! Мрачное, наполненное привиденьями и каким-то удушливым безмолвием. Улицы были почти пусты. Немногие встречавшиеся люди смотрели испуганно, ничего не понимая. В окнах домов не было видно по вечерам огней, точно всё живущее куда-то спряталось. Приезжавшие с дач спешили скорее окончить дела и уезжали обратно. По ночам слышались оклики дворников и бряцание оружия по тротуарам. Ночные посещения производились наудачу, случайно, без малейшей системы. Больше всего пострадали либералы, так как предполагалось в них начало и корень всех последующих бед. Кто мог сжечь старую переписку – сжег; дорогие имена, дорогие речи – все приносилось в жертву. Кто не успевал сжечь или жаль было расстаться с дорогими собеседниками, тот впоследствии горько раскаивался. Ужасно было, ужасно! Но необходимо...

– Нельзя-с, – говорили оправдавшимся, – вы, положим, оказались жертвой ошибки, но, согласитесь, без этого нельзя. Такое теперь время, что нужно жертвовать собою.

И «жертвы ошибок» уходили домой утешенные.

Дядя действовал так усердно, что вскоре обратил на себя внимание; он действительно кого-то «поймал» и, во всяком случае, каждый вечер таскал вороха бумаг в подлежащую канцелярию. Его переименовали в штатский чин и обещали подумать об нем.

– Мне бы, вашество, хоть в губернию! – умолял он, – жена, воспитание детей...

– Да, но покамест и здесь дела много; прежде надо главное кончить; надо зло вырвать с корнем, начавши с самого начала, с заводчиков. Никого не жалеете, хотя бы... Главное зло – либералы; надо сорвать с них личину, потому что они заразили даже правящие классы. Долгогривые – эти уж потом явились... это – жертвы орудия! От либералов все пошло; если б не они, государство наше было бы сильно и грозно по-прежнему, и все мы были бы благополучны...

– Точно так, вашество!

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Гм... да... но, надеюсь, что вы на будущее время гор на ровных местах рыть не будете? – пошутил генерал с ангельской улыбкой.

– Никак нет-с, вашество!

– Ну-с, до свидания. Сегодня вам предстоит трудовая ночь. Надеюсь!

Я числился тогда в либералах и проводил время в самом деморализующем страхе. Ночью за входною дверью и за стеною соседней квартиры чудились шорохи. Еще минута – и звонок... пожалуйста! На дачу я не поехал. Такая тоска сосала сердце, что, казалось, никуда не убежишь. Чтоб заглушить ее, я ездил по вечерам в «Демидрон» и, возвращаясь домой, подъезжал к воротам в гнетущем смущении. Даже дворники заметили это, и так как я совершенно ни с того ни с сего увеличил им помесячную подачку, то они ободряли меня, говоря: «Ничего, бог милостив!»

«Как-то они меня аттестуют в квартале? – думалось мне. – Дворник! шутка сказать!»

Однако для меня все обошлось благополучно; я подозревал, что тут помог мне дядя. Мало-помалу и кругом стихло. Ни корней, ни нитей не было найдено, а обнаружился полный сумбур и совершенная общественная несостоятельность. Много оказалось вздорного хлама, а главное, испуга, испуга – без конца. Наконец наступила осень, и все вздохнули. В это же время, одним утром, появился у меня и дядя Захар.

– Дядя! давно вы здесь? – воскликнул я в умилении.

– Давно, месяца с три. У тебя не остановился, потому что... ну, да ты сам отлично понимаешь, почему...

– Понимаю... Ах, дядя, дядя! Что же вы делали в эти три месяца?

– А поступал, как следует всякому сыну отечества поступать. Сколько, братец, я этих долгогривых да стрижек перетаскал... страсть! Но главное – либералы. От них все зло. Я, душа моя, помню, как они меня в ту пору травили.

– Ну, уж и травили! ведь у всех свои убеждения. Да и где же кого-нибудь травить – либералам. Даже в лучшие времена их травили, а не они.

– Нет, это аттавнде. Я помню, как «он» меня на одну доску с канальей-поваром ставил. И я стою, и повар стоит, а он... судит. Я, голубчик, тогда два дня со всей семьей без обеда сидел, а потом, вместо повара, судомойку нашли.

– Да ведь это было сделано по закону?

– Какой закон? – книжка какая-то. Неужто закон только в пользу хамов? – нет, закон – так закон, а кроме того, и Священное писание: рабы да повинуются – вот это закон!

Дядя помолчал с минуту и потом с азартом продолжал:

– А сколько твоя тетя в то время вытерпела! – представь себе, никто не кланяется! Да этого мало: как ни придешь, в лакейскую ли, в девичью ли, – нет никого! «Где ты, шельма, была?» – «Нужно же мне погулять, человек тоже...» Человек! Она – человек! мерзавка! А «он» ездит по своему участку и популярничает. «Прасковья Ивановна! здравствуйте!» – Это Пашке-то! И ведь ни разу он ко мне обедать не заехал: всё на постоянный двор, а тут, кстати, и распибочная продажа... Пришлет мне повестку – и я туда же беги! Наслякощено, нагажено, в соседней комнате мужичье чай и водку пьет – срам! А он сидит и улыбается, и Прасковья Ивановна улыбается.

Ах, что было, что было! Тяжело, мой друг, и до сих пор тяжело!

Дядя снова смолк и скорбно склонил голову под гнетом горьких воспоминаний.

– А вы вещих снов теперь не видите, дядя? – спросил я, чтоб переменить разговор.

– Нет, я нынче вообще снов не вижу. Теперь мое дело верное. И я поревновал, и за

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – меня поревнут. Не только обещали, но даже верное слово дали. И знаешь, куда? – в вашу губернию! в самое что ни на есть гнездо...

– Ну, дай вам бог!

Дядя позавтракал у меня и ушел. Недели две я опять не видал его, как вдруг он приходит, расстроенный и смущенный.

– Опять этот сон! – вымолвил он глухим голосом.

– Дядя! ведь это несносно! Вы намеренно расстраиваете себя! – разуверял я его.

– Вот увидишь!

Действительно, конкурентов на златные места явилось такое множество, что всех «достойных» было немисливо удовлетворить. Пришлось принимать в соображение сторонние ходатайства. За одного просила графиня Шассев-Крузев, за другого – баронесса Думкопф, за третьего – сам князь Сампантрев, за четвертого – железнодорожник Губошлепов и т. д. Среди этой общей травли дядя был незаметно оттерт.

Он явился ко мне и бросил на стол бумагу:

– На, прочти!

В бумаге было изображено, что в настоящую минуту для коллежского советника Стрелова подходящего места в виду не имеется; но что заслуги его оценены по достоинству, и, вероятно, в неотдаленном будущем одна из первых вакансий будет предоставлена ему.

– Да, держи карман! Нашли дурака! – воскликнул с горечью дядя, – что же, по-ихнему, я должен пропекаться в Петербурге и ждать?... кукиш с маслом! Жить целый год на Мещанской, в протухлых номерах, и каждый день шататься по канцеляриям... мерси боку! И без того кучу денег прожил, а теперь и еще. Нет, зло не в либералах, а вот в этих Сампантрев да Шассев-Крузев... Довольно с меня. Я не ропщу, но... Видел к себе милость генерала – ну, и будет! Надежду Михайловну жаль; она, бедняжка, думала хоть в губернии повеселиться – и что ж!

Дядя опять надолго исчез, сообщив, однако, канцелярии свой адрес. На всякий случай.

К сожалению, на этот раз я продолжения вещего сна не видал.

В третий раз дядя приехал в самый разгар железнодорожной свалки.

Деятели того времени разделялись на два разряда: на званных, знавших все ходы и выходы, и на незванных, явившихся внезапно, сбоку припека. Последние принадлежали к числу деревенских жантильомов, проживших выкупные свидетельства, продавших «лишние земли» и жаждавших поправиться. В особенности выделялись те из них, которые имели в Петербурге так называемую «руку»: старых сослуживцев, родственников и т. д.

– А что, не попытать ли от Углича до Пошехонья дорожку провести? – мечтали они, – мне тетя Анюта отхлопочет!

И жены принимали участие в этих мечтаниях и усиленно поощряли их.

– Конечно, поезжай! – говорили они, – надо пользоваться; тетя Анюта теперь – сила!

Пускались в ход последние гроши. Петербургское население значительно увеличилось от наплыва искателей; гостиницы были полны. Жажущие наживы сидели по номерам, ели шатобрианы и ожидали, предварительно исколесив весь город. Множество празднующих ходило из дома в дом, изумляя тетенок и кузин неожиданностью проектов и повсюду суля участие в учредительских паях. Некоторые даже успевали. Проекты их, конечно, так и остались проектами, но тетя Анюта помогала пристегнуться к какому-нибудь другому предприятию, и благодаря ее назойливости празднующий уезжал домой не с пустыми руками.

Многие прожектеры из соседей по деревне и ко мне тогда заходили. Одни – с готовыми проектами, другие – так, послушать, что умные люди говорят. Но из последних редкие воздерживались. Посидят, поговорят, выпьют, закусят – и вдруг:

– А что, ежели соединить Тверь с Калугою железным путем? Ведь препитательная вышла бы дорожка!

Присядут к столу – и через полчаса проект готов, благо разграфленная бумага для статистических сведений продавалась в изобилии. Тотчас же все графы наполнялись словно волшебством: сапоги, сапоги, сапоги! А из Корчевы – лапти.

Однажды, около одиннадцати часов утра, в квартире моей раздался звонок. Звонили громко, самоуверенно, как звонят люди, у которых в кармане верный проект.

Оказался дядя.

– Приехали? – спросил я совсем некстати.

– Да, надоело хлопать глазами да облизываться. Ведь Губошлепов-то у меня десятником на дороге служил, а теперь, поди, какие куски рвет.

– Стало быть, проектец привезли?

– Так, лёгонький. Но в общей государственной сети необходимый. От Нижнего в Харьков, а может быть, и дальше, коли бог поможет. В Бахмут, Кременчуг – мало ли мест найдется!

– Вот как!

– Да, это будет – дорога! Надо тебе сказать, что теперь главный торговый центр не в Москве и не в Петербурге, а в Нижнем. Там слияние Оки с Волгой, двух важнейших водных артерий; там ярмарка, где встречаются отдаленный Восток с отдаленным Западом, где можно найти все, чего только пожелаешь, от ювелирного украшения, от тончайшей кашемировой шали и изысканного наряда, которому позавидует любая блестящая красавица, до лаптя, которого вожделеет мужик. Оттуда наконец сибирский тракт. Скоро ли мы дождемся сибирской железной дороги, а оттуда всё везут да везут. Куда? – в Москву, в Петербург? – Но там и без того своего довольно. Напротив того, Малороссия, с Харьковом в центре, даже в гвозде нуждается. Вот самый естественный исток. А в Харькове, в свою очередь, хлебные богатства, сало, шерсть – опять исток на север, где в этом нуждаются.

– Скажите на милость! – изумился я.

– А при этом дорога пройдет через мое имение; стало быть, и я останусь не без выгоды. Я, брат, умненько все это подстроил. Сначала Горбатов, потом Муром (питательная ветвь в Арзамас), Темников, Шацк, Спасск-Тамбовский (питательная ветвь в Ардатов), Моршанск... А оттуда сделаю в Харьков. Кроме отправных пунктов, сколько тут по дороге добра найдется!..

– Да, пожалуй, и не увезете, ежели всё...

– Увезем, не беспокойся! Пусть только разрешат. А не разрешить – нельзя: так все очевидно.

– Можно мне полюбопытствовать?

– С удовольствием, даже прошу. Я не делаю из этого секрета, и ежели ты найдешь что-нибудь заметить, то говори прямо. Я буду даже благодарен. Ты прочтешь, другой прочтет – смотришь, кто-нибудь и заинтересуется.

Через час мы уже сидели за бумагами.

– Вот это объяснительная записка, – говорил дядя, – мы ее после прочтем, а вот тебе карта дороги. Видишь: Горбатов, Муром, Темников, Шацк... Вот здесь Надежда Михайловна красный кружок поставила, а я его после подчистил – это наша Куриловка. Здесь предполагается устроить станцию с буфетом и остановку в 20 минут. Поезды будут так расписаны, что каждый будет у нас или завтракать, или

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru обедать, или ужинать. А кому угодно чай или кофе пить – милости просим!.. Буфет будет содержать наш повар Аким, так что мы даже стола дома иметь не будем, а всё со станции. Масло, молоко мы будем ставить на станцию свое; телят, индюшек, гусей, поросят – всё тащи на станцию. У нас в пруде крупные караси водятся, и их, стариков, туда же. А ягоды? овощи? фрукты? – всему найдется близкий и выгоднейший рынок. Кроме того: дрова, шпалы – всё из собственных лесов. А со станции мы будем получать отменнейшее удобрение. Всякий поезд что-нибудь унесет и что-нибудь оставит, не говоря уже о служащих. При станции постоянный двор – опять сбыт, опять удобрение. В заключение, жетоны на даровой проезд по железным дорогам целого мира – всему семейству. Я и тебе пришлю.

Я поблагодарил и невольно при этом облизнулся: так он отчетливо и вкусно все мне объяснил.

– А теперь смотри: вот статистические таблицы! – сказал он.

Он развернул лист разграфленной бумаги, на котором я прочитал:

С минуту стоял я очарованный. Не может быть, чтобы такого проекта не разрешили, – думалось мне. Мало-помалу, однако, рассудок вступил в свои права.

– Ноль-ноль-ноль! Какая же это статистика? – вымолвил я.

– Это, любезный друг, не есть важно. У меня в самой статистике служит человек, который какие угодно цифры проставит, да и особые примечания напишет. Эти цифры, может, хотя и противоречат официальным данным, но ведь всем известно, как у нас собирается официальная статистика; здесь же проставленные цифры суть плод опытных наблюдений, несомненных и верных... Вот он как напишет – и все будет прекрасно!

– О, коли так... Но почему же вы думаете, – Горбатовский, например, уезд... почему вы предполагаете, что он все свои замки повезет в Харьков, а не в Сибирь, не в Алатырь, куда тоже, пожалуй, дорогу поведут?

– Непременно в Харьков. Торговля, душа моя, это такая вещь, что где вернее и быстрее ожидается оборот, туда она и тянет. Везде хоть гвоздь сделать умеют; везде есть свои слесаря, а следовательно, и замки; в Харькове ничего и в заводе нет. Есть только сало.

– Да, коли так, то действительно... Ну, а как насчет пассажирского движения?

– Мужичья будет ездить пропасть. Вот первый и второй классы – эти будут прихрамывать. Видишь, я не скрываю от тебя и слабых сторон моей дороги.

– Но в таком случае нельзя ли устроить так?.. Просить – так просить. Объявить, например, обязательным, чтобы однажды в год весь Харьков побывал в Нижнем и весь Нижний – в Харькове. Ну, пикники, что ли, такие об масленице и святой устроить...

– А в имени у меня полчаса остановки: блины, куличи, яйца... да, это ид-де-я! Только трудненько будет ее провести с нашим русским сквальжничеством. У меня, впрочем, тоже проектец про запас припасен, но уж не знаю...

– В чем же он состоит?

– Да очень просто: обложить каждого пассажира обязательно по двугривенничку на предмет вознаграждения за увечья и смерть. Небреженительно, а для пассажиров – прямая выгода: обеспечение в будущем. За увечья будем платить по таксе; за смерть – смотря по человеку. За крестьянскую бабу и ста рублей за глаза довольно.

– И выгодно это для вас будет?

– Ничего, детишкам на молочишко останется. Предположи, что по дороге проедет – ну, мало триста тысяч человек в год. С каждого по двугривенному – это шестьдесят

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
тысяч рублей. А заплатим за увечья много-много пять тысяч.

– Ах!

– Да, голубчик, на все требуется сметка, все нужно предвидеть и взвесить заранее – тогда и будет все ладно. А впрочем, соловья баснями не кормят. Пора и в поход.

Целый месяц после того дядя прожил в Петербурге, и я его видел только урывками. Вставал спозаранок, пил чай один и исчезал на целый день. Сначала он мне кое-что рассказывал, но потом замолк. Стороной я слышал, что он был у Губошлепова, но тот отвечал, что у него своих делов по горло, а чужими заниматься недосуг. Тогда дядя напомнил ему про былое.

– Что было, то быльем поросло, – равнодушно ответил ему Губошлепов, – вместе горы рыли, и вы попользовались достаточно. А теперь я желаю.

Один из бывших сослуживцев, – теперь уже власть имущий, – к которому он тоже явился, сказал:

– Проект твой превосходный, и я даже удивляюсь, как никому прежде не пришло на ум... Харьков, Нижний – это именно... К сожалению, ты опоздал. Наше казначейство так скудно средствами, что может уделить нам лишь несколько миллионов в год. Эти миллионы уже распределены на несколько лет вперед, и сеть утверждена окончательно. Но после, когда все предположенное будет выполнено, – милости просим!

– Но неужто ж нельзя... сверх того?

– Невозможно. Не велено даже с представлениями входить.

Дядя бросился к евреям; но там потребовали, чтобы он обрезался. К чести его, я могу сказать, что он не согласился отступить от прародительских верований.

Тогда он начал искать, нельзя ли найти путь к чьей-нибудь «любезенькой». «Любезенькую» нашел и даже порастряс там немало денег. Надежды его оживились...

Но вдруг он явился однажды утром к чаю, махнул рукою и сказал:

– Сегодня уезжаю в Муром!

– Что так?

– Сон видел...

Наконец я виделся с дядей на этих днях. Он уже служит предводителем, известен как человек, который держит свое знамя твердо и грозно, и слухи о его благонамеренном нахальстве доходили даже до Петербурга. К тому же на этот раз он поступил толковее: не поехал прямо мозолить глаза своим проектом, а послал его куда следует заблаговременно, и успел заинтересовать. Последовало приглашение прибыть в Петербург.

– Тс... новости! – сказал он, являясь ко мне на постой.

– Новости... из Мурома?

– А ты думал откуда? Нынче и все новости из Мурома да из Кирсанова. У нас – источник всего, а вы, петербургские, только пережевываете.

Затем он свез просвирку от муромских чудотворцев и начал свою пропаганду.

Проект его носил заглавие:

ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТ!!

ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ

В сущности, это был проект всеобщего упразднения; но так как ныне все уже

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru согласны, что в упразднении-то и заключается обновление, то терминология его была принята без особенных затруднений.

Он предлагал упразднить все: суды, земство, крестьянское самоуправление. Даже исправников и станowych приставов. О кабаках говорил с оговоркой: вредны, но на них зиждется... Все уезды он делил на попечительства, по числу наличных дворян-землевладельцев или их доверенных, и с подчинением всех попечителей предводителю. В руках попечителей перепутана была власть судебная, административная и полицейская. Они заведовали народной нравственностью, образованием, зрелищами, играми и забавами. Обязаны были устранять вредные обычаи и искоренять сквернословие. Но преимущественно смотреть, чтоб мужик не ленился. Своевременно созывать сходки и объяснять крестьянам их обязанности и необходимость повиновения. За хорошее поведение дарить мужикам кушаки, а бабам – платки.

Проект был прост и ясен, как день, и потому не удивительно, что имел успех. Фамилия Стрелова повторялась в салонах. Его приглашали, с ним совещались. Дамочки называли его не иначе, как «le bourru bienfaisant».[25] Но, сверх того, ему и пообещали. Замечательно, что и тут не обошлось без завистников: кто-то шепнул о срытой горе; но на этот раз извет не имел успеха и даже был встречен с некоторым неудовольствием.

– Все в свое время горы рыли! – отвечали изветчику, – то было время, а теперь – другое; господин Стрелов понял это лучше, нежели кто-нибудь, и конечно...

Дядя ходил радостный и полный надежд. Проект его был приобщен к числу прочих, с тем, что его примут в соображение в своем месте и в свое время. Пройдут десятки лет, народится новое поколение, и какой-нибудь трудолюбивый собиратель старинных курьезов прочтет его и напечатает с эпиграфом:

Вот как жили при Аскольде
Наши деды и отцы...

Словом сказать, жизнь вновь улыбнулась дяде, как в эпоху ранней молодости. Ни одного вечера не видал я его дома – все на раутах среди дам или в мудрой беседе со старцами.

Но здесь я должен оговориться и поспешить приведением этой истории к концу. История вообще (в том числе и настоящая) обязана относиться к современности сдержанно. Нет ничего раздражительнее, как современность, и историк напрасно будет усиливаться в соблюдении справедливости при оценке фактов. Его всегда упрекнут в пристрастии. Еще Гоголь сказал: напиши что-нибудь про одного титулярного советника – все титулярные советники примут на свой счет. Точно так и тут: напишите какую угодно небылицу – все современные небылицы в лицах примут на свой счет.

Кончаю. В заключение скажу только, что дядя Захар теперь фигурирует в губернии, величается вашеством, и солдаты на тюремной гауптвахте выбегают, когда он проезжает мимо...

Вещих снов он не видит.

ПИСЬМО IX

В пестрых письмах было бы ненатурально не упомянуть о пестрых людях, заполонивших в настоящее время вселенную. Исправляю в этом письме сделанный мною пропуск.

Пестрое время, пестрые люди. Оттого и жить трудно стало; не на кого положиться, не во что верить; везде шатание, пустодушие, пестрота. Чего не ждешь, то именно и случится; от кого не чаешь – тот именно и стукнет тебе по темени. Дурное, спутанное время. Проворовались людишки, остатки совести потеряли.

Общий признак, по которому можно отличать пестрых людей, состоит в том, что они совесть свою до дыр износили. А взамен совести выросло у них во рту по два языка, и оба лгут, иногда по очереди, а иногда – это еще постыднее – оба зараз. Жизнь их представляет перепутанную, бессвязную и не согретую внутренним смыслом театральную пьесу, содержание которой исключительно исчерпывается переодеванием. Всем они в течение своей жизни были: и поборниками ежовой рукавицы, и либералами, и западниками, и народниками, даже «сицилистами», как теперь говорят. Но нигде не оставили ни скрупула своей души, потому что оставить было

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru нечего. Все их искусство всегда состояло в том, чтобы выждать потребный момент и как можно проворнее переодеться и загримироваться. Словом сказать, это вполне оголтелые, в нравственном отношении, люди, – люди, у которых что ни слово, то обман, что ни шаг, то вероломство, что ни поступок, то предательство и измена.

За всем тем необходимо различать три сорта пестрых людей. Во-первых, те, которые сами себе выработали пестрое сердце и пестрый ум и преднамеренно освободили себя от всех стеснений совести. Это коноводы и зачинщики. Они пишут передовые статьи, шныряют по улицам, забираются в публичные места, пишут доносы, проникают в передние власть имеющих лиц – и везде каркают, везде призывают кару. И в либеральном смысле каркают, и в ежово-рукавичном, хотя в последнем уже по тому одному энергичнее, что самое представление о ежовой рукавице необходимо сплетается с представлением об энергии. По наружному виду их можно, по временам, принять за фанатиков убеждения, но они просто фанатики казенного или общественного пирога. Злы они неизменно, потому что хоть и в форме робкого шепота, а все-таки доходит до них напоминание о предательстве. И вот благодаря этим напоминаниям, рядом с вожделем к пирогу, в них возникает потребность отомстить за все прежние переодевания. А на ком же слаще излить месть отравленной души, как не на бывших случайных единомышленниках, свидетелях этих переодеваний?

Во-вторых, люди, которые пестрят ради шкурного спасения. Собственно говоря, их даже нельзя причислить к категории пестрых людей. Это не пестрота, а истязание, вымученный ответ на допрос с пристрастием. Ужасно несчастные эти люди. Помните, я однажды рассказал, как свинья Правду чавкала, а Правда перед свиньей запинаясь, изворачивалась и бормотала. Так вот это самое и есть тот же процесс. Из всех истязаний чавканье живого тела – самое ужасное, и потому люди, которые ему подвергаются, приобретают растерянный и испуганный вид. По собственной инициативе они не пестрят, а только поддакивают. Но быть свидетелем этих поддакиваний – не дай бог никому.

Третий сорт «пестрых людей» представляют собою те, которым фея жизни, при рождении, пестрое ремесло, в виде дара, в колыбель положила. Таковы, например, все Молчалины. Всю жизнь свою они издерживают на пестрые дела, но что означает эта пестрота, полезна она или вредна и даже сопровождается ли какими-нибудь осязательными последствиями и для кого именно – ничего не знают. Большинство так и умирает, не догадавшись. Жалко этих людей, со стороны глядя, но сами они неудобства такого существования не сознают. Они обязательно принимают пестроту к исполнению и, исполнив, что по программе следует, обязательно же сдают свою работу другим бессознательно пестрым людям, а сами исчезают в могиле.

Первообразом пестрых людей, разумеется, служит индивидуум первой категории. Остальные две категории составляют только естественный и неизбежный придаток.

Первообраз потому представляется наиболее мучительным и опасным, что он был некогда нашим сочувствователем и затем, совершив обряд переодевания, подкрался к нам внезапно и исподтишка и впился своими когтями. Правда, мы и прежде замечали в нем склонность к переодеваниям, но добродушно подсмеивались над нею, не придавая этому факту особенного значения. Между тем эта склонность росла и росла и наконец выросла в меру совершеннолетия. А я уверен, что он и теперь, заглядывая по временам в будущее, думает: ежели «веяние» и переменится, то я всегда успею заново переодеться и загримироваться.

И он загримируется, и опять все забудется, и опять мы отведем ему место среди «своих». Мы – люди убеждения, люди естественного и логического преуспевания, люди, беззаветно отдавшие своей стране все свои душевные помыслы и силы. Я не однажды ратовал против этой повадливости; но предостережения мои не имели успеха. Это, впрочем, и понятно. Честным и убежденным сердцам столь же мало свойственны злопыхательство и мстительность, сколько они естественны в людях переодеваний. Как я уже сказал выше, последние мстят не за обиды, которых им никто не наносил, а за собственную душевную оголтелость, за то, что есть живые свидетели этой оголтелости.

Я живо помню время, когда впервые народилась идея хождения в народ. В основе этой идеи лежала отнюдь не пропаганда «науки преступлений», как ябедничали тогда взбудораженные и еще полные жизненности крепостники (да не живы ли они и теперь?), а внесение луча света в омертвевшие массы, подъем народного духа. Распространение грамотности и здравых понятий о силах природы и отношениях к ним

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru человека – вот что стояло на первом плане. Расскажите эпизоды этой печальной истории и подробности возбужденной ею паники любому культурному немцу, – и вы увидите на его лице только недоумение. Он вспомнит свою добрую молодость, вспомнит, как он, целым обществом, с посохом в руках, исходил пешком все уголки Германии, посетил ее горы и долины, изучая родную страну и входя в непосредственное общение с ее народом. И непременно скажет, что все это послужило к пользе народной, к поднятию общего уровня народного самосознания и к освежению самой культурной среды.

Вероятно, из Германии пришла и к нам идея хождения в народ. И все тогда сгруппировались вокруг нее, все горели нетерпением и энтузиазмом, и ежели не объявляли о своих намерениях во всеуслышание, то единственно по привычке опасаться, что всякое честное начинание искони является у нас подозрительным. Были в числе энтузиастов и «переодеватели» и, наравне с прочими, горели и плескали руками.

Я не принимал в этом движении непосредственного участия, – у меня было и есть свое собственное дело, – но всегда относился к нему с сочувствием. Кроме прямой пользы для народа и для правящих классов, я не видел никаких угроз в будущем. Находя по чистой совести, что управлять народом, уже вступившим в период самосознания, гораздо славнее и легче, нежели управлять полудикой толпой, гонимой страхом, я так, в этом смысле, и вел мою беседу с читателем. Я никогда не претендовал на роль вожака; я уклонялся от разговоров о распределении богатств, предоставляя решение этого вопроса будущему; не говорил ни о нивелировании, ни о ниспровержении, ни о крамоле и даже не выражался, что мы танцуем на вулкане. Никаких вулканов я не замечал, да и теперь не вижу, хотя времени прошло с тех пор достаточно. Я призывал к справедливости – только и всего.

Тем не менее известно, как встречены были мои беседы и каких постыдных издевок они мне стоили со стороны так называемых охранителей.

Но бодрые люди шли и шли. В числе их внезапно, но, по-видимому, вполне искренно, очутился и Семен Скорняков.

Скорняков был моим сверстником по школьной скамье. В школе он был скорее нелюбим, нежели любим, и нелюбим потому, что чересчур уж ласково глядел в глаза начальству. Последнее благоволило к нему и ставило в пример, исключая, впрочем, учителя латинского языка, который почему-то называл его крокодилком.

– Что ты, крокодил, все хнычешь (действительно, когда его обижали, то он не плакал, а хныкал)? – говаривал он. – Знаешь, как твои собратья из Нила купающихся ребят утаскивают, гложут их и при сем хнычут? Так и ты со временем. Правду будешь глотать и хныкать.

И странное дело! – когда учитель это говорил, то всем казалось, что Скорняков вот-вот сейчас захнычет. Но он в ответ только застенчиво опускал глаза, точно просил у учителя прощения, что огорчил его.

По выходе из школы Скорняков, благодаря своим скудным средствам, не последовал примеру товарищей, отдавших себя в жертву портным и лихачам-извозчикам. По крайней мере, этот угар ежели и был, то прошел в нем очень скоро. Напротив, он выработал в себе вкус к книжке, поступил вольнослушателем в университет и через два года сдал кандидатский экзамен.

Вкус к книжке сблизил нас, так что некоторое время мы даже вместе жили. Я тогда уже начал пописывать, впрочем, только мелкие рецензии. И Скорнякову доставал работу. То было время самого разгара распри между западниками и славянофилами. Разумеется, мы не были не только первостепенными, но даже третьестепенными деятелями в этом движении, но все-таки следовали за общим литературно-полемическим потоком. Я был горячий и искренний поклонник Белинского и Грановского; Скорняков тоже выдавал себя за западника, но с оговорками и как бы оставляя себе лазейку в будущем.

– А община?! – говорил он, многозначительно поднимая указательный перст.

Теперь все это до того стерлось, что самые рубрики сделались пустопорожними выражениями. Теперь большинсто славянофилов убедилось, что есть община и община;

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru что община, на которой они созидали благополучие и силу России, не обеспечивает ни от пролетариата, ни от обид, приходящих извне; что, наконец, будущая форма общежития, наиболее удобная для народа, стоит еще для всех загадкой. Напротив, по странной случайности, бывшие западники, ставши ближе к кормилу, примирились с общиной, потому что с нею сопряжена круговая порука. Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять.

Но тогда все кипело и рвалось сразиться...

Для Скорнякова, однако ж, западническое кипение получило очень скорый, хотя и случайный, конец. Умер его отец, и он вынужден был поселиться в Москве. С этих пор для меня он надолго исчез. По-видимому, тут впервые у него зародилась мысль о карьере. В Москве он успел приютиться под крылышко одной из дам-патронесс, очень еще интересной старушки, и через нее пробился в славянофильский кружок. И тут он выдающейся роли себе не нашел, а был только «вхож», – и за это спасибо. Славянофилы того времени были люди богатые, титулованные, имели в Петербурге связи и родство и жили под прикрытием митрополичьей рясы. Скорнякову не понравились, однако ж, их напыщенность, чванство и семинарская надменность, но он решился терпеть во имя будущего и вскоре сделался ревностным прозелитом. Писал в «Москвитянине» филиппики против западников и громил последних на чем свет стоит. Хомяков ему улыбался, Юрий Самарин подавал два пальца, Погодин показал свое книгохранилище (вместо гонорара за статью), Константин Аксаков целовал. В заключение патронесса определила его чиновником особых поручений к важному лицу.

Здесь он чуть было опять не сделался западником, потому что важное лицо не любило славянофилов и называло их кутейниками. Но оно же не любило и западников, подозревая их в замыслах к ниспровержению порядка. Потому Скорняков решился сделаться простым здоровым русским человеком, таким же, каким был его начальник. С этой целью он выработал себе особую русскую точку зрения, в основе которой лежало исполнение предписаний начальства.

В это время судьба завела меня в один из отдаленных уголков России, где я пробыл около восьми лет, забытый и оставленный. О Скорнякове, разумеется, я никаких сведений не имел.

1856-й год опять нас столкнул. Пошли слухи об эмансипации, и оба мы ликовали, что наконец сравнялись с Европой.

– Вот увидишь, какую роль будет играть наша община! – восклицал он.

Мне, впрочем, и самому начинало казаться, что община скажет что-то новое. «Упраздните крепостное право, и сейчас же на сцену выступит община!» – вот как тогда говорили все, и даже западники, которые стояли тогда во главе движения и уже провидели удобство круговой поруки.

Когда все было кончено и новое «Положение» издано, Скорняков стал задумываться. Он уже высмотрел исподволь людей, которые готовы были появиться на смену деятелям «Положения», и под рукой наводил справки.

– Знаешь ли что? – говорил он мне, – не слишком ли мы поспешили? То есть, ты понимаешь, я совсем не в том смысле... Это дело святое, необходимое... но тем не менее годик-другой...

– Эй, Скорняков! Виляешь хвостом! – возражал я, впрочем, нимало не сердясь.

– Нет, совсем не то. Я только говорю, что бедные помещики... Ведь это все-таки представители нашей культуры...

Вдруг он опять исчез из Петербурга. Одновременно с этим исчезновением на столбцах одной «уважаемой» московской газеты начали появляться размашистые статьи, в которых проливались слезы в пользу бедных помещиков, а о мужике рассказывались смешные, а отчасти и возмутительные анекдоты. Обвинялись, по преимуществу, мировые посредники, а за ними и все вообще сочувствующие новосозданному порядку вещей. Прямо говорилось, что они революционеры, нивеляторы и подрыватели основ. Прошли слухи, что в составлении этих статей, и не без косвенного поощрения, принимает деятельное участие Скорняков. Действительно, он был там. Писал и спереди, и сзади; спереди – клеветал серьезно

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и убежденно, сзади – в шутовском русском тоне. Статьи эти были замечены.

– Вы имеете перо, – прогудел ему некоторый сановник, – держите его бодро на страх разрушителям и на пользу добрым порядкам. Это теперь нужнее, нежели когда-нибудь.

Прошла питейная реформа, но Скорняков не соблазнился ею. Он говорил, что дивиденд – дело преходящее и немного даже зазорное и что истинное его назначение – внутренняя политика, которая, конечно, вознаградит его превыше всяких дивидендов.

И он не ошибся. До тех пор он был только многообещающим бутонем, но недолге этот бутон распустился в пышный и далеко разливающий аромат цветок. Карьера его двинулась быстро и блестяще. Прежде всего он попал в обрусители. Исполнял свято предначертания, но в то же время и сам почтительно представлял соображения. И делал это так ловко, что предначертателю оставалось только сказать: «Вот именно моя мысль! вы именно угадали ее». За эту ловкость и скромность он получил, кроме всего прочего, хороший кусок пирога и уверенность, что на будущее время он «необходим».

Вслед за тем он опять появился в Петербурге и тут уже прогремел не на шутку. Имя его сделалось страшно, и даже наружность изменилась. Лицо обрюзгло и получило коричневый тон; глаза горели плотоядно; голос сделался громкий и вылетал как из пустой бочки. Из крокодила благообразного выработалось настоящее чудовище. Он не перебежал с одной стороны улицы на другую, как делают более робкие предатели, но шел прямо вперед, выпячивая грудь, размахивая руками и изрыгая хулу. Однажды он встретился со мной на Невском, но даже не поздоровался, хотя мы много лет не видались, а только погрозил мне пальцем. Стало быть, даже относительно старого однокашника он уже не считал себя обязанным стесняться. Любимую его поговорку в то время было: «Нас не обманешь, мы сами там были», – и он повторял ее с неизреченным нахальством человека, который вполне убежден, что он до того негодяй, что может сказать себе: «Ну, что ж! негодяй так негодяй!»

Какую массу злых, постыдных и, в сущности, бесполезных дел совершил он в короткое время, – это трудно перечислить. Плакали отцы, плакали матери, а он, сильный медным лбом и с камнем в груди, шел дальше и дальше вглубь. Он достиг того адского равновесия, что уже не мстил за свои прежние переодевания, но указывал на них как на подготовительный материал: вот, мол, через какую школу я прошел! Сами товарищи по ремеслу дивились ему; некоторые его сдерживали, но большинство благоговело перед ним.

– Всякий из нас, – говорили они, – имеет какую-нибудь личную исходную точку. Иной сводит счеты за прошлые обиды, другой – ради семьи хлопочет, третий – сословный интерес стережет. У Скорнякова – ничего назади нет. Он один как перст; в прошлом никто его не обидел, никто ничего у него не отнял; о сословном интересе он и не знает... Это единственный, в своем роде, образец опричника беспримесного, надрывающего себя ради целей, имеющих только абстрактное значение.

Судебная реформа тоже не обошлась без него; но, разумеется, он предпочел стоячую магистратуру сидячей. Отмежевав себе сферу внутренней политики, он обвинял безоговорочно, хотя более бойко, нежели доказательно. Вместо доказательств и разбора побудительных причин у него были в запасе заветные слова, которые заграждали уста защите. И чем чаще пускал он их в оборот, тем больше преуспевал.

– И ничего другого не нужно! – повторяли хором все единомышленники, – коли любишь – прикажи, а не любишь – откажи. Без разговоров.

Только один выживший из ума член английского клуба, князь Селищев, ничего не уразумев из рассказов про успехи Скорнякова, выразился:

– Нынче куда ни посмотришь – везде хамы да крапивное семя. Прежде были кочубеи, Панины, Долгорукие, Голицыны, а нынче – Скорняковы да Боголеповы. Хам он, ваш Скорняков, оттого ему и везет! А скоро придет пора – и санюлоты явятся. Ça ira... [26] Я уж десять лет в деревню поэтому не езжу и детей за границей держу...

Конечно, Скорняков первый посмеялся, услышав рассказ об этой княжеской бутаде; однако, на всякий случай, поместил в своей записной книжке заметочку: «Князь

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Селищев – выживший из ума старик, но дети его...»

В последнее время Скорняков, по-видимому, уgomонился. Приобрел прекраснейшее (хотя и не первенствующее) служебное положение и подает мудрые советы. Но из всех его советов самый ясный и отчетливый выражается в двух словах: «искоренить и истребить». И ему внимают, и, быть может, недалеко время, когда он...

Он помнит, что князь Селищев назвал его хамом, и крепко надеется, что это звание послужит ему рекомендательным письмом. По временам глаза его источают блудящие огни, и он бессознательно бормочет: «Буду – не буду, буду – не буду...»

Будет?!

Вторая категория пестрых людей – это люди, замученные жизнью. Жизнь к ним пришла в виде западни, из которой они не имеют ни сил, ни умения выбраться. Попались и бьются там, не подавая голоса.

В последнее время таких людей развелось очень много. Всякий пестрый человек первой категории приводит за собой массу подневольных. Живут они особняком и при встрече с старыми знакомыми мгновенно исчезают. Но что они переживают, оставаясь одни, сами с собой... что переживают!! Каждый день приносит им к исполнению новую измену, и каждый день они должны вынести эту измену на своих плечах, зная, что это измена, проклиная ее и все-таки прикованные к ней несокрушимую цепью. Отбыв дневную жизненную повинность и подводя ей итоги, они должны сознавать, что все ими сделанное чуждо их убеждению, что последнее затоптано в грязь... как? почему?

А между тем это убеждение несомненно существовало и даже некогда составляло гордость и радование жизни. И как нарочно, в те скорбные минуты, когда прошлое уже затмилось настоящим, когда оно поругано и побито, памятливая совесть всего охотнее возвращается к этому прошлому. Припоминаются былые речи, старые образы... все припоминается, все.

Ходит пестрый человек взад и вперед по комнате до усталости, до изнеможения. Звонок. Пришел «посидеть» знакомец из «новых». Пришел, может быть, для того, чтобы испытать сердце человеческое и потом сфискалить.

– Ну, вот, и вы с нами, – говорит он, – не правда ли, так-то лучше?

– Да, да, и я... конечно, конечно... Надо же.

– А читали вы записку, которую подал L.?

– Да, да, читал... прекрасно, прекрасно.

– И так тонко дано почувствовать! И в то же время горячо, с огоньком!

– Да, тонко и, в то же время, действительно... но, впрочем, нам-то что ж!

– Как что ж? Мы ведь тоже в этой колеснице значимся! Дело, стало быть, общее.

И так далее.

Посидит знакомец, выпьет чашку чая и уйдет. А новообращенный сядет к рабочему столу и начнет готовить работу к завтрашнему дню. Из каждой строки этой работы явственно сочится одно слово: искоренить. Прежде он был сторонником и ревнителем женского образования, теперь – придумывает подвохи в ущерб ему; прежде он видел в свободе величайшее благо человеческих обществ, теперь – он называет ее не иначе как разнузданностью; прежде он признавал суд общественной совести, как наилучшее мерило для оценки человеческих деяний, теперь – он утверждает, что в основе этого суда лежит одна анархия. И он излагает это отчетливо, ясно, спеша поспеть к сроку, ибо знает, что завтра же все эти новые измышления должны быть пущены в ход. Одно только умеряет его стыд – это нелепость написанного и надежда, что сама жизнь отвернется от нее.

Каким путем люди приходят к такой раздвоенности мысли и чувства – все в этом вопросе смутно и спутанно. Едва ли, впрочем, тут не играет значительной роли недостаток материальных средств и происходящая от того зависимость. Многие не придают этому факту никакого значения, и даже не без презрения отзываются о нем.

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и, в большинстве случаев, это презрение идет от тех, которые исподлбья пускают жадные взоры на виднеющийся вдали пирог. Но не нужно забывать, что бедность и недовольство выброшенным судьбою куском есть факт до того беспорядный, что ради него возникают не только частные преступления, но общественная рознь, междоусобия и всевозможные неурядицы. А еще менее надо забывать, что большинство людей состоит не из героев, а из простых смертных. Там, где герой возвышается до самоотвержения, простой смертный ограничивается одним сочувствием, далее которого его экспансивная сила не идет. Простой смертный есть зритель по преимуществу, и надо уж и то ставить ему в заслугу, ежели зрелище самопожертвования умиляет и согревает его сердце любовью к ближнему.

Затем, в деле подневольной апостазии имеют громадное значение жизненные ошибки. Служение убеждению не терпит суеты. Оно строго до неумолимости и в своей логичности не пугается частных крайних выводов. Раз допущенное уклонение уводит человека все дальше и дальше от предначертанной линии, и возврат к исходному пункту делается не только трудным, но и невыполнимым.

Все, которые вышли вместе, уже далеко, да и возвратный путь исковеркан и завален наносным хламом до того, что нужны нечеловеческие усилия, чтоб пробраться сквозь трупобу. Приходится или оставаться на том месте, где застало самосознание, и горько сетовать на свое легкомыслие, или идти далее, все уклоняясь и уклоняясь, и совсем отдаться в жертву мамоне.

Наконец есть и третья причина: это внезапно охватившая общество со всех сторон паника. Законы, порождающие панику и управляющие ею, до сих пор неизвестны. Она представляется нам в форме обезумевшего пса, случайно сорвавшегося с цепи. Она бежит вперед, брызжа бешеною слюною и изъязвляя всех, кто стоит на ее пути. Происходит общий переполох; со дна общества поднимаются чудовища. Парение мысли, идеалы будущего, чистота души – все погибает в этом адском водовороте, уступая место бешеному лаю и наглому смеху остервенившихся чудовищ. И нужно громадную силу воли, чтобы устоять среди этой торжествующей душевной оголтелости и не сделаться хотя невольным ее сообщником. Целая масса сложивших оружие идет за колесницей победителей, осужденная на рабство. И если бы история не указывала на просвет из этой крошечной тьмы, то мир давно был бы отдан в жертву безнадежности и отчаянию.

Разумеется, я указал здесь лишь на самые характеристические черты процесса превращения. Существует множество других, второстепенных и третьестепенных, которые присущи каждому отдельному индивидууму. Но главным двигателем все-таки является отсутствие героизма.

Спрашивается: что такое героизм?

Позволю себе думать, что героизм представляет собой явление вполне бесспорное лишь в применении к открытиям и изобретениям, которые обнажают тайны природы и делают их доступными для человечества. Люди, совершающие полярные экспедиции, проникающие в неизведанные страны, люди, проливающие свет и благосостояние в темные народные массы, – вот герои, которые, так сказать, пишут историю человечества и производят в его судьбах действительные повороты. Что же касается до героизма политического, то это – явление преходящее, вызываемое данной минутой. И, быть может, недалеко время, когда в нем не будет больше надобности. Исчезнут истязания, умолкнут вопли – и тогда поистине наступит «время, всех освещающее».

Третья категория – это *rľebs*, или, как говорят в сельском хозяйстве, живой рабочий инвентарь. Это – материал, который всякое новое веяние находит готовым. Люди эти всем восхищаются, особенно стилем бумаг и остротою пера. «Вот так загнул! – восклицают они в восторге, – поди расхлебай!» Сплошной массой наполняя канцелярии, они до того сродняются с атмосферой «своего места», что перестают даже различать, чем там пахнет.

Грибоедов воспроизвел этот тип в своем бессмертном Молчалине. Это человек, в пленках познавший натиск судьбы и потому готовый отдать себя в рабство кому угодно и куда угодно, готовый поклониться и истинному богу, и пустому идолу, не имея ни способности, ни навыка проникать в сущность вещей. Одно качество, которое до известной степени смягчает его суетливую готовность, – это отсутствие злостности. Все в деятельности этих людей запечатлено неразумием и твердой решимостью удержать за собой тот нищенский кусок, который им выбросила судьба.

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Это неразумение, эта прирожденная, несознанная приниженность спасает их от проклятий.

Тем не менее внешние признаки, в которых выражается то или другое веяние, они отличают прекрасно. Знают, что Петр Иванович – не то, что Федор Семеныч, что каждый из них «загибает» по-своему и что за каждым следует своя свита. Понимают, что когда Петр Иванович в ходу, то Федора Семеныча с его свитой следует избегать, и наоборот. Умеют опускать очи при встрече, делать вид, что не узнают или не замечают, охотно прислушиваются к слухам и в особенности выказывают тревожное расположение духа перед праздниками, когда Петры Ивановы сменяют Федоров Семенычей, а Федоры Семенычи – Петров Ивановы. Не то, чтоб они видели впереди какую-нибудь угрозу – «без нас не обойдутся!» – говорят они с гордостью, – но все-таки надо хотя накануне почиститься и переменить белье, чтобы хоть по наружности предстать в новом образе.

Деятельной роли они не играют. Встают с места, когда входит начальство, и садятся, когда оно уходит. Ежели начальник – бель-ом, то они радуются; ежели начальник маленький и мозглявый, то и тут не печалются, а говорят: «Птичка невеличка, да ноготок востёр». Все начальники хороши, и всё идет прекрасно в наилучшем из миров. Нередко им приходится совершать дела прямо вредные; но так как сущность вещей закрыта для них, то они всю свою деятельность вообще прикрывают словом: «мероприятие», и затем никаких душевных тревог уже не ощущают.

Ни в обществе, ни в публичных местах их не встретишь, кроме известных улиц, которые в определенные часы бывают запружены ими. Издали видно, как в толпе людей всякого наименования спешит маленький пестрый человек в «свое место», чтобы за утро пустить несколько стрел в неведомое пространство. Куда летят эти стрелы, кого они уязвляют – это тайна, в которую он никогда не проникнет.

Дома он счастлив. Рассказывает ходячие канцелярские анекдоты и восхищается начальством.

– Какая сегодня записка насчет либералов к нам от NN поступила – просто роман! – сообщает он жене.

– Расчухали наконец! – радуется и жена.

– Да, пора-таки, а не то... Ведь от них все зло пошло! И так далее.

По праздникам он режет пирог той самой рукой, которая неведомо кому разбила существование. Ежели у него есть дети, то он радуется на них и спрашивает, хорошо ли учили уроки и довольны ли ими начальники. Этим людям никогда не приходит в голову, что дети могут со временем ужаснуться той обстановки и тех разговоров, среди которых они выросли. Вообще никакого представления о той грызущей семейной боли, которая сторожит их впереди, они не имеют. Идут без ясно определенной цели до тех пор, пока боль сама не подкрадется и не заставит изойти кровью сердца их. Вместе с этой болью подкрадутся и старческие немощи, и они будут изнемогать под этим двойным бременем... опять-таки без разумения.

И благо им, ибо разумение не устраняет и не утишает болей, а только мучительнее и мучительнее растравляет сердечные раны.

В сущности, это прирожденные жертвы общественного темперамента. Общество искони воспитало в себе особую среду и заранее обрекло ее. Выход из нее представляет редкую случайность, область которой несколько расширилась лишь в последнее время, благодаря большей доступности публичного образования. Но в то же время расширилась и область больных мест.

Повторяю: все три категории пестрых людей одинаково вредны, каждая в своей сфере; но люди двух последних не могут не возбуждать сожаления, хотя бы с той точки зрения, что, в качестве рабов, они несут только иго апостазии, не пользуясь ее осязаемыми благами. В награду за эту отрицательную заслугу суд истории пройдет о них молчанием.

На этом я заканчиваю «Пестрые письма».

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

и

НЕОКОНЧЕННОЕ

ПЕСТРЫЕ ЛЮДИ

Пестрое время, пестрые люди. Оттого и жить нехорошо стало. Не на что положиться, не во что верить – везде шатание, пустодушие, подвох. Чего не ждешь, то именно и сбудется, от кого не чаешь – тот именно и стукнет тебя по темени. Трудное, спутанное время. Проворовались людишки, остатки совести потеряли.

Общий признак, всем пестрым людям свойственный, заключается именно в том, что у них совесть в сердцах затуманилась. И в то же время во рту два языка выросло, и оба по очереди лгут, и еще хуже, как оба вместе начнут лгать. Жизнь их представляет перепутанную и не согретую внутренним смыслом пьесу, содержание которой исключительно исчерпывается переодеваниями. Всем они в сей жизни были: и поборниками ежовой рукавицы, и либералами; и западниками, и народниками; даже социалистами. Но нигде не оставили ни скрупула своей души, своей совести, потому что оставить было нечего. Все их искусство в том состоит, чтоб угадать потребный момент и как можно проворнее переодеться и загримироваться. Только ежовая рукавица как будто производит настолько усиленное движение в их потрохах, что, дорвавшись до нее, они даже забывают о грядущих переодеваниях... Но может быть, впрочем, не забывают, а думают: всегда переодеться успеем!

Словом сказать, совсем это бесчестные и нравственно-оголтелые люди, у которых что ни слово, то обман, что ни шаг, то вероломство, что ни поступок, то предательство и измена.

За всем тем необходимо различать три сорта пестрых людей.

Во-первых, те, которые сами себе выработали пестрое сердце и пестрый ум и преднамеренно освободили себя от всех стеснений совести. Это – коноводы и зачинщики. Они пишут передовые статьи, шныряют по улицам, забираются в публичные места, пишут доносы, проникают в передние власть имеющих лиц – и везде каркают, везде призывают кару. И в либеральном смысле каркают, и в ежово-рукавичном, хотя в последнем уже потому одному энергичнее, что самое представление о ежовой рукавице необходимо сплетается с представлением об энергии. По наружному виду их можно по временам принять за фанатиков убеждения, но они просто фанатики казенного или общественного пирога. Злы они невероятно, потому что хоть и в форме робкого шепота, а все-таки до ушей их доходит напоминание о предательстве. И вот, благодаря этим напоминаниям, рядом с вождением к пирогу, в них возникает потребность отомстить за все старые переодевания. А на ком же слаще излить месть отравленной души, как не на бывших случайных единомышленниках, свидетелях этих переодеваний?

О пестрых людях этой категории я говорить не буду: боюсь. Ужасно стыдно это слово произнести, а приходится. Во-первых, потому, что это слово, исчерпывающее целое положение вещей, а во-вторых, потому, что в нынешнем лексиконе и слов-то непостыдных совсем не осталось.

Во-вторых, люди, которые пестрят ради шкурного спасения. Собственно говоря, их даже нельзя причислить к категории пестрых людей. Это не пестрота, а истязание; вымученный ответ на допрос с пристрастием. Ужасно несчастные это люди. Помните, я однажды рассказал, как свинья Правду чавкала, а Правда перед свиньей запинаясь, изворачиваясь и бормотала. Так вот это самое и есть, тот же процесс. Из всех истязаний чавканье живого тела самое ужасное, и поэтому люди, которые ему подвергаются, приобретают растерянный и замученный вид. По собственной инициативе они никогда не пестрят, а только поддакивают. Но быть свидетелем этих поддакиваний – не дай бог никому.

Об этой категории пестрых людей я тоже не буду говорить: мучительно. Да вряд ли и подходят для сказки такие сюжеты.

Третий сорт пестрых людей представляют собой те, которым фея жизни при рождении пестрое ремесло, в виде дара, в колыбель положила. Таковы, например, все Молчалины. Всю жизнь свою они издерживают на пестрые дела, но что означает эта пестрота, полезна она или вредна, и даже сопровождается ли какими-нибудь осязательными последствиями и для кого именно – ничего не знают. Большинство так и умирает не догадавшись. Жалко этих людей, со стороны глядя, но сами они неудобств такого существования не сознают. Они обязательно принимают пестроту к исполнению и, исполнив, что по программе следует, обязательно же сдают свою

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru работу другим бессознательно-пестрым людям, а сами исчезают в могиле.

Вот об этих пестрых людях можно в сказках рассказывать, потому что существование их не представляет ни торжества, ни истязания. Это «такая уж жизнь» – и больше ничего.

ПЕСТРЫЕ ПИСЬМА

Я не сторонник летних заграничных экскурсий. И хлопотливо, и неудобно, и дорого. А отсутствие близких людей и нетвердое знание чужих языков и обычаев просто-напросто делает из заграничных путешествий пытку. В большинстве случаев эти экскурсии оправдываются необходимостью восстановить расшатанное здоровье или желанием хоть на время отрешиться от забот и волнений, которые приносят за собой каверзы внутренней политики; но перспективы эти осуществляются очень редко. Отчужденность и отсутствие живых интересов не восстанавливают физических сил, а еще больше расшатывают их, не заставляют забывать домашние кляузы, подвохи и предательства, а, напротив, еще настойчивее удерживают их в памяти и при этом сообщают им формы, еще более мучительные, нежели те, которые представляла недавняя действительность. Насильственная праздность наполняет жизнь гнетущими видениями, в которых бесчисленными отражениями повторяется все, только что пережитое, все то, от чего думал уйти, что мечтал позабыть. Чужое – не ассимилируется; свое – преследует неотступно, и притом самое горькое, безнадежное. Дома хоть бирюльки какие-нибудь отвлекают, хоть борьба какая-нибудь; в этой борьбе: одни во имя пустяков нападают, другие – во имя пустяков обороняются; тут даже этого «дела» нет, а есть только воспоминание об нем, воспоминание, от которого сжимается сердце, деморализуется дух.

[Эта пытка в значительной мере подрывает и надежды, возлагаемые на восстановление, но, кажется, даже эти последние в значительной степени подрываются пыткой одиночества, осложненного присутствием секретного элемента соглядатайства, которое даже в самых несомненных буколиках умеет подслушать мятежные звуки, и в самом несомненном одиночестве – сообщество и злоумышление.

Впрочем, относительно последнего обстоятельства я должен оговориться. Оно действует возмущающим образом лишь на очень нервных людей, и то больше с точки зрения сострадания к русским финансам. Ужасно жалко, а отчасти и оскорбительно сознавать себя в районе наблюдения какого-нибудь горохового шута, который даже подлежащему порядку идей вполне чужд, но еще оскорбительнее думать, что всю эту чепуху он производит не на свой кошт; что он ест, пьет и веселится, что он городит вздор, принимает одни слова за другие – и получает за это какие-то суммы, которые у нас не были бы лишними для других действительно <полезных> целей. Но откиньте эту нервность, плюньте на соглядатайство – и вы поймете, что, по самой бессмысленности своей, оно ничего угрожающего иметь не может. А коль скоро поймете, то и возмущаться перестанете.]

ПРИМЕЧАНИЕ

Публикация «Пестрых писем» началась в ноябре 1884 года. Этот цикл был первым произведением Салтыкова после прекращения, на апрельском номере, журнала «Отечественные записки», которое обрекло писателя на долгое, непривычное для него, полугодовое молчание. Ни один из существовавших органов печати не мог стать его органом, его трибуной. Салтыков лишился возможности «беседовать» со своим читателем так и о том, как и о чем беседовал он в «Отечественных записках».

«Предстоит такая ломка, что вскорости справиться с ней невозможно», – писал Салтыков 17 мая 1884 года А. Л. Боровиковскому, разумея неизбежность отказа от прежних замыслов или во всяком случае их коренного пересмотра.

На содержании и форме «Пестрых писем», несомненно, сказались те обстоятельства биографии писателя и особенности общественной атмосферы, в которых протекала работа над циклом «Пестрота» их обусловлена как «пестрым временем», отраженным в них, так и вынужденным творческим «надломом», который переживал в это время Салтыков.

Разгром «Отечественных записок» был не только и не столько личной трагедией писателя, сколько трагедией общественной, симптомом и проявлением новой общественно-политической атмосферы. Запрещение ведущего и, в сущности, единственного последовательно-демократического издания фактически оказалось рубежом, отделившим одну эпоху русской жизни от другой, – эпоху, когда произвол

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru политической власти («внезапность») смягчался колебаниями ее курса в сторону либерализма («случайными веяниями»), – от эпохи прямой и откровенной реакции, не нуждавшейся уже более в «отступлениях», когда правительство Александра III, не опасаясь оппозиции, вступило на путь контрреформ.

Не последнюю роль в окончательном торжестве реакции, в соответствии с концепцией Салтыкова, сыграл «третий член», находящийся «между двумя борющимися сторонами» – «стадный», «средний» человек, представитель толпы, массы в самом широком социальном смысле (к «стаду» «средних людей», однако, ни в коем случае не может быть отнесен «человек, питающийся лебедой» – крестьянин, мужик). «Взятый сам по себе, со стороны своего внутреннего содержания, этот тип не весьма выразителен, а в смысле художественного произведения даже груб и неинтересен; но он представляет интерес в том отношении, что служит наивернейшим олицетворением известного положения вещей», – говорилось о «среднем человеке» в «Дневнике провинциала в Петербурге» (т. 10, стр. 529–530).

Поведение «среднего человека» определяют ныне, как сказано в «Письме I», «служительские мысли и служительские слова. Сущность этих мыслей и слов формулируется кратко: «Спасай себя!»

«Средний человек», по природе своей неустойчивый, «повадливый», подобно барометру, отмечает, а то и предвещает изменения социально-политической погоды. «Пестрота» этой погоды отражается в «пестрящем» поведении «среднего человека».

Подводя «итоги» двадцатилетию реформ и трехлетию политического развития России после убийства Александра II, Салтыков анализирует пестроту во всех ее проявлениях и модификациях. И самым главным из этих проявлений была политика контрреформ, выдаваемых за реформы, политика, лишенная творческого, позитивного начала, последовательная, «стабильная» лишь в отрицательном смысле. Это был «прах», но «прах», лишенный логики, «испещренный» маскирующими «поправками» (см. «Недоконченные беседы»). «Пестрота», таким образом, есть та общественная атмосфера, когда в виду отсутствия идеала «понять ничего нельзя», потому что «жизнь утонула в массе подробностей, из которых каждая устраивается сама по себе, вне всякого соответствия с какой бы то ни было руководящей идеей» («Письмо III»). «Пестрое время» порождает и людей «пестрых», или «пестрящих». «Пестрота» поэтому – предательство, ренегатство, «хамелеонство», безответственность социальная и нравственная, «кризис совести». «Пестрое время» персонифицируется в сатирических образах Передрягиных, Архимедовых, Покатиловых, Стреловых, Скорняковых и т. п. В свою очередь, каждый из этих сатирических персонажей, переживая в сюжете произведения свою индивидуальную судьбу, свою внутреннюю закономерную эволюцию, символизирует исторические судьбы целых классов, сословий, политических групп, идеологических доктрин. Главным предметом сатирического осмеяния при этом является, разумеется, не прошлое, не история (биография) всех этих типов, необходимая лишь как экспозиция, выясняющая их генезис, а животрепещущая современность, «итоги», финалы, завершения социально-исторических судеб.

Так, судьба Передрягина и его конституционно-бюрократического творчества непосредственно обозначает, по-видимому, переходный политический курс, сформулированный в доктрине «земского собора», попытку реализации которой предпринял министр внутренних дел гр. Н. П. Игнатьев. Вместе с тем сатирически оцениваются, то есть безоговорочно отвергаются все те формы конституционного движения, которые, не претендуя на подрыв самодержавной государственности, являлись лишь выражением вынужденной политической пестроты.

Федот Архимедов своими проектами обуздания и регламентации очень точно отражает политические акции правительственной власти в области печати и народного образования при министре внутренних дел гр. Д. А. Толстом. Однако и этот сатирический тип имеет гораздо более широкое значение, для выяснения которого как раз и нужно проследить, в силу каких причин и каким образом «Федот, да не тот», олицетворение галиматый, стал именно «тем» Федотом, то есть истинным деятелем «пестрого времени».

Судьба русского дворянства, обреченного, по Салтыкову, историей, символизирована в плачевной судьбе бывшей помещицы Арины Михайловны Оконцевой, обобранной современными хищниками. Сугубое «хищничество», как примета новой, послереформенной эпохи, хищничество, уже не довольствующееся взяточничеством и казнокрадством, превращающееся – через «ташкентство» и «рыковщину» – в «порядок

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вещей», занимает свое место в общей картине «пестрой» современности и трактуется особо также в очерках о Подхалимове и Стрелове («Письма» V и VIII).

На этом этапе анализа истории пореформенной России и в связи с темой хищничества Салтыковым вводится новый важный для характеристики «пестроты» мотив – мотив «покаяния», отказа от былых «заблуждений» («Подхалимов открыл эпоху упразднения хищничества и торжества покаяния» – см. стр. 360). Учитывая тот смысл, который был вложен в это иносказание еще в «Истории одного города» («Поклонение мамоне и покаяние»), следует, по-видимому, под «покаянием» понимать наступление и торжество реакции.

В атмосфере покаяния оживают «ветхие люди», «привидения» («антиреформенные бунтари»), почувствовавшие своевременность «благонамеренной крамолы». Лишь «пестрое время» способно породить этот чудовищный плод. С помощью одного из «крамольников», дореформенного градоначальника «умницы Покатилова», Салтыков вместе с тем рисует картину современной политической «галиматши».

«Ловит минуту», [27] пытаюсь приспособиться к новым формам хищничества, хищник старого, дореформенного пошиба, взяточник и казнокрад «дядя» Захар Иванович Стрелов. Но «дядя», кроме того, и «отставной корнет», жаждущий власти над «освобожденным» мужиком. Пасуя перед «чумазым», перед новым хищником в области экономической, он, опять-таки в той же атмосфере покаяния, находит себя в области политики Его «проект обновления» означает, в сущности, возврат к дореформенным временам, к «вотчинной» власти помещика над крестьянином.

Но, может быть, наиболее замечателен типический образ «коновода» и «зачинщика», «пестрившего» и в смысле либеральном, и в смысле «ежово-рукавичном», – Скорнякова. Салтыков не ставил себе в данном случае памфлетной задачи, и потому невозможно говорить о каком-то одном прототипе этого литературного героя. Некоторые детали его биографии указывают на ряд вероятных прототипов (М. Н. Катков, И. В. Павлов, Е. М. Феоктистов). В частности, в образе Скорнякова отразилось, по-видимому, двусмысленное положение Каткова не только как предателя, ренегата, но и как чужака в собственно дворянской среде, положение, усиливавшее ожесточенность его борьбы с инакомыслящими, с «людьми убеждения». Эта особенность представителя первой категории «пестрых людей», его сознательное ренегатство, потребовала исторического, во времени, изображения его, подробного повествования о его жизненном, весьма извилистом пути, определявшемся многообразными зигзагами политической истории России.

«Психологический момент», обусловивший «пестрое» поведение «среднего человека», создал, таким образом, соответствующую обстановку для «изоляции» людей «убеждения», способных на «большое рассуждение», [28] для изоляции передового, убежденного писателя. Арену литературы заполняют Скорняковы в купе с Подхалимовыми. Так возникает одна из главных тем «Пестрых писем» – «писатель и читатель», – выраженная знаменитой формулой: «Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам по себе, а литература – сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает». Тема солидарности и взаимной ответственности писателя и читателя, литературы и общества не была для Салтыкова новой. «...Выяснение основных пунктов мирозерцания и вытекающий из него принцип ответственности <...> составляет характеристическую особенность современного писательского ремесла», – говорилось в «Дополнительном письме к тетеньке» (т. 14, стр. 521). Однако высокая гражданская ответственность писателя оборачивается его изолированностью, если не дополняется ответственностью читателя (в данном случае «тетеньки»), солидарностью читателя с современной литературой. Глубина социально-политического мышления Салтыкова позволила ему предвидеть возможную эволюцию «тетеньки» и тем самым, в сущности, предсказать свою собственную судьбу – судьбу изолированного и преданного писателя.

Позднее незавершенное «Дополнительное письмо к тетеньке» было переработано в «Послание пошехонцам». Переработка не коснулась темы и идеи «Письма», текстуально свелась к замене адресата – «тетеньки» на «пошехонцев». Таким образом «тетенька» как олицетворение русской интеллигенции – в этом своем качестве, качестве «читателя» – принципиально не отличалась для Салтыкова от «пошехонца», который в то же время – и социально, и нравственно-психологически – близок «среднему человеку», «пестрящему» ради самосохранения. Так устанавливается генетический ряд от «Писем к тетеньке» (одно из которых сам Салтыков назвал «пестрым») через «Дополнительное письмо к тетеньке» и «Послание пошехонцам» («Письмо к пошехонцам») к «Пестрым письмам» – ряд, позволяющий более

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru глубоко и точно понять смысл образа «пестрого человека».

В связи с запрещением «Отечественных записок» Салтыков лишился не только жизненно необходимой для него возможности периодически обращаться к своему «странному читателю» с ежемесячными «беседами», но и осознал иллюзорность надежд на читательский отклик, сочувствие и поддержку – на «солидарность», на взаимную гражданскую ответственность. Это горькое понимание и вызвало ироническую формулу: «Литератор пописывает – читатель почитывает...»

Существенно, что именно эту формулу из «Письма III» использовал В. И. Ленин для характеристики буржуазно-индивидуалистической идеи «беспартийности» литературы («Партийная организация и партийная литература»).

Если «Письма к тетеньке» были «письмами» в полном, буквальном смысле слова, то есть имели адресата – «тетеньку», то в «Пестрых письмах» адресат лишь подразумевается – это «пестрый человек», «пошехонец», тот самый читатель-«подлец», которого автор тем не менее «страстно любит». Этот адресат в тексте «Пестрых писем» не персонифицирован непосредственно. Ближе всего, пожалуй, он той категории «пестрых людей», которая в «Письме IX» описана под номером вторым, – «люди, замученные жизнью», которым «не дано поднять против нее знамя бунта».

В связи с отсутствием в «Пестрых письмах» текстуально выраженного образа «адресата», и образ автора писем не обозначен с полной определенностью – он обладает весьма большой смысловой амплитудой – то выступая в лирической форме, в облике самого Салтыкова, то наделяясь чертами «пестрого человека».

Такой сложностью отличается, например, авторский облик в первом же из «Пестрых писем» (см. стр. 487–488). В следующих письмах этот облик сохраняет, чаще всего, те функции, которыми он обычно наделялся и в предшествующих салтыковских произведениях в зависимости от их жанровой природы и конкретной художественной задачи: то это функция гротескно-сатирического или «сказочного» разоблачения, то объективного повествования, то непосредственного, хотя и пассивного «присутствия».

Во всех этих модификациях авторского облика выражается жанровая «пестрота» «писем», среди которых и скорбно-лирические монологи, и сатира в самом прямом смысле слова, и сказки, и «бытовые вещи». Однако и по отношению к каждому из входящих в цикл «писем» вряд ли можно говорить о какой-либо жанровой «чистоте». Вероятно, что хотя бы в какой-то своей части цикл составил из обломков разрушенных запрещением «Отечественных записок», незавершенных замыслов.

В качестве доминирующей черты, скрепляющей всю пестроту тематики, все разнообразие сатирических типов, все жанровые модификации – здесь выступает «скорбное настроение, достигающее высокого лиризма». [29] В единственном заслуживающем внимания отклике на отдельное издание «Пестрых писем» выделена тема литературы: «Среди резких звуков щедринской сатиры пробивается время от времени совершенно особенная нота, что-то умягченное, иногда до умиления и лиризма, что-то трогательно-скорбное, задерживающее сверкающую сатирическую улыбку. Главный из поводов, приводящих нашего знаменитого писателя в это не совсем обычное для него настроение, есть судьба литературы. Вера в высокое значение печатного слова, надежда на его торжество, скорбь о многообразных язвах, наносимых литературе текущей жизнью, печаль о личной судьбе литератора, большого и маленького, – вот, главным образом, те мотивы, которые умягчают строгую, резкую литературную физиономию Щедрина». [30]

Одна из главных тем «Пестрых писем» – «писатель и читатель» – как сказано выше, восходит к «Дополнительному письму к тетеньке», переделанному в «Послание пошехонцам» («Письмо к пошехонцам»). С другой стороны, тема «пестроты», намеченная еще в «Письмах к тетеньке», к началу 1884 года приобретает более определенную форму в замысле сказки «Пестрые люди».

Ни «Письмо к пошехонцам», ни «Пестрые люди» не были завершены (см. стр. 519–520 и 524). Именно в «Пестрых письмах» дана художественно завершенная разработка проблемы взаимной социальной ответственности читателя и писателя, а также типа «пестрого человека». Наконец, самый жанр «письма» продолжен и трансформирован в цикле «Пестрые письма».

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Цикл «Пестрые письма» публиковался в 1884–1886 годах в журнале «Вестник Европы» за подписью «Н. Щедрин».

До седьмого письма «Пестрые письма» в журнальной публикации не нумеровались, а печатались под общим заглавием.

Дошедшая до нас небольшая часть рукописей цикла (письма V, VIII и IX) хранятся в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

Еще до завершения публикации «Пестрых писем» в «Вестнике Европы» Салтыков начал готовить их для отдельного издания. «Я только что получил, – сообщил 27 августа 1886 года А. А. Хомиховский Пыпину, – письмо Салтыкова, в котором он приглашает меня зайти к нему за статьей для «Вестника Европы», которую он привез. Но от Матвея [31] я слышал, что Вы к нему сами собираетесь в пятницу, то может быть он Вам передаст. Хотя я думаю, что Салтыков имеет другой умысел, он хочет переговорить со мной относительно издания и вызывает под предлогом статьи, следовательно, я у него побываю во всяком случае, так что Вы статьи не берите, если он сам не будет Вам навязывать» (ИРЛИ, ф. 250, оп. 3, ед. хр. 288, л. 75 об.).

Книга вышла из печати между 9 и 12 ноября 1886 года: [32] Пестрые письма. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 1886, 240 стр.

При подготовке Изд. 1886 журнальный текст подвергся дополнительной обработке. Наряду со стилистической правкой Салтыков ввел ряд мест (особенно в V и VI письмах), отсутствовавших в журнальной публикации.

Печатается по тексту Изд. 1886 с устранением опечаток по журнальной публикации и сохранившимся рукописям.

ПИСЬМО I

Впервые – ВЕ, 1884, № 11, стр. 315–322.

Рукописи и корректуры неизвестны.

«На днях был у меня редактор «Русских ведомостей» <В. М. Соболевский> и предлагал участвовать», – писал Салтыков 31 августа 1884 года Н. А. Белоголовому. Начало такому участию должно было быть положено публикацией первого из «Пестрых писем». 27 сентября 1884 года Салтыков извещал В. М. Соболевского:

«Посылаю Вам небольшую статейку. Извините, что замедлил: все время так был болен, что только это и успел написать».

Печатать или не печатать – совершенно оставляю на Вашу волю. Может быть, для Вас покажется несколько неудобным – не стесняйтесь, только не утеряйте и возвратите. Места, обведенные карандашом, можно и не печатать совсем. Я хотел сначала занумеровать письмо I, но потом подумал, что так, без №, надежнее. Но я буду продолжать, ежели настоящее письмо будет напечатано. Не пугайтесь, не часто».

Причины, по которым «письмо» не появилось в «Русских ведомостях», известны из пометы Соболевского на письме к нему Салтыкова от 20 сентября 1886 года: «Пестрые письма», – первый опыт помещения Салтыковым статей в «Русских ведомостях», – были получены в редакции в мое отсутствие из Москвы. Товарищи «Русских ведомостей», ввиду только что полученной «Русскими ведомостями» кары, нашли, что печатать эту статью Салтыкова – рискованно для газеты». Получив очерк обратно, Салтыков предложил его «Вестнику Европы». В письме к Стасюлевичу от 14 октября 1884 года он сообщал: «Посылаю при сем (в корректуре) статейку, которую «Русские ведомости» возвратили мне. Я изрядно ее почистил, как Вы увидите, а в некоторых местах даже и оскопил. Не пожелаете ли Вы напечатать ее в ноябрьской книжке. Я знаю, что книжка уже скомпонована, но пол-листа (или даже меньше) не произведут пертурбации».

В ответ на обращение читателя в редакцию по поводу одной из фраз очерка Салтыков 15 ноября обратился к Стасюлевичу с просьбой: «Письмо, которое Вы мне вчера переслали, заключает в себе весьма едкий, хотя и симпатичный упрек по поводу фразы: стыд есть вывороченная наизнанку наглость. Хотя это не более как

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru недоразумение, но так как и другие читатели могут впасть в него, то не будете ли Вы так добры напечатать в конце декабрьской книжки прилагаемую на обороте «Поправку». Просьба писателя была удовлетворена: «...в статье «Пестрые письма» Н. Щедрина, стр. 319, строка 3 св., вследствие пропуска нескольких слов, напечатано: «По моему мнению, стыд есть вывороченная наизнанку наглость» и т. д. Это место следует читать так: «Предложите этот вопрос любому прихвостню современности и он, не обинуясь, ответит: по моему мнению, стыд» и т. д.» (ВЕ, 1884, № 12, с. 948).

Несмотря на произведенную Салтыковым «чистку» с целью обезопасить очерк в цензурном отношении, «Пестрые письма» вместе с напечатанной в той же ноябрьской книжке «Вестника Европы» статьей «Из общественной хроники» все же обратили на себя внимание цензора В. М. Ведрова. В донесении в С.-Петербургский цензурный комитет (28 октября), находя оба произведения «замечательными в цензурном отношении», «дающими другой колорит ученому направлению журнала и сообщающими ему характер сатирический и тенденциозный», он писал:

«Статья Щедрина «Пестрые письма» имеет содержанием объяснение публике душевного состояния писателя и его взгляда на современное нам положение. Служительские слова: «чего изволите», «как прикажете», «не погубите» заменили нравственное проявление в герое его исповеди (стр. 315), [33] он находит их «в основе человеческого счастья» (стр. 317); полагает, что в «атмосфере служительских слов» для рассуждения нет места (стр. 319); характеризует виды рассуждений, возможных для безопасности процесса личного существования. «В трудную минуту для писателя, – говорит Щедрин, – читатель и в подворотню шмыгнет, а писатель увидит себя в пустыне» (стр. 318, 321). После уничтожения нравственного состояния духа является животное чувство страха, при котором дружественные тайные советники одобрительно кивают автору.

Все это личное проявление чувства автора, ясно рисующее настоящее положение общества, раздражает страсти и напоминает о недавних литературных стремлениях тенденциозного характера».

Остановливаясь далее на статье «Из общественной хроники», цензор в заключение предлагал о таком направлении журнала «представить на благоусмотрение Главного управления по делам печати»¹. На состоявшемся 31 октября 1884 года заседании С.-Петербургский цензурный комитет согласился с предложением В. М. Ведрова (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 512, л. 277). Посланное (1 ноября) в Главное управление по делам печати донесение комитета было принято «к сведению» (ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, 1865, ед. хр. 87, лл. 117–118).

Из-за отсутствия рукописей и корректур невозможно установить, какого рода правка была произведена Салтыковым в тексте «письма» при передаче его в «Вестник Европы», однако несомненно, что, хотя бы частично, он устранил в отдельном издании цензурные купюры журнальной публикации, например:

Стр. 234, строка 4 сн. После слов: «...вопросе о человеческой изолированности» – в отдельном издании дополнено:

вопросе тоже небезызвестном, но который на наших глазах приобрел очень решительные и резкие формы.

«Письмо I», являясь откликом на запрещение «Отечественных записок», представляет собой также введение к циклу «Пестрых писем» и поэтому содержит ряд общих суждений и оценок, определяющих его идейный смысл в целом (см. вступительную статью).

Первая, большая часть «письма» посвящена сатирическому описанию новой общественной атмосферы, когда даже изречение: «ваше превосходительство, не погубите», – оказывается равносильным призыву к оружию.

С помощью «привычки», «опыта», «среднего рассуждения» создается новая «современная идиллия», более страшная, чем представленная в одноименном романе, ибо в перспективе ее не видится даже «стыда».

Вторая часть «письма» разрабатывает тему «читатель и писатель», которая не была для Салтыкова новой. Еще в 1875 году, со свойственной ему прямоотой и резкостью, он писал: «...Я начинаю думать, что моими писаниями никто не интересуется и что

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Отечественные записки», несмотря на 8 тыс. подписчиков, никто не читает. То есть читает какой-то странный читатель, который ни о сочувствии, ни об негодовании заявить не может. Это вопрос очень интересный, кто теперешний русский читатель? Во всяком случае, он читает в одиночку <...> ни с кем не делаясь своими впечатлениями. Это штука почти безнадежная, и на старости лет тяжело ее переживать» (27 августа 1875 г. – П. В. Анненкову). Общественная реакция на запрещение «Отечественных записок» дала Салтыкову, «пошехонскому литератору» («Приключение с Крамольниковым»), ряд дополнительных штрихов для портрета «пошехонского читателя», «шмыгнувшего в подворотню» в трудный для литератора момент.

По письмам Салтыкова к разным лицам после прекращения «Отечественных записок» и до публикации первого из «Пестрых писем» прослеживается усугубление тревоги и трагизма. Между тем в «Письме I» утверждается, что, по прошествии нескольких месяцев, «тревога утихла...». Художественная мысль Салтыкова движется путем иносказания, выражается «эзоповым языком». Суть эзопова языка в «Письме I» определяется совпадением двух образов – «среднего человека» и лирического героя; сквозь второй просвечивает авторский образ. Ирония и сарказм позволяют Салтыкову сохранять при этом необходимую дистанцию.

В одном из первых откликов на «Пестрые письма» говорилось: «Язык, манера и приемы сатирика в «пестрых письмах» те же, что и прежде. Особенность их по-прежнему та, что обо всем повествуется эзоповским языком, не всякому понятным и ясным. Эта трудность не существует, конечно, для постоянных читателей даровитого сатирика, успевших освоиться с указанной манерой». [34]

Но даже и «постоянные читатели» Салтыкова не сразу поняли всю глубину иронии автора, утверждавшего в заключении своей сатиры, будто он «сначала испугался, но затем очень быстро очнулся и беспрекословно погрузился в пучину служительских слов». Так, например, Г. З. Елисеев писал Салтыкову 27 ноября 1884 года: «...мне показалось странным, что Вы после пятимесячного молчания сочли нужным выступить перед публикой с разъяснением во всеуслышание психологического момента. Силы, конечно, нельзя не признавать, но исповедовать ее во всеуслышание – значит ее увеличивать и в ней самой, и вовне. Это уж никак не может помогать росту читателя, убегающего по своему детству в подворотню от любимого автора при первом противном ветре, а может утвердить его в безнадежном детстве навсегда». Правда, Елисеев делал оговорку, вспоминая начало «Пошехонских рассказов» («Рассказы майора Горбылева»): «А, впрочем, я ведь не знаю плана ваших новых «Пестрых писем». Начало их может быть только особого рода стратегический прием. В роде «Пестрых писем» началось и ваше Пошехонье, которое потом вышло на такую дорогу, которой никак нельзя было ожидать по началу». [35]

Конечно, на характер «письма» известный отпечаток наложило то обстоятельство, что оно предназначалось первоначально для газеты «Русские ведомости» и должно было быть напечатано как газетный фельетон (статья-отклик на «злобу дня», на текущие явления общественного быта, не претендующая на глубину их анализа). Однако сходство с фельетоном в данном случае ограничивается, пожалуй, лишь одним – небольшим размером салтыковского «письма». Салтыков и здесь остался художником-сатириком, хотя и писал, в связи с приглашением в «Русские ведомости», что вынужден стать «газетным фельетонистом» (31 августа 1884 г. – Н. А. Белоголовому).

Поэтому естественно, что обозначение его письма как «фельетона» [36] вызвало с его стороны резкий протест. Он писал редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому: «Со времени Тряпичкина слову фельетон придается нарочито презрительное значение. Хотя это и не совсем правильно, но частичка правды все-таки есть. Фельетон трактуется исключительно о происшествиях дня, а я, ей-богу, совершенно к ним равнодушен. Если б читатели смотрели на меня как на фельетониста, – ей-богу, я перестал бы писать. Это все равно, как ежели бы напечатали, что я написал «насмешку». <...> фельетоны <...> читаются с удовольствием, но никто об них не помнит. Лыщу себя надеждою, что я все-таки остаюсь в памяти» (3 ноября 1884 г.).

Сочувственную оценку «Письмо I» получило в двух московских либеральных газетах – «Русском курьере» и «Русских ведомостях». «Невыразимо грустное впечатление производит этот небольшой отрывок...» – писал «Русский курьер» в обзоре «Наши газеты и журналы» (7 ноября, № 308), солидаризуясь с «печальными выводами» Салтыкова относительно состояния русского общества. «В минуты тяжелого недоверия

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru к обществу, к его сознательной силе на благо, естественно бросить в лицо его горький и страстный упрек, и Г. Щедрин не останавливается перед ним», – писал Арс. И. Введенский (псевд. «Аристархов» – Р. вед., 14 ноября, № 316).

Ключевая тема очерка – «читатель и писатель» – стала центральной в большинстве газетных и журнальных рецензий.

На салтыковские инвективы по адресу читателя, «шмыгнувшего в подворотню», первым остро реагировал В. Буренин. Его отзыв был резко враждебным. Pamфлетно характеризуя салтыковского читателя как «псевдолиберального», Буренин и самого Салтыкова назвал «литературным служителем формального либерализма», будто бы потворствовавшим в своей «фельетонной сатире» «вождедениям» «либеральной улицы», уже давно расточавшим «служительские слова» по адресу «псевдолиберального читателя», ему в угоду. Между тем этот читатель «действительно таков, что на его мнимое сочувствие нельзя полагаться ни в каком случае. Этот читатель прежде всего лицемер и трус, и потому ничего нет удивительного, что он «в трудную минуту» для писателя, стремившегося в продолжение многих лет угождать ему и забавлять его фальшиво-оппозиционными вождедениями, спешит «шмыгнуть в подворотню» и изъять свое подлое и трусливое нежелание «связываться» с тем, кому в легкие минуты он лицемерно поклонялся, чьим легким шуткам он подхихикивал с холопским удовольствием. <...> Разве почтенный сатирик не видел до сих пор, что этот псевдолиберальный читатель, для чьей праздной потехи он ежемесячно, если можно так выразиться, офельетонивал свой великий талант, только потому и обнаруживал мниможивое сочувствие и участие к его сатире, что ее фельетонная легкость давала право носиться один день с показным либерализмом, с показной оппозицией и удобно забывать и первый и вторую на другой же день? <...> Не пожинает ли Г. Салтыков те плоды, которые он сам посеял?» [37] Несколько иначе, но также перенося проблему в область личных эмоций самого писателя («субъективное чувство злости и досады») и его субъективной «вины перед жизнью», идущей своим собственным, объективным путем, рассматривает первое «письмо» Р. И. Гинзбург (псевд. Ergo). [38]

В обсуждение вопроса «литература и читатели» в связи с очерком Салтыкова вскоре включилась передовой статьей под этим названием правонародническая «Неделя».

Формулируя позицию газеты, П. Гайдебуров еще раньше писал: «Роль периодической печати в России должна измениться», журналистике следует вернуться на тот путь, на котором «она действительно могла бы иметь (да когда-то и в самом деле имела) серьезное значение: это – путь культурного влияния на общество». [39] Отказавшись же от «культурной миссии», литература, печать не воспитала и читателя, которому могла бы предъявить тот упрек, что предъявляет Салтыков: «Как фигура восклицания в устах сатирика, несколько месяцев тому назад «неожиданно лишившегося употребления языка», этот упрек еще понятен. Но возможно ли вообще серьезно ставить вопрос об обязанностях читателя – русского читателя – по отношению к литературе и о том, знает ли он и исполняет ли эти обязанности? <...> И почему читатель, который «только почитывает», виноват более писателя, который «только пописывает»? [40] В «Заметках», напечатанных в том же № «Недели», автор приходил к выводу, что упрек Салтыкова своему читателю может быть оправдан лишь тем, что высказан «под слишком еще свежим впечатлением катастрофы». «Конечно, <...> прекращение «Отечественных записок» – факт весьма прискорбный, но нельзя же отсюда делать заключения о негодности ни к чему русского общества и о предстоящей гибели России, как это делает Щедрин» (стлб. 1598).

В грубо развязной, пасквильной форме характеризовал салтыковского читателя кн. В. П. Мещерский. Отталкиваясь, по-видимому, от иронического замечания в заключении «письма»: «дружественные мне тайные советники <...> вновь начинают одобрительно кивать в мою сторону», – издатель «Гражданина» писал: «Щедрин <...> жалуется на читателя своего, изменившего-де ему в минуты невзгоды. А кто главный читатель Щедрина?

Кто? Разумеется, тайный советник. Иль этого не знал Щедрин? А тайный советник ведь – блудлив, как кошка, а труслив, как заяц». [41]

Естественно, что злободневная «сатира» «Письма I» вызвала живую реакцию именно газетной прессы. Но вскоре на нее откликнулся и «толстый» журнал – народническое «Русское богатство». Известный в те годы критик Л. Е. Оболенский (псевд. «Созерцатель») посвятил «сатире» Салтыкова значительную часть своих «литературных заметок» «Обо всем» (РБ, 1884, № 11). Обвинив Салтыкова в

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «неразборчивом отношении» к «предметам бичевания», Оболенский поддержал ту глубоко ошибочную литературно-критическую традицию, которая трактовала салтыковскую сатиру как своего рода «искусство для искусства», «смех ради смеха», воспитывающий и неразборчивого, беспринципного, «зубоскалящего» читателя. Неудовольствие Оболенского в связи с этим вызвала ирония Салтыкова по отношению к почвеннической апологии «любви». Салтыков, писал критик, «не может не знать того, как немыслимо в обществе создать что-либо на почве одного бичевания и отрицания, без веры в жизнь и общество, без положительных идеалов и идей, без любви к ним. Необходимо, чтобы было указано людям нечто в самом обществе и народе, во что можно верить, на что можно надеяться и полагаться, что можно и должно любить, чтобы люди этого общества обратились в живых деятелей на практической жизненной почве» (стр. 443).

Таким образом, большинство рецензий на «Письмо I» носило полемический характер, объясняемый, по преимуществу, несогласием с салтыковской трактовкой темы «писатель – читатель».

Стр. 232...газетные столбцы, от которых несет исподним бельем чичиковского Петрушки... – Реальный комментарий к этим словам находим в письме Салтыкова к А. Л. Боровиковскому от 15 июля 1884 г.: «...читаю «Новое время», «Петербургский листок» и «Петербургскую газету». Одним словом, нюхаю портки чичиковского Петрушки. Нехорошо пахнет...» Еще более определенно иносказание Салтыкова раскрывается в его письме к Г. З. Елисееву от того же 15 июля: «Вы читаете «Новое время» – ведь стошнить может от фельетонов Атавы, «Жителя» (Незлобина), Морского, от корреспонденции Молчанова, Кочетова («Странник») и проч. Точно нюхаешь портки чичиковского Петрушки». Ср. также письмо к Н. К. Михайловскому от 11 августа того же года, где «портками чичиковского Петрушки, заражающими вселенную своим специфическим запахом», опять-таки названо «Новое время».

Стр. 234...«жег сердца глаголом»... – перефразировка строки из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк».

«Мало обличать – любить надо», – прорицали когда-то наши «почвенники»... – Приводимая Салтыковым формула действительно восходит к некоторым высказываниям «почвенников», например, к объявлению об издании журнала «Эпоха» в 1865 г. Однако Салтыков здесь, в сущности, понимает не столько «почвенничество» в собственном смысле слова, трибуной которого были журналы бр. Достоевских «Время» и «Эпоха», сколько идеологию консервативного, а еще точнее, официального «патриотизма» (об отношении Салтыкова к «почвенникам» см. т. 6, стр. 692–697; см. также т. 9, стр. 249). Далее поэтому цитируемую формулу Салтыков припишет Козьме Пруткову (см. стр. 298).

Стр. 236...раз кошелек при мне, я тут же воочию вижу, как благодаря ему кругом расцветает промышленность и оживляется торговля. – Иронический отклик на одну из тем публицистики «Московских ведомостей» – тему упадка русской промышленности и торговли, экономического кризиса, будто бы вызванного отсутствием спроса на изделия русской промышленности (см. прим. к стр. 250).

ПИСЬМО II

Впервые – ВЕ, 1884, № 12, стр. 663–676.

Рукопись и корректуры не сохранились.

Работу над вторым «письмом» Салтыков начал, вероятно, вскоре после согласия Стасюлевича напечатать первое «письмо», то есть после 14 октября 1884 года. 26 октября он сообщал Белоголовому: «Отдал маленькую-маленькую вещицу Стасюлевичу для ноябрьской книжки, но вряд ли ей суждено появиться. Теперь пишу еще вещицу (тоже маленькую) для декабрьской книжки, и тоже ничего верного сказать не могу». Статья была закончена в первых числах ноября. «Для декабрьской книжки, – писал Салтыков Белоголовому 10 ноября, – тоже чуть-чуть побольше написал, а вышло даже несуразно».

В центре внимания Салтыкова во втором «письме» – проблема, возникшая в русской политической жизни 60-х годов в связи с осуществлением ряда реформ, имевших объективно буржуазно-демократический характер, – проблема конституции.

В конце 70-х – начале 80-х годов «конституционный вопрос» приобрел особую остроту по двум причинам – внешнеполитической и внутривнутриполитической. В 1879 году

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru в Болгарии, после освобождения от турецкого владычества, начала действовать разработанная при участии русских представителей так называемая Тырновская конституция – одна из самых демократических для того времени европейских конституций. С другой стороны, революционный натиск народовольцев заставил самодержавие приступить к формулированию новой политической программы. Эту задачу должна была выполнить образованная в 1880 году Верховная распорядительная комиссия под председательством гр. М. Т. Лорис-Меликова, один из проектов которой предполагал создание при Государственном совете «общей комиссии из земских деятелей и сведущих людей, частью по избранию, частью по назначению от правительства». [42]

В условиях самодержавной системы разработка конституционных принципов являлась прерогативой бюрократии и какое-либо участие общественности в такой разработке не допускалось. Кроме того, «самобытная русская конституция», по мысли ее творцов, не могла иметь ничего общего с европейскими конституциями, и обращение к опыту конституционных правлений Западной Европы (прежде всего Франции и Англии) исключалось. Эти два обстоятельства с полной определенностью «выяснились» именно в период либеральной «диктатуры сердца» Лорис-Меликова. Салтыков писал П. В. Анненкову 20 сентября (2 октября) 1880 года: «...Лорис-Меликов созывал всех редакторов и прочитал им речь, в которой заявил, что о конституции и думать нечего и распространять конституционные идеи – значит производить в обществе смуту. Вот, значит, и либерализм выяснен <...> И теперь «Голос» проповедует: нельзя ли, дескать, у нас самих в наших собственных законах и в предначертаниях Сперанского отыскать задатки будущего обновления России».

После убийства Александра II тема конституции становится безусловно запретной, хотя общественно-политическая ее актуальность и значимость сохраняется и она в той или иной форме всплывает на поверхность политической жизни и подвергается обсуждению в печати. Так, например, в статье К. П. Победоносцева «Великая лож нашего времени» говорилось: «Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времен французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастью, в русские безумные головы». [43]

Внешнеполитический аспект «конституционной» проблемы в эти годы нашел свое выражение в сложных взаимоотношениях русского правительства с болгарским «князем» Александром Баттенбергом, в апреле 1881 года совершившим переворот и отменившим действие Тырновской конституции. Д. А. Милютин писал по этому поводу в своем дневнике: «Хотя переворот в Болгарии задуман и исполнен без ведома русского правительства и даже вопреки нашим советам, однако ж нельзя отвергать, что сам государь, как и многие из окружающих, в душе одобряют решимость князя болгарского и будут сочувствовать ниспровержению ненавистной им болгарской конституции, выработанной под опекой русского же правительства». [44] Вместе с тем самовольные действия болгарского самодержца, русского ставленника, все более подпадавшего под влияние Австро-Венгрии, вызывали резкое недовольство правительства Александра III: летом 1883 года в Болгарию с целью урегулировать разногласия Баттенберга с русскими министрами его правительство и восстановить действие Тырновской конституции был командирован видный чиновник русского дипломатического ведомства А. С. Ионин. [45] Этот факт должен быть особо отмечен. Дело в том, что герой салтыковской сказки, статский советник Передрягин, оказывается «командированным» к медведям – «братушкам» [46] ради составления для них конституции также летом 1883 года. Если это и совпадение, то – знаменательное.

Однако главным для Салтыкова был, конечно, аспект внутривластный. Передрягинское конституционное творчество обобщает особенности соответствующей деятельности таких, например, чиновников, стоявших у кормила власти, как гр. Н. П. Игнатъев или М. С. Каханов.

Н. П. Игнатъев в качестве министра внутренних дел был вдохновителем принятого в августе 1881 года драконовского «Положения об усиленной и чрезвычайной охране», названного В. И. Лениным в 1911 году, когда это «Положение» все еще продолжало действовать, – «фактической российской конституцией». [47] Это была поистине «конституция наоборот», «зимняя конституция». Тот же Игнатъев своим проектом созыва «Земского собора» пытался осуществить идею, вынашивавшуюся, под именем «нашей родной российской конституции», идеологами реакционного дворянства,

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru оппозицией справа, а также славянофилами.[48] «Таким образом, – писал о своем проекте Игнатъев, – сложилась бы, без потрясения устоев, русская самобытная конституция, которой позавидовали бы в Европе и которая заставила бы умолкнуть наших псевдолибералов и нигилистов».[49] Попытка Игнатъева привести свою идею в исполнение вызвала «ужас» Победоносцева: «...соброр та же конституция – пагуба России».[50] В мае Игнатъев был устранен и заменен на посту министра внутренних дел гр. Д. А. Толстым. «Причиною всему было слово «конституция» – см. стр. 247.

Не менее характерна, в том же, «передрягинском», смысле, фигура М. С. Каханова. «Фактический автор лорис-меликовских проектов реформ», [51] Каханов возглавляет при Игнатъеве комиссию, разработавшую «Положение об усиленной и чрезвычайной охране», а затем председательствует в другой комиссии, получившей наименование «Кахановской», – по реформированию, первоначально в либеральном духе, местного самоуправления.[52] Однако именно из недр этой комиссии в 1885 году вышел реакционный проект усиления в местном самоуправлении роли дворянства (впоследствии – закон о земских начальниках – см. 515).

Все приведенные выше материалы объясняют ту характеристику «сказки», или «басни», о Передрягине, которую Салтыков дал в письме к Н. А. Белоголовому от 16 декабря 1884 года: «Смысл сей басни таков: завозных конституций бояться нечего. Следовательно, ежели надобность встретится, то таковую может написать Передрягин, коего адрес почтамту известен. Многие комментируют, будто бы я хотел указать на Лорис-Меликова, но это неправда. А другие говорят, что «братушек» я только для вида привлек, – об этом я ничего не знаю и сказать не могу. *Dixi et animam levavi*» (сказал и облегчил душу).

Второе из «Пестрых писем» – итоговый анализ всех тех форм «конституционного творчества» в пореформенной России, которые исходили из предпосылки сохранения самодержавия.

«Письмо II», по-видимому по причине своей политической остроты и сложности расшифровки эзопова языка, было встречено почти полным молчанием прессы. Удалось обнаружить лишь два отклика. Первый, принадлежащий рецензенту газеты «Эхо», не касается политической проблематики «письма» и ограничивается указанием на правдивость, хотя и с «сатирико-щедринской утрировкой», изображения в лице Передрягина русского чиновника – «с его вечным стремлением сочинять всевозможные проекты, предназначенные для спасения отечества. При этом одно и то же лицо способно, по приказанию или необходимости, составлять их в различных смыслах, на диаметрально противоположных началах, взаимно исключаящих друг друга».[53] Другой отзыв, резко враждебный, принадлежал кн. В. П. Мещерскому: «Все то же: все какие-то статские советники, чиновники, насмешки над тем, что нельзя говорить о конституции».[54]

Стр. 236. Жил он на даче, на Сиверской станции Варшавской железной дороги... – В этой дачной местности под Петербургом провел лето 1884 года Салтыков.

Стр. 237...за восемь желтеньких бумажек... – то есть за восемь рублей.

...кто будет смазывать и пускать в ход эту машину <...> куда мы идем? где мы живем? – Иронический намек на зарубежную «земскую», антибюрократическую публицистику, в частности, на брошюру А. И. Кошелева «Где мы? Куда и как идти?» (подробнее см. т. 14, с. 677–679).

Стр. 238...публицист Скоморохов <...> В длинной передовице «Куда мы идем?» <...> доводил до сведения публики <...> – О гибельности пути, которым шла Россия, постоянно твердила реакционная печать, представленная прежде всего изданиями М. Н. Каткова. Так, например, в связи с процессом В. Н. Фигнер и др. (сентябрь–октябрь 1884 г.) «Московские ведомости» писали: «Вот куда мы зашли путем упразднения правительства!» (М. вед., 1884, 14 октября, № 285). О публицисте Скоморохове см. также в «Пошехонских рассказах» (т. 15, кн. вторая, «Вечер шестой»).

...полемика приняла обычный, по обстоятельствам времени, характер... – В полемике газет «Чего изволите?» и «Нюхайте на здоровье» обобщен характер отношений между охранительными и псевдолиберальными органами печати. Такой была, например, полемика в августе 1884 г. между «Московскими ведомостями» и «Гражданином», с одной стороны, и «Новым временем», с другой, вызванная «крамольным», с точки зрения реакции, решением Первого департамента Правительствующего сената (см.

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru прим. к стр. 253, 337). В ходе этой полемики кн. В. П. Мещерский дал следующую, не лишённую интереса и проницательности характеристику суворинской газеты, защищавшей сенатское решение: «Имея много читателей, добытых лёгкостью и игривостью содержания своих статей и разнообразием сюжетов, им затрагиваемых, «Новое время» силится во что бы то ни стало приобрести в то же время значение серьёзной газеты и известное политическое влияние <...> Но, увы, не может она никак сделаться серьёзной газетой, не может никак приобрести значения, что она ни предпринимает! Спрашивается: отчего? Ответ очень прост и ясен. Именно оттого, что эта газета никак не может попасть в такой образ мыслей и воззрений, который читатели признали бы известным убеждением, определённым образом мыслей» («Гражданин», 1884, 23 сентября, № 39, с. 24).

Стр. 241...настоящие суды, как на Литейной. – На Литейной улице помещалась Петербургская судебная палата.

...а об распределении мы в следующий раз поговорим. – Понятие «распределение богатств» в системе эзопова языка Салтыкова намекало на социалистическое учение.

Лейтенант Жевакин – персонаж «Женитьбы» Гоголя.

ПИСЬМО III
Впервые – ВЕ, 1885, № 1, с. 161–183.

Рукопись и корректуры не сохранились.

В донесении от 28 декабря 1884 года в С.-Петербургский цензурный комитет о январском номере «Вестника Европы» В. М. Ведров обращал внимание на «Пестрые письма», «Внутреннее обозрение», «Письма из Москвы» и «Общественную хронику». Отмечая, что в этих произведениях «говорится о противоречиях, удручающих современную жизнь, о кляззе, составляющей правильный образ мыслей (стр. 161–162); о разрушении всего существующего на благо государства; университетском уставе; ограничении свободы чтений посредством временных правил 5–20 января 1884 года; о недоверии к самоуправлению; о неподвижности Положения о земских учреждениях и т. д.», относительно же фельетона Салтыкова он писал: «Пестрые письма» особенно едко нападают на господство кляззников (стр. 166 и др.), на управление Федотов (стр. 172, 173), из которых один угнетал и автора, будучи его школьным сверстником (стр. 170).

Преобразования, по мнению даровитого сатирика, должны состоять в обуздании молодежи и разнузданной печати.

Относительно нашей молодежи сатирик предлагает «упорядочить ее воспроизведение, то есть образовать институт племенных молодых людей» (стр. 176).

Касательно печати он, отвергая «намордники» (стр. 179), предлагает оплодотворить ее образованием 101 литератора, разделенных на десять отрядов (стр. 181).

«По совершении молебствия и по воспоследовании пригласительного сигнала отряды начнут между собою полемику. Но полемику благородную и притом сливающуюся в одном общем чувстве признательности» (стр. 182).

Сатира со времени Ювенала и Персия действовала разрушительно, но она имела предметом общечеловеческие недостатки, которые бичевала; избрать же предметом сатиры пылкое юношество и неокрепшую печать, указывать на их позорную роль в будущем – значит затрагивать самые чувствительные струны всякого благоустроенного государства и подтачивать его основы. Цензор полагает существенно вредною эту статью». [55]

Первоначально в автографе донесения В. М. Ведрова было, что он считает «необходимым исключить эту статью», но затем, перечеркнув первые два слова, он изменил свою первоначальную формулировку (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, 1865, ед. хр. 102, т. 2, л. 86).

Ознакомившись с донесением В. М. Ведрова, председатель С.-Петербургского цензурного комитета А. Г. Петров, не дожидаясь обсуждения на очередном заседании комитета, сразу же довел его до сведения Главного управления по делам печати. На состоявшемся 2 января 1885 года экстренном заседании совета Главного управления по делам печати было решено записать о сообщаемых в донесении статьях «в журнал

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru заседания на случай принятия меры взыскания против журнала «Вестник Европы» (ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 2. 1884, ед. хр. 24, л. 100 обл.). При обсуждении (9 января 1885 г.) сообщения В. М. Ведрова на заседании С.-Петербургского цензурного комитета было решено «за донесением о книжке начальству, принять доклад цензора к сведению» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, 1865 г., ед. хр. 102, ч. 2, л. 89). Узнав об этом, Салтыков в тот же день (9 января) написал Соболевскому: «Экстренно собирали совет, припомнили Персия и Ювенала и нашли, что даже они такой смуты в общественное сознание не вносили, какую я вношу (буквально). Дело, на сей раз, кончилось тем, что записали в журнал: иметь в виду». Однако 2 февраля 1885 года Салтыков дополнительно сообщал Соболевскому: «Скажу Вам следующее: по поводу 1-го № «Вестника Европы» было собрание 4-х, созванное гр. Толстым, который требовал закрытия журнала. И опять по поводу, главным образом, меня. Кто-то инсинуировал Толстому, что первое январское мое письмо и именно Федот написано на него, хотя я и во сне ничего подобного не видел, да и похожего ничего нет. Толстой, конечно, не читал, но как же не поверить, ежели такой преданный человек говорит, как Феоктистов?» Дополнительные сведения по этому вопросу находим в письме Салтыкова к Михайловскому от 15 февраля 1885 года: «На днях, опять-таки из-за меня, едва не закрыли «Вестник Европы». Собирался уже совет 4-х, но Победоносцев, узнав, что журналу еще не было дано ни одного предостережения, воспротивился».

Третье «письмо» состоит из двух тесно связанных между собою частей. Первая часть – яркая публицистическая характеристика наступившей после 1881 года атмосферы общественной «пестроты» (см. стр. 480). Вторая – изображение типичного деятеля эпохи – автора «оздоровительных проектов».

Современную жизнь Салтыков характеризует как жизнь, «утонующую в массе подробностей», лишенную «общей идеи», которая одна может сообщить «жизненному процессу» творческую силу (так в характеристику современности входит тема «мелочей жизни»).

Салтыков обращается к «охранительной» публицистике, продолжая и развивая анализ ее, начатый еще в девятой из «Недоконченных бесед». Тем самым он вскрывает смысл политики самодержавия, ибо реакционная пресса, представленная прежде всего такими влиятельными органами, как «Московские ведомости» Каткова или «Гражданин» кн. В. П. Мещерского, идеологически обосновывала эту политику и оказывала на нее непосредственное влияние.

Политика правительства Александра III, при всех «пестривших» ее оговорках, в конечном счете исходила из того, что путь реформ, который прошла Россия за прошедшее двадцатилетие – гибельный путь. Отношение «охранителей» к реформам Салтыков определил формулой «перереформили». Реформа, или реформы, – это «катастрофа, породившая все дальнейшие злосчастия», ввергшая Россию в состояние кризиса. На путях «упразднительной пропаганды» подготовлялась почва для контрреформ, с помощью их власть пыталась выиграть из кризиса.

Однако идея контрреформ, с самого начала, не могла не быть бесплодной: ведь если признано необходимым упразднить «храм славы», соорудившийся вот уже двадцать пять лет, то «все-таки надо и самим знать, и для других сделать понятным, какой иной храм славы предполагается соорудить на место только что выстроенного и уже предполагаемого к упразднению». Но как раз это-то остается неясным, будущее видится как возврат к прошедшему – игнорируются «общие законы, управляющие жизнью». Салтыков, таким образом, определяет действительный характер самодержавия не только на данном этапе (1881–1884 гг.), но и сущность самой этой государственной формы как полностью себя исчерпавшей. Однако салтыковский анализ современности имеет гораздо более широкое значение, чем критика самодержавной власти. Речь идет о трагическом кризисе русской общественно-политической мысли, в том числе народнической, которая все больше и больше пропагандировала «непосредственные практические применения», порывая с «общей идеей» (в этом отношении очень характерны отклики «Недели» и «Русского богатства» на первое из «Пестрых писем» – см. стр. 490, 491).

Многочисленные проекты и проекты, долженствовавшие открыть пути к «спасению и оздоровлению», на самом деле имеют лишь отрицательный, «упразднительный» смысл, сводятся в конечном счете к «битью по темени», действию, ни в каком случае не имеющему творческого характера.

Таковы и проекты Федота Архимедова, в которых сатирически обобщены две сферы

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
правительственной политики: народное образование и печать.

Учащаяся молодежь, студенчество были средой, из которой постоянно рекрутировались деятели революции, участники народнического движения. 24 мая 1882 года, вскоре после назначения министром внутренних дел, Н. П. Игнатьев писал министру народного просвещения И. Д. Делянову: «...я всегда считал вопрос о мерах усиленного надзора за учащеюся молодежью одним из существеннейших вопросов настоящего времени, от удовлетворительного разрешения которого в значительной степени зависит упрочение государственного порядка и общественного спокойствия». [56]

Проблемы народного просвещения стали особенно острыми к середине 1884 года, когда обсуждался и вскоре был принят новый университетский устав, отменявший действие устава 1863 года, бывшего результатом общественного подъема 60-х годов. Борьба вокруг нового университетского устава отражала общее движение от реформ к контрреформам.

Выразительную характеристику нового устава дал А. И. Георгиевский, крупный чиновник министерства народного просвещения, ближайший единомышленник Каткова: «...новый университетский устав, предоставив правительственной власти назначение всех профессоров, ректора, деканов, инспектора, и подчинив ее влиянию все университетское преподавание и учение студентов, и поставив в прямую зависимость от нее же назначение студентам стипендий, пособий и льгот относительно платы за учение, заключает в себе все необходимые условия для оздоровления в будущем наших университетов». [57] В 1884 году был осуществлен ряд других контрреформ в области народного просвещения: создание церковноприходских школ, ограничение возможностей для выходцев из низших классов получить гимназическое и университетское образование.

Вторая тема, связанная с сатирическим образом Федота Архимедова, – отношение власти к печати, к литературе, – тема для Салтыкова не новая (см., например, в т. 9 статью «Насущные потребности литературы»). И хотя положение литературы в тисках «крепостной цензуры» (В. И. Ленин) никогда не было легким, к 1884 году, когда на правительственную политику в этой области самое прямое влияние оказывали К. П. Победоносцев и М. Н. Катков, когда во главе министерства внутренних дел стоял Д. А. Толстой, а во главе цензурного ведомства – Е. М. Феоктистов, это положение стало невыносимым. Страх перед печатью, ее «силой», ее «разрушающим» влиянием побуждал власть к усилению репрессий. «Гражданин» следующим образом описывал это влияние: «...газетная печать <...> в какие-нибудь тридцать лет <...> с чудовищною богатырскою силою пошатнула все столетние основы государственного строя, покусилась на ослабление церкви, власти, семьи, сословий, преданий, разрушила чуть ли не весь старый духовный мир, осмеяла и опошילה все святое; перевернула все сверху вниз в головах, развратила и с ума свела почти поголовно все образованное общество...» [58]

Своим проектом, «стрела» которого направлена «не против печати собственно, а против ее деятелей», Федот Архимедов выражает ту «пестрящую» особенность цензурной политики, которая демагогически связывала репрессии с неблагонадежностью деятелей печати.

Иронически используя наименование издания, предпринятого в свое время А. Ф. Смирдиным («Сто русских литераторов», 1839), Салтыков создает сатирический образ «идеальной», с точки зрения власти, организации прессы.

Салтыков отрицал «прототипичность» центрального персонажа «письма» – Федота Архимедова, усмотренную Д. А. Толстым (см. стр. 497). В этом смысле гнев министра внутренних дел, чуть было не приведший к прекращению «Вестника Европы», был, разумеется, неосновательным. Предметом сатиры является правительственная политика вообще, в формулировании и осуществлении которой, однако, действительно принимали участие многие бывшие соученики Салтыкова, в том числе и Д. А. Толстой.

Среди ряда откликов на третье «письмо» представляет интерес лишь развернутая рецензия А. И. Введенского. Подобно другим русским писателям (Л. Толстому, Гл. Успенскому), Салтыков, «нередко выходит из художественных форм и вместо образов дает размышления». Эта особенность кажется рецензенту характерной для современной литературы. Но «эти размышления суть только, – говоря старым языком старинных теорий словесности, – лирические излияния, и в них автор остается все

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru тем же сатириком-поэтом. И сила лирического негодования придает размышлениям сатирика необыкновенную живучесть, захватывающую читателя. Таким лирическим пародом начинается и «Пестрое письмо» в январской книжке «Вестника Европы». И тут автор касается самых больных струн современности, рисует «полную картину современного нам умственного скитания». Подняв важную для Салтыкова тему защиты «калечимых людей» (см. стр. 254), А. Введенский дал ее весьма неглубокую и неточную трактовку. «...Сатирику предстояла, – писал рецензент, – быть может, самая благодарная и благодетельная задача – во имя общих законов жизни защищать человека, обличать это удивительное стремление не признавать законов жизни, калечить людей на собственный манер, по изобретенным «не теми Федотами» проектам, составляемым в кабинетах и канцеляриях, без соображения с обстоятельствами жизни и даже насилуя законы природы» и т. д. и т. п.. [59] «Статью Введенского о последнем «Пестром письме» я совсем не понял, – писал Салтыков В. М. Соболевскому 13 января 1885 года. – Есть какой-то намек на то, что нужно, дескать, заступаться за людей, которых калечит жизнь, но все это темно, скомкано и нерезонно. Точно в нетрезвом виде писано. Тема о заступничестве за калечимых людей очень благодарна, но нужно ее развить и всесторонне объяснить. Ведь недаром же она не разрабатывается, а г. Введенский, по-видимому, полагает, что вот он дорос, а другие не доросли. Выходит общее место».

Стр. 250. Как плод недоделок и недомолвок появились на сцену «кризисы» <...> оракулы современности (они же изрыгатели проклятий) только о кризисах и говорят. – Тема всевозможных «кризисов» была постоянной на страницах «Московских ведомостей» в 1883–1884 годах: «Вот уже несколько месяцев длится общий и повсеместный промышленный и торговый кризис» (1883, 16 февраля, № 47). Сообщения о кризисах сопровождалась поисками виновных и «изрыганием проклятий» по адресу инакомыслящих, прежде всего по адресу интеллигенции. См. об этом также в IX из «Недодоконченных бесед» (т. 15, кн. вторая).

Стр. 253...в самом, дескать, правительстве накопилось бесчисленное множество антиправительственных элементов... – Тезис о наличии «в самом правительстве» «антиправительства» был выдвинут М. Н. Катковым (М. вед., 1884, 8 августа, № 218) в передовой статье, написанной по поводу решения Первого департамента Правительствующего сената, рассматривавшего конфликт между казанским губернатором и казанским земским собранием и принявшего сторону земства. Здесь Катков наиболее четко сформулировал тезис о необходимости борьбы с «расхищением власти», подрывающим самодержавие: «У нас возникло фальшивое воззрение, порожденное быстротой реформ минувшего царствования, о каких-то самостоятельных в государстве и от него не зависимых властях. Рядом якобы с государством, от него независимо, но пользуясь его авторитетом и силой, должна-де существовать судебная власть, должны точно так же существовать не только отдельно и независимо от правительства, но в существенной оппозиции к нему земские, городские учреждения и разные другие корпорации. Правительство таким образом очутилось одним из многих правительств и потерялось среди них, так что иногда не отыщешь, где настоящее правительство. Увлеченное течением, правительство само решило, якобы в интересах свободы и цивилизации, передавать свою власть разным, им же самим себе в подспорье созданным учреждениям, отказываясь от своих обязанностей и порождая призрак анархии в стране».

...это мнение вполне обстоятельно опровергается существованием знаменитого 3-го пункта для сменяемых, и кабинетных собеседований – для несменяемых. – В соответствии с «3-м пунктом» закона от 7 ноября 1850 г. «неспособные» или «неблагонадежные» чиновники государственных учреждений могли быть уволены без объяснения причин, а также без права обжалования и возвращения на службу. Кабинетное собеседование – предостережение, сделанное в дисциплинарном порядке чинам судебного ведомства («несменяемым»), увольнение или перемещение которых не зависело от администрации, а определялось лишь приговором суда.

Стр. 255...«растекались мыслью по древу»... – Из «Слова о полку Игореве».

Стр. 256...бесшабашный советник дыба... – См. «За рубежом» и «Письма к тетеньке» (см. т. 14).

...Они многое позабыли и весьма малому научились. – Салтыков перефразирует изречение, приписывавшееся Талейрану. В действительности оно принадлежит французскому адмиралу де Пана (см.: Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова. Гослитиздат, 1966, стр. 479).

...примеры полезных оздоровительных проектов, вроде обуздания гласности, упразднения судейской несменяемости, неограниченного выпуска кредитных билетов, учреждения элеваторов и т. п. – С наибольшей откровенностью программа «обуздания гласности и упразднения судейской несменяемости» была намечена в статье кн. В. П. Мещерского «На Новый год» («Гражданин», 1884, № 1) в следующих четырех пунктах: «1) Не следует ли непременно прекратить на время суд присяжных, поручив обязанность суда исключительно коронным судьям? 2) Не следует ли отменить статью судебных уставов о несменяемости членов судебного ведомства? 3) Не следует ли на время отменить вовсе гласность судопроизводства по уголовным делам? <...> 4) Не следует ли одновременно приступить к пересмотру судебных уставов?»

«Неограниченный выпуск кредитных билетов» пропагандировал еще во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов Катков. В 1883–1884 годах он неоднократно обрушивался на предпринятые министерством финансов Н. Х. Бунге меры по упорядочению кредитно-денежного обращения, среди которых было и уничтожение необеспеченных денежных знаков. «В продолжение года было сожжено кредитных билетов на 60 млн. рублей, значит, было уничтожено 900 верст железных дорог» (М. вед., 1884, 16 ноября, № 318). «Учреждение элеваторов» также было одним из предлагавшихся «Московскими ведомостями» «оздоровительных проектов»; наличие элеваторов, то есть зерновых складов при железнодорожных станциях, будто бы прототвращает колебания цен на хлеб, являющиеся причиной «хлебного кризиса».

Стр. 257...абсентеизм. – Здесь: нечто отсутствующее (от лат. absens).

Стр. 258...водевиль «Отец, каких мало». – Автором этого популярного водевиля, напечатанного в 1838 г. в журнале «Репертуар», был плодовитый водевилист Н. А. Коровкин.

Стр. 259...по лестнице, виденной Иаковом во сне... – Из Библии (Бытия, гл. XXVIII).

Стр. 261...земство, суд, акцизное ведомство, контроль... – О нападках реакции на земство и суд см. прим. к стр. 253. Акцизное и контрольное ведомства также принадлежали к числу «новых учреждений», созданных в эпоху 60-х годов (см. т. 7, стр. 598).

Стр. 264...разумеется, если какая-нибудь комиссия и тут не подпустит. – По-видимому, намек на проектировавшуюся так называемой Кахановской комиссией (см. стр. 494) реформу местного крестьянского самоуправления, предполагавшую замену волости крестьянской волостью всесословной.

Ведь Рыков думал <...> теперь он за свою выдумку сидит на скамье подсудимых. – См. прим. к стр. 294–295.

Стр. 267. Уже достаточное количество сошло с арены, остальные... не замедлят! – Русская литература в 70-х – начале 80-х годов понесла тяжелые утраты (смерть Некрасова, Достоевского, Писемского, Тургенева). Прямому поруганию подверглось имя Тургенева в органах реакции, когда после смерти писателя стало известно о его связях с народнической эмиграцией. Даже расходы Петербургской городской думы на похороны Тургенева вызвали поток злобных инсинуаций. В связи с этим «Гражданин» в беспрецедентно грубой форме затронул и Салтыкова: «И общество должно будет готовиться к значительному расходу, если, например, – чего боже сохрани, умер бы „наш великий сатирик“» (1884, № 10). По-видимому именно эти факты и нашли отражение в заявлении Федота Архимедова.

Стр. 268...следует ли членам литературных отрядов присвоить штатное содержание <...> следует, но в виде частного пособия и притом келейно. – Систему «келейных» пособий, то есть подкупа печати, предлагал министр внутренних дел Д. А. Толстой. Но она была отвергнута председателем комитета по делам печати Е. М. Феоктистовым как неэффективная (см.: Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы. Л., 1929, стр. 213–214). Вместе с тем таким «частным пособием», исходившим от самого императора, пользовался, например, «Гражданин» кн. В. П. Мещерского.

Стр. 269...знание латинских пословиц и изречений. – Намек на характерную особенность публицистики М. Н. Каткова.

ПИСЬМО IV

Впервые – ВЕ, 1885, № 2, стр. 619–650.

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Рукописи и корректуры не сохранились.

Работа над очерком была закончена в первых числах января (см. письмо Салтыкова к Стасюлевичу от 6 января 1885 г.).

Жизненная судьба «жены корнета» [60] Арины Михайловны Оконцевой, символизирующая социальную судьбу дворянства, разворачивается на фоне и в условиях расцветающего хищничества, которое уже не удовлетворяется взяточничеством и казнокрадством, хотя еще и не поднялось до своей высшей формы, когда оно – просто «порядок вещей». Арина Михайловна оказывается сначала жертвой хищничества наглого и примитивного (Тимофей Удалой), а затем – хищничества замаскированного, «ташкентского» («рыковщина») (Классификацию хищничества Салтыков даст позднее в «Письме VII»).

Отзывы печати о четвертом письме немногочисленны и малоинтересны. А. И. Введенский отметил, что «отношение старого докатастрофного времени к современности выражено в «Пестром письме» с поразительной рельефностью и правдой». [61]

Стр. 270. «Гусар, на саблю опираясь...» – Первая строка стихотворения К. Н. Батюшкова «Разлука».

Стр. 271...хранилось в «Совете»... – Опекунский совет – сословно-дворянское учреждение, в ведении которого находились приюты, воспитательные дома и т. п. При нем существовала сохранная касса, принимавшая вклады и выдававшая ссуды.

Стр. 272...дворяне съехались, потому что им дозволено насчет «воли» просить. – Такое «дозволение», – точнее, предписание приступить к подготовке крестьянской реформы – было дано «высочайшими рескриптами» виленскому генерал-губернатору В. Н. Назимову и с. – петербургскому генерал-губернатору П. И. Игнатьеву, обнародованными в декабре 1857 г. (подробнее см. т. 5, стр. 543). Такие съезды происходили после ознакомления в августе 1859 г. представителей губернских крестьянских комитетов с правительственным проектом отмены крепостного права.

Стр. 273...потянулся <...> народ <...> к обедне... – Царский манифест об освобождении крестьян был объявлен в церквях.

Стр. 276...на другой день благовещенья... – Благовещенье – весенний христианский праздник, в православной церкви приходящийся на 25 марта, ст. ст.

Стр. 278...Семен Семеныч, с «Гамлетом» в руках, с Гамлетом в сердце и с Гамлетом в голове... – По свидетельству Алексея Ник. Веселовского (со слов самого Салтыкова), в лице Семена Семеныча он изобразил «некоторые черты» товарища своих детских и школьных лет С. А. Юрьева («Салтыков в воспоминаниях», стр. 644–645).

...на выкуп крестьян выпустил <...> занадельную землю по частям распродал... – Крестьянская община могла выкупить в свою собственность ту часть помещичьей земли, которая была ей выделена для пользования в форме наделов. Остальная часть (занадельная земля) оставалась собственностью помещика. Многие помещики, не желая или не в состоянии вести хозяйство в новых условиях, распродавали свою «занадельную землю».

...волю вино объявили. – Имеется в виду закон об акцизе, принятый 4 июля 1861 г. (см. т. 7, стр. 598).

Стр. 279...и застонали Иверские ворота, заскрежетал Страстной бульвар... – Судебные уставы 1864 г. отменили институт частных ходатаев по делам (дореформенные подьячие), совершавших свои сделки в трактирах около Иверских ворот в Китайгородской стене. На Страстном бульваре помещалась редакция катковских «Московских ведомостей».

Наконец, подоспело и земство... – Положение о земских учреждениях вступило в силу 1 января 1864 г.

Стр. 280...за корнета Мстислава Удалого. – Отцу проходимца, обирающего Оконцеву, в сатирических целях присвоено имя Мстислава Удалого, воинственного русского князя начала XIII в., потерпевшего поражение от татар в битве при Калке (1223).

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 282. Вон мать Митрофания... – Имеется в виду громкий уголовный процесс игуменьи Митрофании, обвинявшейся в подлоге; слушался в октябре – ноябре 1874 г. (см. т. 10, стр. 804–805).

...процесс червонных валетов. – Процесс этот, по которому обвинялась шайка «золотой молодежи», слушался в Московском окружном суде в феврале – марте 1877 г. (см. т. 12, стр. 707–708).

Стр. 290. Понаделали каких-то нотариусов... – Институт нотариусов был установлен «Судебными уставами» 1864 г.

Стр. 294–295. И живет этот финансист в граде Скопине-Рязанском, и оттоле на всю Россию благоденствия изливает <...> А Скопин-град за всё про всё отвечает. Стало быть, чуть какая заминочка, сейчас можно этот самый град <...> сукциону продать. – Банк в Скопине-Рязанском был основан еще в конце 50-х годов скопинским городским головой И. Г. Рыковым. Уже в ту пору в его деятельности были обнаружены крупные злоупотребления (дело, возбужденное в связи с этим Салтыковым, тогдашним рязанским вице-губернатором, было прекращено сенатом). Популярность скопинского «общественного» банка, операции которого будто бы обеспечивались городским имуществом и должны были контролироваться городской думой, приобрела неслыханные размеры в самых разных общественных слоях. «Всем хотелось разбогатеть. <...> Это было своего рода пилигримство: люди шли и несли свои деньги в капище золотого тельца, несли и без всяких колебаний отдавали их в руки скопинского идола. За монастырями, общежитиями, иноками и «батюшками» понесли свои крохи вдовы и старцы и всякого звания люди. Прилив капиталов был непрерывный, ни на минуту не прекращавшийся. Двери банка были открыты настужь с утра до вечера; некогда было отдохнуть. Это была какая-то горячка, пароксизм бешеной алчности, затмившей в людях всякое благоразумие» («Рыковщина». – «Неделя», 1884, 9 декабря, № 50).

Стр. 297. Она выписывает «Куранты»... – то есть «Московские ведомости».

...литераторы от Иверской, которые <...> украшают задние столбцы «Курантов» заявлениями, извещениями и удивлениями. – См. прим. к стр. 312–313.

ПИСЬМО V

Впервые – ВЕ, 1885, № 3, стр. 148–171.

Сохранился конец наборной рукописи (от слов «Вот вы на эту другую работу и употребили бы ваше...», стр. 316, строка 3).

Работу над очерком Салтыков закончил в конце января 1885 года (письмо М. М. Стасюлевичу от 28 января 1885 г.).

Текст Изд. 1886 полнее журнального. Судя по дошедшей до нас части наборной рукописи, Салтыков восстановил исключенные в журнальной публикации части текста и произвел незначительную стилистическую правку.

Первая часть «Письма V» развивает тему, намеченную в предыдущем «Письме» – тему хищничества, которой, однако, здесь дается неожиданный и парадоксальный поворот: «господство хищения кончилось». В сложной иносказательной форме, по-видимому, речь идет об инспирировавшей властью и реакционной, «охранительной» публицистикой («Бируковым» [62]) идее, будто хищничество было продуктом предшествовавшей эпохи «реформаторства», когда расшатались основы русской жизни, когда общество поразила «духовная чума». [63] Эта идея отвечала также интересам «мироедов», самих хищников. Новая эпоха, время расчета с ненавистным «реформаторством», то есть эпоха реакции и контрреформ, и может быть названа поэтому эпохой «упразднения хищничества и торжества покаяния» (см. «Письмо VIII», стр. 360). Между тем, само собой разумеется, хищничество не только не прекратилось («все зависит от того, как посмотреть»), но усугубилось, приняв лишь форму «порядка вещей» (см. «Письмо VIII»). Демократ Салтыков не ограничивается обнажением невозможности для хищников, по самой социальной природе их, «покаяния», а трактует хищничество как тему все большего закабаления крестьянина в условиях сложившегося «порядка вещей». Вместе с тем Салтыков предвидит то время, когда «мужичок» поймет связь между своим тяжким положением и всевозможными хищническими «фестонами».

«Упразднение хищничества и торжество покаяния» возвестил Подхалимов [64] – литературный деятель нового типа, газетчик, журналист уже не 60-х, а 80-х годов

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru (подробнее об особенностях прессы этого времени см. в примечаниях к «Мелочам жизни»). Подхалимовщина – явление, характеризующее современное состояние печати и облик ее деятелей, когда уже завершился «процесс перемещения новоявленной силы (то есть печати) из одного центра в другой» – из сферы демократических гражданских убеждений в область беспринципного буржуазного политиканства. Вместе с таким «перемещением» меняется и облик деятеля печати, происходит беспощадно жестокое извращение его человеческой природы, человеческой сущности. Трагизм подхалимовской судьбы – в противоречии между «даровитостью» и той «омерзительной, гнусной, бесчестной окраской», которую он «сумел дать своему таланту».

Преимущественное внимание рецензентов было привлечено к образу Подхалимова. Характеристика его как представителя современной прессы была признана верной органами разных направлений – от «С.-Петербургских ведомостей» до «Недели», «...в Подхалимове следует видеть тип, воспроизводящий всю современную торжествующую литературу, торгующую распивочно и навывнос. Многие из стаи славных деятелей могли бы узнать себя в Подхалимове», – писал рецензент киевской «Зари».[65] Некоторые рецензенты обратили внимание на патетический, лирический тон ряда страниц пятого «письма». «Последние страницы, – писал, например, П. Голубев, – где автор отвечает на вопрос: «Что такое Подхалимовы?», полны глубочайшего общественно-психологического интереса и по некоторым лирическим отступлениям напоминают лучшие страницы из «Круглого года». <...> Вероятно, зараза беспринципности, фальши, лганья уже слишком глубоко проникла в нашу прессу, чтобы вынудить такой крик уже не негодования только, как прежде (корреспонденты Тряпичкины, Очищенный, репортеры «Красы Демидрона» и пр.), а едва ли не отчаяния пред вырождением лучших наших сил».[66] В ряде рецензий салтыковский Подхалимов сопоставлялся с героем мопассановского «Милого друга» – журналистом Жоржем Дюруа (роман Мопассана был начат печатанием в той же книжке «Вестника Европы», где публиковалось пятое «Пестрое письмо»), причем предпочтение по мастерству и глубине анализа отдавалось салтыковскому герою. «Нельзя <...> сказать, – писал, например, С. Т. Герцо-Виноградский, – чтобы автор «Мопассан» глубоко проникал в душевные тайники этих Подхалимовых. Его фигуры наживо сколочены и представляются какими-то деревянными. В этом отношении анализ Щедрина несравненно остроумнее и тоньше».[67]

Стр. 298. «Не обличать надо, а любить», – говаривал покойный Прутков... – См. прим. к стр. 234.

Стр. 299. В вас, как нынче во всех газетах объявлено, здравый смысл проявился... – Славянофильская идея о народе – носителе национального духа и охранительного здравого смысла – была демагогически использована самодержавием как в период «народной политики» и «земского собора» гр. Н. П. Игнатьева (см. т. 14, стр. 625, а также стр. 494), так и позднее, в 1883–1884 годах, когда реакционные идеологи видели в народе опору самодержавия в его борьбе с революционно-освободительным «интеллигентским» движением.

...с помощью крестьянского банка всю угодку у меня купите. – Крестьянский поземельный банк начал выдавать ссуды на покупку земли весной 1883 г. Вскоре эта мера вызвала недовольство дворян-землевладельцев и их идеологов: «Крестьянские банки, это незрелое, недодуманное учреждение, пущены в ход, и никто не хочет ни знать, ни ведать, что главное их нравственное значение есть новый удар, наносимый земельному дворянству» («Гражданин», 1884, 23 сентября, № 39, стр. 24). На самом же деле, как это ясно видел Салтыков, ссуды, выдававшиеся банком, закабалляли крестьян и в то же время служили финансовой поддержкой разорявшимся помещикам, давая им возможность продать сохранившиеся отрезки с большей выгодой, так как результатом операций банка было резкое вздорожание земли (см. сказку Салтыкова «Кисель» и прим. к ней).

Стр. 300. Кузьма Прутков <...> землю задешево похитил... – О распродаже государственных уфимо-башкирских земель см. т. 14, стр. 561–562.

Столоначальник департамента Преуспеваний и Прогрессов... – Указанный департамент обозначает здесь, по-видимому, не какое-либо определенное ведомство, а символизирует любое правительственное учреждение, занимавшееся реформаторской деятельностью (отношение к такого рода деятельности, например, той же Кахановской комиссии, Салтыков выразил сатирической формулой – «палить без пороха»).

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Губошлепов концессию получил... – Под именем Губошлепова в сатире Салтыкова фигурирует железнодорожный деятель – концессионер П. И. Губонин (см. т. 10, стр. 734).

Феденька Кротиков ряд резвых циркуляров издал... – Феденька Кротиков – «помпадур борьбы» (см. «Помпадуры и помпадурши», т. 8).

Tout s'enchaîne, tout se lie dans ce monde, – как сказал некогда Ламартин. – Это изречение принадлежит, по-видимому, не Ламартину, а Ш. Бонне (см. т. 14, стр. 624–625).

Стр. 305...выхлопывает Губошлепов концессию <...> «с гарантией»... – Прибыли железнодорожных компаний гарантировались правительством, то есть, в случае убыточности строительства и эксплуатации железных дорог, выплачивались из государственного бюджета и, следовательно, ложились тяжким бременем на плечи крестьянства.

Стр. 309...субъект, от которого несло водами Екатерининского канала. – Не раз встречающееся у Салтыкова фигуральное обозначение нравственной нечистоплотности: воды Екатерининского канала славились нечистотой и зловонием.

...казанской части дипломат по внутренней политике... – осведомитель.

Стр. 310...история прекратила течение свое... – Автоцитата: последняя фраза «Заключения» «Истории одного города» (т. 8, стр. 423).

...«в минуту жизни трудную»... – Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва» (1839).

Стр. 311. «Морсов» – отрывок литературного или музыкального произведения, представляющий самостоятельный интерес (от франц. *morceau*).

...«страха не страшусь, смерти не боюсь!»... – Слова арии Ивана Сусанина из оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя», либретто Е. Ф. Розена).

Стр. 312...«Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман»... – Из стихотворения А. С. Пушкина «Герой».

Стр. 312–313...«Пошехонские куранты» <...> свои задние столбцы всевозможным добровольцам в полное распоряжение предоставили <...> Тут и элеваторы предлагают, и запретительных пошлин требуют <...> и замену книгопечатания билетопечатанием проповедуют, а на днях один неунывающий плутократ проект об отдаче казны в бессрочную аренду акционерной компании сочинил... – «Пошехонские куранты» – «Московские ведомости» М. Н. Каткова. Задние столбцы – третья и четвертая страницы катковской газеты. Элеваторы – см. прим. к стр. 256. О «запретительных пошлинах» один из «добровольцев» писал: «Повышение пошлин на все вообще предметы ввоза не только увеличит таможенные доходы, но, что еще важнее, даст толчок к развитию всех отраслей нашей промышленности, а это, в свою очередь, не только увеличит способы накопления народного богатства, не только увеличит потребление продуктов сельского хозяйства, но и развяжет правительству руки, дав ему возможность перестать заботиться исключительно только о промышленности и торговле, но обратить свое внимание и прийти с действительной помощью к ныне совершенно забытому сельскому хозяйству» (Ф. Игнатьев. Пошлина на хлеб – М. вед., 1885, 15 января, № 15). Билетопечатание – речь идет о выпуске кредитных билетов, см. прим. к стр. 256. Проект об отдаче казны в бессрочную аренду акционерной компании – «Проект выкупа железных дорог и возврата казне лежащего на них долга», предложенный железнодорожным дельцом, «неунывающим плутократом» С. С. Поляковым (М. вед., 1885, 15 января, № 15). Проект С. Полякова предполагал создание акционерного общества государственных железных дорог. Его смысл «Московские ведомости» разъясняли следующим образом: «Энергию выгоды вносило бы в дело общество, а сдерживающая и направляющая сила принадлежала бы правительству как главному хозяину» (М. вед., 1885, 15 марта, № 73).

А может быть, и на розничную продажу не надеются. Прытки мы, но не сильны. – Розничная продажа газеты была важнейшей статьей дохода для издателей. Она увеличивалась в зависимости от сенсационности сообщаемых сведений. Вероятно, в комментируемых словах содержится намек на то, что предлагаемое «ополчение» может вызвать запрещение розничной продажи – одну из форм цензурных репрессий.

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 316–317...как какой-нибудь Скоморохов подступает к вопросу <...> Тут уже не о скачущем штандарте идет речь, а о служении на чреде государственной... – Салтыков дает блестящий анализ тактики Каткова, превращавшего обсуждение любого современного вопроса в «служение на чреде государственной», в его, катковском, понимании. См., например, отклик Каткова на процесс Скопинского банка (стр. 506): «Дело Скопинского банка представляет интерес не только как судебное дело, преследующее виновных, но и как характеристика положения дел, созданного доктриной упразднения правительства» и т. д. (М. вед., 1884, 27 ноября, № 329).

ПИСЬМО VI

Впервые – ВЕ, 1885, № 4, стр. 506–525.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Написано в феврале 1885 года.

Окончание работы над очерком определяется письмом Салтыкова к Стасюлевичу от 21 февраля 1885 года.

При подготовке «Письма» к Изд. 1886 Салтыков произвел значительную правку текста и внес ряд дополнений.

Сатира Салтыкова и в «Письме VI» принимает своеобразную «историческую» форму, диктуемую общей концепцией цикла – подведением «итогов» целого периода в истории России.

На сцену выходят «привидения», выходцы из тех «прошлых времен», которые Салтыков некогда «хоронил» в «Губернских очерках». Больше того, эти «привидения» вершат суд над современностью. В чем же смысл этого суда?

Враждебная Салтыкову пресса истолковывала содержание сатиры весьма тенденциозно. «Все салтыковские восемь генералов <...> – говорилось в рецензии «С.-Петербургских ведомостей», – служат, однако, чему бы вы думали? – действительному, фактическому прославлению нынешнего правительственного режима. Это относительно Г. Салтыкова звучит так дико, невероятно, что требует самого положительного объяснения <...> Дурно жить скверным, удручающим собою людям, следовательно, хорошо жить хорошим. Так ли?» [68]

Однако на самом деле салтыковские генералы–«привидения» «служат» гораздо более сложным идейно-художественным задачам. Прежде всего Салтыков устанавливает общность вожделий «антиреформенных бунтарей», носителей «благвременной» и «благонамеренной крамолы» с главным направлением политики правительства Александра III, – политики контрреформ. Но это лишь одна сторона, одно, и не главное, значение фантазмагории «антиреформенного бунтарства» в изображении Салтыкова. Идеолог его – «умница» Покатилов развивает теорию государственной власти, зиждущейся на «гарантиях», призванных ограничить возможные беззаконие и произвол власть имущих строгим равновесием всех частей единого централизованного политического механизма (ср. т. 14, стр. 100–101). Таким механизмом в представлении Покатилова была складывавшаяся веками дореформенная государственная система самодержавия, нарушенная реформами. В самом деле, к началу 80-х годов ряд централизованных учреждений самодержавия, игравших роль «гарантов», был или коренным образом перестроен, или и вовсе уничтожен (прокурорский надзор, сенат, III Отделение). Новые учреждения (суд присяжных, земство и т. п.) дают лишь мнимые гарантии («дразнятся»). В правительственной политике в условиях «пестроты» и «белиберды» 80-х годов возобладал принцип «децентрализации». Фрагмент «Письма VI» (от: «...тогда образовалась целая публицистическая доктрина» до: «Токевиль прав» – см. стр. 330) представляет собой конспективное изложение сатирического проекта «О необходимости децентрализации», сочиненного «отставным корнетом» Петром Толстолобовым, персонажем «Дневника провинциала в Петербурге» (1872). [69] Суть этого реакционного проекта сформулирована в следующих словах: «Для того чтобы искоренить зло, необходимо вооружить власть. Для того же чтобы власть чувствовала себя вооруженною, необходимо повсюду оную децентрализовать (т. 10, стр. 332), то есть, в сущности, освободить от ответственности перед законом и учреждениями, призванными блюсти закон.

Программа корнета Толстолобова есть гениальное предвидение политической программы правительства Александра III. Именно эта программа подвергнута критике

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru в суждениях «умницы» Покатилова, полагавшего, что власть укрепляет и «вооружает» себя не произволом, а гарантиями.

Стр. 321...по инфантерии числился... – находился в отставке.

Стр. 322...отправить туда сенаторскую ревизию. – Сенаторские ревизии назначались для пресечения обнаруженных злоупотреблений как исключительная мера (см., например, т. 7, стр. 433–444).

...их в ту пору разом, в числе двадцати генералов, обидели... – Речь идет о предпринятой правительством Александра II в начале царствования замене старой дореформенной бюрократии новыми либеральными чиновниками (среди последних был и Салтыков, назначенный в 1858 г. вице-губернатором в Рязань).

...нагрянул на откупщика в подвал... – то есть застал его на месте преступления – при изготовлении фальшивых денег.

...кантонисты аракчеевской школы... – выходцы из солдатских детей, обучавшиеся в особых школах при организованных Аракчеевым военных поселениях.

...«Направляй кишку в огонь! направляй!» – Пожарная кишка была средством не только тушения пожаров, но и усмирения бунтов.

Стр. 326...Гвоздилов сообщил вычитанный им в газетах слух о том, что действия комиссии Несведения концов с концами в непродолжительном времени имеют вступить в новый фазис. – Возможно, речь идет о Кахановской комиссии, которая вскоре, в мае 1885 г., прекратила свое существование, не прийдя ни к каким результатам. Дальнейшие рассуждения отставных губернаторов о «комиссиях» сжато передают суть нападок консервативной печати на эту комиссию, образованную еще в период «народной политики» гр. Н. П. Игнатьева и возглавлявшуюся одним из деятелей эпохи «диктатуры сердца» – М. С. Кахановым.

Стр. 328. Пошли мы с этими пистолетами под Севастополь... – См. очерк Салтыкова «Тяжелый год» (цикл «Признаки времени», т. 7).

Стр. 330...в форме вопроса о губернаторской власти. – Все помнят, как волновал этот вопрос русское общество в половине шестидесятых годов.

Этой теме специально посвящено десятое из «Писем о провинции» Салтыкова (см. т. 7, стр. 306–314 и прим. на стр. 627–629). Поводом к написанию названного «письма» послужило обсуждение проекта административно-полицейской реформы, направленной на усиление губернаторской власти.

Стр. 331. Ступит на горы – горы дрожат, ляжет на воды – воды кипят. Вот в каком виде понимает власть «последнее слово науки»... – Словами из оды Г. Р. Державина «Бог» Салтыков характеризует «публицистическую доктрину», наиболее последовательно разрабатывавшуюся М. Н. Катковым (см. прим. к стр. 253). «Последним словом науки» в данном случае она, по-видимому, названа полемически как отклик на следующее заявление Каткова: «Эфемерные и фальшивые доктрины, выдающие себя за последнее слово науки, в наше смутное и подвижное время легко овладевают умами недовольно зрелыми и характерами недовольно крепкими...» (М. вед., 1884, 8 августа, № 218) (Катков под «последним словом науки» разумел конституционные идеи).

Стр. 332. Губернский прокурор – глава так называемого прокурорского надзора, формально независимый от местной власти, подчиненный министру юстиции. Губернский штаб-офицер – жандармский полковник; также от местной власти не зависел, подчинялся, до ликвидации III Отделения, его главе, шефу жандармов.

Стр. 333. Симония – торговля церковными должностями.

Стр. 335...как вы о губернских правлениях полагаете? – Губернское правление являлось «коллегиально управляемым высшим губернским местом», по закону подчиненным Сенату (см. С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860 годов. М., 1972, стр. 192 и след.)

Стр. 336...посторонние ведомости – учреждения, не входившие в систему министерства внутренних дел.

Стр. 337...нынче даже сенат – и тот предостерегающее значение утратил... – Правительствующий сенат – высшее административно-судебное учреждение царской России, осуществлявшее надзор за правильностью исполнения законов, «хранитель законов». В данном случае, по-видимому, имеются в виду нападки на сенат в связи с решением Первого его департамента, шедшим вразрез с политикой министра внутренних дел Д. А. Толстого (см. прим. к стр. 253). Так, кн. В. П. Мещерский назвал Первый департамент сената «учреждением, враждебно настроенным против направления нынешней внутренней политики и против министра внутренних дел, дающего этой политике направление самое заметное» («Гражданин», 1884, 19 августа, № 34, с. 20).

...Сенат-с <...> а особливо московские оного департамента... – «Судебными уставами» 1864 г. были созданы два новых, так называемых кассационных департамента сената, с местопребыванием в Петербурге. Вместе с этим началось преобразование «старых» (судебных и административных) департаментов, завершившееся лишь в 1883 г. В процессе этого преобразования были ликвидированы департаменты сената, находившиеся в Москве.

ПИСЬМО VII

Впервые – ВЕ, 1885, № 6, стр. 659–676, с примеч.: «См. «В. Евр.», апрель 1885 года. Настоящее письмо не могло быть напечатано в майской книжке по болезни автора. Ред.»

Рукописи и корректуры не сохранились.

Начало работы над очерком определяется письмом Салтыкова к Соболевскому от 4 апреля 1885 года: «Теперь принялся за «Пестрое письмо», которое нужно кончить к 15 числу...» Однако очерк закончен был лишь в начале мая (см. письмо Салтыкова к Стасюлевичу от 6 мая).

Хотя в материалах цензуры нет каких-либо упоминаний об этом очерке, но, видимо, именно о нем идет речь в письме Стасюлевича к Пыпину от 24 августа/5 сентября 1885 года: «Вы, вероятно, помните, что случилось с последним «письмом» Салтыкова, относительно которого инспекция «надеялась», что набор его еще не разобран» (ГПБ, ф. 621, ед. хр. 835, л. 33 об.).

«Письмо VII» непосредственно продолжает «письмо» предыдущее, – завершая его сюжетно и являясь глубоким публицистическим комментарием к сатирической истории тайного общества «антиреформенных бунтарей». В единственном (других обнаружить не удалось) отклике на седьмое «письмо» в связи с этим говорилось: «Комментарии к «письмам» г. Щедрина вообще не нужны; в настоящем же случае они были неуместны, так как в этом «письме» автор сам разъясняет свою предшествовавшую сатиру и становится уже почти публицистом. Нам это «письмо» кажется едва ли не лучшим из серии «Пестрых писем». [70]

Разъясняя смысл суждений Покатилова о «гарантиях», Салтыков сопоставляет «белиберду» покатиловскую, дореформенную с современной. Олицетворением современной антиреформенной «белиберды» выступают два сатирических персонажа – тайный советник Крокодилов и отставной корнет Отлетаев, формулирующие общую реакционную программу.

Сатирический образ корнета Отлетаева восходит к бесшабашному герою одноименной повести кн. Г. В. Кугушева (таковым он и является у Салтыкова в рассказе «Старая помпадурша» – см. т. 8, стр. 42). Позднее тип «отставного корнета» приобретает у Салтыкова определенные социально-политические черты (Петька Толстолобов в «Дневнике провинциала», Прогорелов в «Убежище Монрепо»). Это – «некогда крепостных дел мастер, впоследствии оголтелый землевладелец» (т. 13, стр. 380). Именно эти черты «отставного корнета», делавшие его в середине 70-х годов «пропащим человеком», оказались через десяток лет самыми подходящими для осуществления правительственной политики контрреформ. Ныне, в 80-е годы, ставши земским деятелем или предводителем дворянства, он приглашается в Петербург в качестве «сведущего человека» для участия в работах той или другой «комиссии». «Корнет Отлетаев», как и «дядя» Захар Иванович Стрелов (см. «Письмо VIII»), «держит свое знамя высоко» – он естественно становится носителем и пропагандистом идеи «дворянской организации», в которой, по словам «Московских ведомостей», «по преимуществу следует искать элементы для благоустройства местного, то есть повсеместного управления в Русском царстве...» (М. вед., 1885,

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
21 апреля, № 108).

В «Письме VII» непосредственным прототипом корнета Отлетаева был «сведущий человек», участник работ Кахановской комиссии с осени 1884 года – алатырский уездный предводитель дворянства А. Д. Пазухин. Ему принадлежит идея замены местных судебных и земских учреждений сословно-дворянским институтом уездных начальников («благонадежных отставных прапорщиков»), осуществленная позднее, в 1889 году законом о «земских начальниках» (см.: А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос. – РВ, 1885, № 1). См. также далее «Проект обновления», предложенный «дядей» Захаром Ивановичем Стреловым («Письмо VIII»).

В заключении «письма» Салтыков вновь касается судьбы «среднего человека», «простеца», трагическое положение которого «объясняет тайну успеха белиберды». Эволюция либерала Глумова, прослеженная в «Современной идиллии», но там прерванная явлением «стыда», в «Пестрых письмах» завершается – он не только «приспособился», но получил собственный «киоск» (то есть выгодную административную должность в провинции).

Стр. 341. Печать изображает птицу с распростертыми крыльями... – Намек на царский герб, также изображавший «птицу с распростертыми крыльями» – двуглавого орла.

Стр. 342...узнать корни и нити. – См. т. 11, стр. 586.

...говорится о «винте»... – Винт – карточная игра

Стр. 345...это действие представлялось бы менее вредным, нежели <...> выражение удивления по поводу какого-нибудь бесшабашного публициста... – Речь идет об особом положении, которое занял в русской печати М. Н. Катков. «Теперь можно потрясать собственность, семейство, государство, все, что угодно, – исключая Каткова. А честь потрясать даже благонамеренно», – писал Салтыков М. Стасюлевичу 6 января 1885 г.

Стр. 348...глубокомысленных Платонов и быстрых разумом Невтонов... – Из оды М. В. Ломоносова. В подлиннике: собственных Платонов // И быстрых разумом Невтонов.

Стр. 349...он не молот суконным языком, что сенат есть учреждение крамольническое... – См. прим. к стр. 337.

Стр. 350–351...продается отечество <...> и при содействии элеваторов, и при содействии транзитов, и даже при содействии джутовых мешков. – См. прим. к стр. 256.

Стр. 353...подписывается на куранты. – См. прим. к стр. 297.

Стр. 354. Тайный <...> советник Крокодилов на новый суд ударил... – Речь идет о законе 20 мая 1885 г., в соответствии с которым было образовано высшее дисциплинарное присутствие Правительствующего сената, получившее право смещения судей. Принцип «несменяемости» был тем самым подорван.

Стр. 354–355...встал в позу Любима Торцова <...> как дельвал актер Садовский. – Любим Торцов – персонаж комедии А. Н. Островского «Бедность не порок». Первым и самым выдающимся исполнителем роли Торцова был, еще в 50-е годы, знаменитый артист Малого театра П. М. Садовский.

ПИСЬМО VIII

Впервые – РВ, 1886, № 9, стр. 280–300.

Сохранились: 1) черновая рукопись (от слов: «Если бы не одно дельце...», стр. 357, и кончая словами: «...снов он не видит», стр. 375); 2) наборная рукопись, написанная рукой Е. А. Салтыковой с авторской правкой (от слов: «Если бы не одно дельце...», стр. 357, и кончая словами: «...и объяснить крестьянам их обязанности и необходимость повиновения», стр. 375). Черновая рукопись отличается от окончательной редакции меньшей стилистической обработкой. Наборная рукопись, помимо незначительных отличий, разнится от журнального текста и Изд. 1886 одним вариантом.

Стр. 366, строка 7. Вместо: «Ночные посещения...» – было: «Обыски...»

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Окончание работы над очерком определяется письмом Салтыкова к Пыпину от 29 июля 1886 года: «Одновременно с этим письмом или днем позднее Вы получите в трех заказных пакетах 8-е «Пестрое письмо». Письмо это стоило мне множества мучений и я даже не понимаю, как докончил его».

Пыпин сразу же (2 августа) сообщил об этом Стасюлевичу: «Сегодня суббота; послезавтра я отдам рукопись в набор, попрошу поторопиться и пошлю Вам корректуру. Дело в том, что Ваш взгляд во всяком случае не лишней; для чужих вещей Вы все-таки не теряете «обоняние», которое для своих иногда Вас покидает за границей. Да Вас, без сомнения, поинтересует очень и нынешняя работа Салтыкова, первая после его болезни. Рассказ недурен, в обычном роде; герой – старинный делец (инженер), который стремится присоединиться к новейшей «общественной» деятельности. Кое-какие подробности потребуют Вашего внимания» (Ирли, ф. 293, оп. 1, ед. хр. 1188, л. 114). Ознакомившись с содержанием очерка, Стасюлевич 10/22 августа ответил Пыпину подробным письмом. Сообщая, что пошлет «сегодня в типографию телеграмму с одобрением», он вместе с тем отмечал, что «конец несколько «указателен» и «касателен»: очевидно, этот мазурик теперь занимает высокое место», что это «человек, готовый на все»: нужно черное назвать белым или наоборот, он и на это готов, потому что в свое время мог срыть гору там, где ее не было. «Все это мало понравится, – заключал Стасюлевич, – но когда же творения Салтыкова принимались за варенье – всегда они были горчицей!»

Итак, нецензурным считать никак нельзя; но, как Вы сами знаете, трудно решить этот вопрос с полной уверенностью. Могу сказать одно, что было бы просто смешно, если бы этого не пропустили» (ГПБ, ф. 621, ед. хр. 836, лл. 40–41).

«Письмо VIII» появилось в печати через год с лишним после «Письма VII». Такой большой перерыв был вызван тяжелой болезнью Салтыкова. Все органы печати, откликнувшись на публикацию нового «письма», приветствовали возвращение Салтыкова в литературу, которая без него «осиротела». [71] «Его голоса, его поучительной речи не доставало в последние дни, и это составляло не только для тесного литературного русского мира, а и для всего русского общества – незаменимое лишение». [72] «Тетеньке опять представляется редкое теперь удовольствие послушать своего острого на язык, но любящего и заботливого племянника. Долгие годы общих радостей, надежд, страданий и разочарований создали такую тесную связь между писателем и его публикой, что каждое появление сатирика на литературной арене является настоящим праздником для русской интеллигенции; каждое слово, каждый образ находит отклик в душе читателей». [73]

В настоящем «письме» Салтыков обращается еще к одной разновидности «пестрых людей», особенность которой верно определил А. И. Введенский: «Всматриваясь в этот характер, вскрываемый сатирическим скальпелем автора, вы находите его первенствующую, характернейшую и поражающую черту в том, что это – общественный деятель только времен смутных, тех, когда появляется в обществе прилив мутной воды, в которой легко ловить рыбу». [74]

Для характеристики героя Салтыкову вновь требуется исторический аспект повествования. Жизнеописание «дяди» Захара Стрелова разворачивается на фоне и в связи с политической историей России (смена «веяний»), которая одновременно трактуется и как история, смена разных форм «хищничества». «Дядя» всплывает на поверхность в моменты общественно-политической неустойчивости. Не в состоянии конкурировать с хищниками послереформенными («чумазыми») в сфере экономической, «отставной корнет» Захар Стрелов пытается использовать в своих хищнических целях политику. Однако он никак не может поспеть за следующими одно за другим «веяниями» послереформенной эпохи, пока не наступает окончательно эпоха общественно-политической «галиматши». Он вновь находит себя в «смутной» атмосфере «покаяния» (см. стр. 481). Именно он формулирует политику «обновления», осуществляемую «благонадежными прапорщиками», «отставными корнетами», – политику контрреформ, политику дворянской реакции. «Ликуют в Петербурге, чувствуя себя как дома, – писал публицист «Сына отечества», – лишь Стрелов, Довгочун и Перерепенко, жаждущие обновить и Петербург, и отечество при помощи «проектов» с ссылками на кн. Мещерского, Иоозефовича и Циона <...> Торжествует политика Чухломы и социология Пошехонии...» [75]

Стр. 357. Во время коронации императора Николая... – в 1826 году.

Стр. 358...Грановский, Белинский и их кружок (обратившийся потом в стадо свиней)... – Евангельский образ «стада свиней», одержимого бесами (Лука, VIII, 32–37),

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru использует, для характеристики современного политического «бесовства», Достоевский в романе «Бесы». Корни этого «бесовства», по мысли Достоевского, лежали именно в идеях кружка Грановского и Белинского. Салтыков напоминает этот образ с полемической целью: для обозначения тех участников кружка Грановского и Белинского, в первую очередь Каткова, кто оказался позднее в лагере «торжествующей свиньи, чавкающей Правду».

...Петербург намереваются соединить с Москвой железным путем. – Петербургско-Московская (Николаевская, ныне Октябрьская) железная дорога строилась с 1842 по 1851 г.

Стр. 359...Мехмеда Кула...«сибирских стран богатыря»... «нет, лучше смерть, чем жизнь поносна!» – Из драматической поэмы И. И. Дмитриева «Ермак».

Стр. 361...заселение отдаленного края, культура, обрусение и т. д. – Судя по этой характеристике, «просто хищничество» соответствует приблизительно «ташкентству» (см. цикл «Господа ташкентцы» – т. 10).

Стр. 362. В особенности отличался по части пророчеств <...> публицист Кокорев... – О публицистических выступлениях В. А. Кокорева см. т. 4, стр. 588; т. 6, стр. 603.

Стр. 362. То было время севооборотов, покупки машин, продажи выкупных свидетельств... – О крестьянском и помещичьем хозяйствовании в первые послереформенные годы Салтыков писал в апрельской хронике цикла «Наша общественная жизнь» за 1863 г. и февральской за 1864-й, а также в очерке «В деревне» (1863). См. т. 6.

Стр. 363...только людей нет... – Об этом см. ноябрьскую за 1863 г. хронику цикла «Наша общественная жизнь» (т. 6, стр. 158–159).

Стр. 365. В это же время и в Петербурге что-то замутилось: начались пожары, покушения, допросы, судьбища, высылки; явились корни и нити. – Здесь и далее Салтыков суммарно характеризует общественную атмосферу периода реакции – от петербургских пожаров мая 1862 г. до покушения Каракозова на Александра II в апреле 1866 г. Особенно тревожным было лето 1866 г., когда и является в Петербург, в очерке Салтыкова, «майор Стрелов». См. об этом также т. 10, стр. 59.

Стр. 366...слышались оклики дворников... – Дворникам в общей системе полицейской слежки уже тогда отводилась роль надзора за проживающими в доме жильцами. Позднее, особенно в 1879 г., эта роль была еще усилена и закреплена специальными постановлениями (см. т. 13, стр. 768; т. 15, кн. первая, стр. 354).

Главное зло – либералы <...> Долгогривые – эти уж потом явились... – Охранительная концепция, сложившаяся к концу 60-х годов, рассматривала «детей» («нигилистов») как порождение «отцов» («либералов»). Долгогривые – революционная и демократическая интеллигенция, в значительной своей части складывавшаяся в 60-е годы из лиц духовного происхождения.

Стр. 367. Я помню, как «он» меня... – «О н» – мировой посредник «первого призыва» (см. т. 7, стр. 608).

Стр. 368. И знаешь, куда? – в вашу губернию! в самое что ни на есть гнездо... – то есть в Тверскую губернию, «гнездо» либерализма (см. т. 4, стр. 589).

Стр. 369...самый разгар железнодорожной свалки. – Этот «разгар», приходящийся на конец 60-х годов, отражен Салтыковым в очерке «Наш *savoir vivre*» (цикл «Признаки времени» – т. 7).

шатобрианы – мясное блюдо.

Стр. 374. Нынче и все новости из Муром да из Кирсанова. У нас – источник всего, а вы, петербургские, только пережевываете. – Кахановская комиссия (см. стр. 495), писал 2 декабря 1884 г. «Гражданин», «дожила до минуты, когда гр. Толстой пригласил в ее среду, со свежего воздуха, практических людей из провинции, и эти люди <...> нанесли смертельное поражение всем либеральным утопиям Кахановского проекта».

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 374. Проект обновления. – Проект «дяди» Захара Иваныча Стрелова
представляет собой очень точное по существу, но вместе с тем пародийное,
разоблачающее изложение проекта А. Пазухина (см. стр. 515).

Стр. 375 вот как жили при Аскольде // Наши деды и отцы... – Слова песни
Неизвестного из оперы А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» (либретто М. Н.
Загоскина).

Еще Гоголь сказал... – С приводимого затем рассуждения начинается повесть
«Шинель».

ПИСЬМО IX

Впервые – ВЕ, 1886, № 10, стр. 687–700.

Сохранилась черновая рукопись, которая имеет сложную историю.

В январе – феврале 1884 года Салтыковым была задумана и начата

1 См. «Бюллетень рукописного отдела Пушкинского дома». IX. М. – Л., 1961, с.
59–60.

(написано вступление) сказка «Пестрые люди» (рук. № 2161, стр. 400–402). Самое
начало ее, в редакции, несколько отличающейся от первой (от: «Пестрое время,
пестрые люди» до: «...что ни поступок, то предательство и измена» – стр. 400; ср.
стр. 376), было перебелено на листе, где уже ранее было написано и зачеркнуто
«Письмо к пошехонцам» (рук. № 215, см. стр. 524). На этой стадии работа
прекратилась по причинам, изложенным в письме к Н. К. Михайловскому от 8 февраля
1884 года: «Ужасно обидно: задумал я сказку под названием «Пестрые люди»
написать (об этом есть уже намек в сказке «Вяленая вобла»), как вдруг вижу, что
Успенский о том же предмете трактует! [76] Ну, да я свое возьму не нынче, так
завтра».

Закончив и опубликовав в июне 1885 года «Письмо VII», Салтыков приступил к
работе над следующими «письмами», в том числе над «Письмом IX», и, возможно,
именно тогда решил использовать незавершенную «сказку» (точнее – вступление к
ней). Однако тяжелая болезнь прервала дальнейшую работу. 23 августа Салтыков
писал М. М. Стасюлевичу, что «так безнадежно болен, что потерял всякую
способность к труду». «Не читаю и не пишу, – продолжал он с горечью. – Мне это
тем более досадно, что материал для «Пестрых писем» был у меня уже собран. В
особенности жалко главы о пестрых людях, которую хотел я заключить письмом».

Работа над «Письмом IX», начатая еще летом 1885 года, но завершена лишь к
августу 1886 года, отражена в черновой рукописи (№ 215). Салтыков меняет
заглавие «Пестрые люди» на «Пестрые письма», вписывает на полях первый абзац
нового произведения («В пестрых письмах <...> пропуск» – см. стр. 376.) Затем,
после ранее написанного на листе фрагмента сказки «Пестрые люди» (см. стр. 400),
знаком вставки и указанием «на другом листе» Салтыков отсылает к другой рукописи
(№ 216), в которой зачеркивает не только ту часть текста, которая была
перенесена ранее в рукопись (№ 215), но и три фрагмента, оставшиеся от
первоначального замысла «сказки». Далее следует вновь написанный текст
собственно «Письма IX». Точная дата его завершения определяется письмом А. Н.
Пыпина к М. М. Стасюлевичу от 20 августа 1886 года, в котором тот сообщал, что
«сию минуту получил письмо от М. Е. Салтыкова, который просит ему оставить место
и на октябрь – статья у него готова» (ИРЛИ, ф. 293, оп. 1, ед. хр. 1188, л.
118). На следующий день, в письме к тому же адресату, рассказывая о посещении
вчера только что переехавшего с дачи Салтыкова, Пыпин прибавлял: «Сегодня дал он
еще одно – последнее – «Пестрое письмо», которое я и прочел на обратном пути
сюда. Недурно очень. Я опять сдам его теперь же в типографию и скажу, чтобы
послали Вам тотчас» (там же, л. 121). Ознакомившись с содержанием очерка,
Стасюлевич 9/21 сентября отвечал Пыпину: «О новом «Пестром письме» на октябрь я
немедленно написал в типографию; да и действительно там ровно ничего нет, что
могло бы вызвать на «размышления» (ГПБ, ф. 621, ед. хр. 836, л. 62 об.-л. 63).

Однако оптимизм Стасюлевича не оправдался. Доклад В. М. Ведрова в
С.-Петербургский цензурный комитет (27 сентября) об октябрьском номере «Вестника
Европы» посвящен одним только «Пестрым письмам».

«Статья «Пестрые письма», – писал цензор, – характеризует настоящее положение

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru нашего общества. «Проворовались людISHKI, остатки совести потеряли» (стр. 687). Это те люди, которые следуют направлению правительственному; их три сорта: 1) коноводы, 2) поддакиватели, 3) Молчалины (plebs) (стр. 688). Это – физиологический очерк влияющих лиц и подчиняющихся государственной системе. Он дышит презрением и оплеванием этих тружеников государства.

Представитель первого сорта – Скорняков, из либерала делается опричником беспримесным, надрывающим себя ради целей, имеющих только абстрактное значение (стр. 694). «Он – хам», участвовавший во всех реформах: «плакали отцы, плакали матери, а он, сильный медным лбом и камнем в груди, шел дальше и дальше вглубь» (стр. 674).

Ко второй категории относятся «люди, замученные жизнью», «попались и бьются там, не подавая голосов». Автор сожалеет, что у них нет героизма политического, и надеется, что в нем скоро не будет надобности (стр. 698). Иронизируя, он предрекает «время, всех освещающее», когда исчезнут истязания, умолкнут вопли.

К третьей категории автор относит «живой рабочий инвентарь – plebs».

«Сплошной массой наполняя канцелярию, они до того сродняются с атмосферой «своего места», что перестают даже различать, чем там пахнет» (стр. 698).

Это не сатирический легкий обзор пороков современного общества, это – проклятие, произнесенное над людьми правительственного строя, которых автор величает «подневольной апостазией» (стр. 697, 700), «игом апостазии». Какой же может быть результат такого ужасного положения, столь позорно описанного, так жестоко выставленного на вид всех истинно честных людей?

Автор не говорит прямо, но указывает, что суд истории пройдет молчанием о людях двух последних категорий.

По нашему мнению, вся статья – протест против современного порядка и лиц действующих. Не полагая возможным арест книги, имею честь довести до сведения комитета дурное содержание статьи» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, 1865 г., ед. хр. 102, ч. 2, лл. 100–101; неточно в книге: В. Евгеньев – Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930, с. 73–74)

При обсуждении доклада В. М. Ведрова на заседании С.-Петербургского цензурного комитета (2 октября) председательствовавший на нем Е. А. Кожухов заявил, что «о содержании статьи им доложено начальнику Главного управления по делам печати» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, 1886 г., ед. хр. 514, лл. 375–376). В связи с этим комитет постановил «принять доклад к сведению».

О «пестроты», характеризующей русскую жизнь, Салтыков писал в заключении «Письма четвертого» (1881) цикла «Писем к тетеньке», называя и самое это письмо «пестрым» (т. 14, стр. 304). Эволюцию «пестрой массы» от «недоумения» и «стыдливости» к поддержке лозунга «да здравствуют ежовые рукавицы!» Салтыков конспективно, в виде «намёка» (см. стр. 520), изобразил в сказке «Вяленая вобла». Отказавшись от «сказочной» интерпретации сюжета о «пестрых людях» и используя начало предполагавшейся «сказки» в качестве вступления к «Письму IX», по жанровой своей природе не имеющему ничего общего со «сказкой», Салтыков характеризует в этом письме все три разряда «пестрых людей», а не только тип молчалинский, в сущности, уже исчерпанный «Господами Молчалиными». Больше того, художественно индивидуализируется как раз не бессознательный представитель «пестрой массы», не Молчалин, а деятельный ее «коновод и зачинщик», пестрящий сознательно и целеустремленно, активный идеолог и агент «пестроты». Это было отмечено и современной критикой. Внимание сатирика, писал, например, А. И. Введенский, «должно было остановиться не на тех несчастных, для которых двоязычие есть истязание, и не на тех, кто бессознательно совершает свое пестрое дело, а на «первообразе», по его выражению, который преимущественно и может служить объектом сатирического отношения <...> Рассказывая судьбу этого представителя предательства, автор, как всегда, дает меткие характеристики нашего общества. Но существенный смысл этого лица и окружающего его общества в вопросе не о том, как могут существовать подобные люди, – где же их нет! – а о том лишь, как возможно, чтобы Скорняковы играли в обществе ту выдающуюся роль, которая достается им. В этом, собственно, главная тягостная сторона картины, изображаемой автором. Страшно не то, что зло существует, а что оно становится главным двигателем жизни, превращающим в зло и те безразличные элементы двух

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru последних категорий «пестрых людей», которые, при торжестве добра и правды, были бы на стороне их, хотя и без всякой способности инициативы, послужили бы их целям, их еще большему торжеству в обществе».[77]

Стр. 377. Помните, я однажды рассказал, как свинья Правду чавкала... – Имеется в виду аллегорическое сновидение «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с Правдою», включенное в состав «За рубежом» (т. 14, стр. 200–202).

Стр. 378...о распределении богатств... – См. прим. к стр. 241.

Стр. 379...мы танцуем на вулкане. – Выражение, которым характеризовал современное положение России М. Н. Катков.

Стр. 380...называло их кутейниками. – Презрительное наименование лиц духовного сословия.

Стр. 381...на столбцах одной «уважаемой» московской газеты... – то есть в «Московских ведомостях».

Прошла питейная реформа... – См. прим. к стр. 278.

...попал в обрусители. – То есть в качестве чиновника осуществлял правительственную политику в Польше после подавления восстания 1863 г.

Стр. 382...предпочел стоячую магистратуру сидячей. – Стоячая магистратура (франц. magistrature debout) – прокуроры; сидячая магистратура (франц. magistrature assise) – судьи.

Стр. 383. Прежде были Кочубеи, Панины, Долгорукие, Голицыны, а нынче – Скорняковы да Боголеповы. – Возможно, намек на Каткова и Победоносцева.

Стр. 384...суд общественной совести – суд присяжных...в основе этого суда лежит одна анархия – Нападки на новый суд составляли один из постоянных мотивов реакционной политической публицистики 80-х годов (см., например, прим. к стр. 256). Один из таких публицистов писал: «Очевидно, что возникший <...> в России, в 1864 году, суд присяжных – не столько суд общественной совести, как его у нас называли, сколько общественный самосуд в самом широком смысле, не имеющий никакой связи с государственным судом, не существующий ни в одной монархии» (Виктор Фукс. Суд присяжных. – РВ, 1885, № 3, с. 44).

Стр. 385...в деле подневольной апостазии... – Апостазия – (лат. apostasia) – отступничество, ренегатство.

Стр. 386...«время, всех освещающее»... – Из манифеста 19 февраля 1861 г.

Стр. 387. По праздникам он режет пирог той самой рукой, которая неведомо кому разбила существование. – Реминисценция из «Господ Молчалиных»: «Я видел однажды Молчалина, который, возвратившись домой с обагрёнными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрезать пирог с капустой» (т. 12, стр. 12).

...той грызущей семейной боли, которая сторожит их впереди... – Речь идет о возмездии, которое понесут Молчалины в своих детях («Чужую беду руками разведу», «Больное место» – т. 12; «Счастливец» – т. 16, кн. вторая).

ПЕСТРЫЕ ЛЮДИ
Впервые – Изд. 1933–1941, т. 16, стр. 731–732.

В настоящем издании печатается по рукописи (ИРЛИ, № 216).

См. прим. к «Письму IX».

ПЕСТРЫЕ ПИСЬМА
Впервые – Изд. 1933–1941, стр. 733–739.

Печатается по рукописи.

Примечания

1
бледная смерть.

2
без голосования.

3
слова улетают.

4
«Вход свободен».

5
старина.

6
Жребий брошен.

7
за и против.

8
государство в государстве.

9
Очевидно, что о. диакон ошибся: цензора Бирукова в это время не было в цензурном ведомстве. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

10
Мудрому достаточно.

11
Все связано, все сцеплено в этом мире.

12
«По нравственному обязательству...»

13
пожимал руку.

14
главного блюда.

15
Кавалеры, вперед! Дамы, образуйте цепочку и делайте па! Кавалеры, приветствуйте ваших дам! Вот так!

16
Сударыня, я изнемогаю от усталости!

17
дитя мое!

18
в огромных санях.

19
Времена меняются, и мы меняемся с ними.

20
Исповедание веры.

21
все в порядке!

22
Мудрому достаточно.

23
главное блюдо.

24
Народное название Шлиссельбурга. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

25
«Добрый ворчун».

26
Это придет...

27
«...в пестрое время на первом плане стоит значение минуты и возможность ее уловить» (см. «Мелочи жизни»).

28
«Большое рассуждение» – синоним революционно-просветительской идеологии; именно ему в свете высоких социально-этических идеалов доступны «исторические утешения», «чистейшие наслаждения» исторического оптимизма.

29
«Северный вестник», 1886, № 12, отд. II, с. 159.

30
Там же, с. 158.

31
М. М. Стасюлевич. – Ред.

32
Л. М. Добровольский и В. М. Лавров. М. Е. Салтыков-Щедрин в печати. Л., 1949, с. 77.

33
Цензор указывает страницы журнальной публикации. – Ред.
Страница 126

34

Л. Л. Литературные заметки. – «Эхо», 1884, 8 ноября, № 1352.

35

«Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину». М., 1935, с. 160.

36

В корреспонденции И. Ф. Василевского-Буквы, напечатанной в «Русских ведомостях», 2 ноября 1884 г., на другой день после выхода в свет ноябрьской книжки «Вестника Европы» с «письмом» Салтыкова.

37

В. Буренин. Критические очерки. – «Новое время», 1884, 9 (21) ноября, № 3126.

38

Ergo <Р. И. Гинзбург>. Литературные письма. – СПб. вед... 1884, 9(21) ноября, № 310.

39

От редакции – «Неделя», 1884, 21 октября, № 43.

40

«Неделя», 1884, 11 ноября, № 46, стлб. 1556, 1558. Этот спор Гайдебурова с Салтыковым по поводу первого из «Пестрых писем» восходит к его несогласиям с автором «Признаков времени» и «Напрасных опасений». И тогда Салтыков будто бы отказывался от «воспитания» читателя (см. т. 9, с. 476–477).

41

«Гражданин», 1884, 18 ноября, № 47, с. 19–20. В публицистике кн. В. П. Мещерского «тайный советник» – либеральный чиновник высшего ранга, оппозиционно настроенный, составляющий так называемое «антиправительство» и вместе с тем «отец» нигилизма.

42

«Конституция гр. Лорис-Меликова и его частные письма». Изд. «Свободная мысль», Лондон – Пб., б. г., с. 32. Характерна реакция Александра II на это предложение Лорис-Меликова. «Да ведь это états généraux», – заявил русский самодержец (там же).

43

«Гражданин», 1884, 10 июня, № 24. Статью Победоносцева, напечатанную анонимно, комментировал кн. В. П. Мещерский: «...великая ложь, о которой идет речь, есть конституция!» (там же, 17 июня, № 25).

44

Д. А. Милютин. Дневник, т. 4. Ред. и прим. П. А. Зайончковского. М., 1950, с. 66.

45

См.: П. А. Матвеев. Болгария после Берлинского конгресса. СПб., 1887, с. 181 и след.

46

«Братушками» официозная и славянофильская печать именovala славянские народы.

47

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 114.

48

П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х годов. Изд-во МГУ, 1964, с. 449–472.

49

Там же, с. 459–460.

50

Там же, с. 466.

51

П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х годов. Изд-во МГУ, 1964, с. 433.

52

Это обстоятельство вызывало постоянные нападки на деятельность комиссии со стороны реакционной прессы (см., например, целый цикл статей под названием «Проекты, мысли и замыслы Кахановской комиссии». – «Гражданин», 1884, № 41–49).

53

Л. Л. Литературные заметки. – «Эхо», 1884, 20 декабря, № 1394.

54

«Гражданин», 1884, 9 декабря, № 50.

55

В. Евгеньев-Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930, с. 65–66.

56

А. Георгиевский. Краткий исторический очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих беспорядков. СПб., 1890, с. 97.

57

А. Георгиевский. Краткий исторический очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих беспорядков. СПб., 1890, с. 157.

58

«Гражданин», 1884, 3 июня, № 23.

59

Аристархов <А. И. Введенский>. Литературные беседы. – Р. вед., 1885, 11 января, № 10.

60

О значении сатирического типа «корнета», или «отставного корнета», у Салтыкова см. стр. 514.

61

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Аристархов <А. И. Введенский>. Литературные беседы. – Р. вед., 1885, 1 марта, № 58.

62

Бируков здесь так же, как и в предшествовавшем «Письме» (см. стр. 295), обозначает «начальство». В то же время ему приписано типичное для Каткова латинское изречение.

63

«Появились несомненные признаки в разных местах России духовной чумы, угрожающей с страшною быстротою и с страшною силою подорвать не только нравственные, но и общежитийские основы жизни, и каждого из нас поставить лицом к лицу перед опасностью погибнуть от самого ужасного коммунизма. Зловещими призраками этой страшной чумы явились последние <оправдательные> приговоры судов по делам о растрате чужих денег и об ограблении касс» («Гражданин», 1884, 1 января, № 1).

64

Образ Подхалимова впервые появляется в очерке «Тряпичкины-очевидцы» (цикл «В среде умеренности и аккуратности», т. 12), затем более обстоятельно разрабатывается в «За рубежом» (т. 14).

65

М. Супин <М. И. Кулишер>. Журнальное обозрение. – «Заря», 1885, 9 марта, № 55.

66

П. Голубев. Журнальные наброски. – «Волжский вестник», 1885, 10 (22) апреля, № 79.

67

Барон Икс <С. Т. Герцо-Виноградский>. Письма о журналистике. – «Одесский листок», 1885, 27 апреля, № 94. Ср.: Эхо. Журналистика. – «Новороссийский телеграф», 1885, 5 апреля, № 3027.

68

Ergo <Р. И. Гинзбург>. Литературные письма. – СПб. вед., 1885, 5 (17) апреля, № 92.

69

О сатирическом типе «отставного корнета» см. в прим. к «Письму VII». Следует отметить, что одним из прототипов Петра Толстолобова был гр. Д. Толстой, вдохновитель, в качестве министра внутренних дел, правительственной политики в 80-е годы.

70

«Русская мысль», 1885, № 7, с. 56.

71

А. Л – чь <А. Любич?>. Журнальное обозрение. – «Орловский вестник», 1886, 30 сентября/12 октября, № 260.

72

Аристархов <А. И. Введенский>. Литературные беседы. – Р. вед., 1886, 22 сентября, № 260.

73

Веневич <В. В. Стукалич>. Очерки современной литературы. – «Русский курьер»,
Страница 129

Пестрые письма. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
1886, 26 сентября, № 265.

74

Аристархов <А. И. Введенский>. Литературные беседы. – Р. вед., 1886, 22 сентября, № 260.

75

М. Г. Гребков. Провинциальная летопись. – «Сын отечества», 1886, 19 сентября, № 208.

76

Имеется в виду очерк «Наконец нашли виноватого».

77 Аристархов <А. И. Введенский>. Литературные беседы. – Р. вед., 1886, 21 октября, № 289.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!